

**ВРЕМЯ
И МЫ** 142
1999



**СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА
О ЗАПАДЕ, РОССИИ, О СЕБЕ**

ВРЕМЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

И МЫ

Выходит 6 раз в год

ИЗДАЕТСЯ С 1975 ГОДА

142
1999

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ»

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКТОР МОСКОВСКОГО ИЗДАНИЯ
ЛЕВ АННИНСКИЙ

Первый заместитель редактора московского издания
ЮРИЙ КУВАЛДИН

МОСКОВСКАЯ РЕДАКЦИЯ

ВЛ. НОВИКОВ, АЛЕКСАНДР П. ТИМОФЕЕВСКИЙ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ
ДМИТРИЙ БЫКОВ	ЛЕВ НАВРОЗОВ
<i>(зам. гл. редактора)</i>	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ДОБИН	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ЭДУАРД ШТЕЙН
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД <i>(зам. гл. редактора)</i>

Московское издание журнала "Время и мы"
Адрес редакции: 117415 Москва,
ул. Удальцова, 16/19.
Тел.: 131-62-45

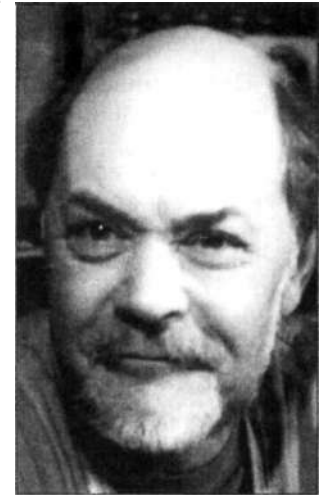
Американское отделение журнала "Время и мы"
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-55

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Владимир Добин
Адрес отделения: Ha-avot Street 20-6,
Richon Le-Zion, 75323 ISRAEL
Tel.: 03-961-04-42

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: Rezidence Lorilleux
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,
92800 PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА <i>Лев АННИНСКИЙ</i> Liberte, Egalite, Fraternite. 2. Равенство.....	5
РОССИЯ ГЛАЗАМИ ПРОЗАИКОВ <i>Виталий РАПОПОРТ</i> Театр теней.....	13
<i>Ольга ИСАЕВА</i> Американка-Верочка.....	54
<i>Виктория ФОМИНА</i> День рождения жены.....	76
<i>Татьяна МУШАТ</i> Красивая земля всегда несчастна.....	97
РОССИЯ ГЛАЗАМИ ПОЭТОВ <i>Евгений БАЧУРИН</i> На доске расставлены фигуры.....	114
<i>Елена КРЮКОВА</i> Русская рулетка.....	126
<i>Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ</i> В четырех шагах от воли.....	134
ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО И СВОБОДНЫЙ РЫНОК <i>Дмитрий БЫКОВ</i> Выкресты.....	145
<i>Андрей НУЙКИН</i> К зияющим вершинам средневековья.....	157
<i>Игорь ЗОЛОТУССКИЙ</i> Сердце Ельцина.....	176
ИНТЕРВЬЮ «ВРЕМЯ И МЫ» <i>Светлана АЛЛИЛУЕВА</i> О западе, о России, о себе.....	182
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО <i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i> Эмигрантская одиссея Александра Галича.....	201
<i>Руфь ЗЕРНОВА</i> Последний дворянский писатель.....	238
ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ <i>Сильвия ПЛАТТ</i> «...Трагедия? Ведь это я».....	249
ГАЙД-ПАРК «ВРЕМЯ И МЫ» Три письма о проблемах России.....	273
ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ» <i>Владимир БУЙНАЧЕВ</i> Мне скучно знать, что за поворотом.....	283



Лев АННИНСКИЙ

LIBERTÉ, EGALITÉ, FRATERNITÉ...

2. Равенство*

«Нельзя определить голову, из которой вылетела первая искра фейерверка, но можно определить «округ», где это произошло».

Томас Карлейль.

История Французской Революции.

Не только «округ» известен, но и дата, когда из искры возгорелось пламя, и обыкновенное, «естественное» слово пошло сверкать в фейерверке. Париж, 2 октября 1789 года. Конституанта (Национальное Учредительное Собрание). «Декларация прав человека и гражданина». Именно здесь и теперь к «свободе» (первая искра) присоединяется «равенство» (вторая искра), а в качестве третьего тлеет и жжет... нет, пока что не «братство», а — «смерть» ибо лозунг поначалу звучит чаще всего так: *Liberte, egalite ou la mort!*».

Однако попробуем все-таки понять, откуда вылетают искры.

В издательстве «Время и мы»

принято решение со 142-го номера журнал «Время и мы» перевести на двухмесячную периодичность.

В целях ликвидации параллелизма в редакционно-издательской работе Виктор Перельман возвращается на свою прежнюю позицию издателя и главного редактора.

Чтобы сосредоточиться на работе в России, Лев Аннинский назначается редактором московского издания.

Первым заместителем редактора московского издания утверждается писатель и издатель Юрий Кувалдин.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

В Священном Писании нет слова, смысл которого совпадает с нашим теперешним «равенством». Евангелист, сидевший в римском узилище и вспоминавший, как первые христиане преломляли хлеба и молились все вместе, особо отмечает, что они продавали имущества и всякую собственность — с тем, чтобы вырученное разделить на всех, «смотря по нужде каждого».

То есть, как впоследствии сформулировали основоположники научного коммунизма, — «по потребностям». Но это уже — из жизни призраков, которые стали бродить по Европе после того, как тьма феодализма рассеялась, узы старого порядка порвались, и на контактах заискрило.

Вернемся однако в брюмер-месяц — брюмером октябрь назовется с 1792 года, когда новые Адамы начнут перемаркировывать мирозданье. Пока что эти смельчаки сидят в своем Собрании, только что переименованном из Национального в Учредительное, а раньше — в Национальное из Генеральных Штатов... Нет, надо представить себе это Собрание, лихорадочно работающее то под дулами королевских пушек, то под крики разъяренной толпы! В центре страны, где бушуют двадцать пять миллионов крестьян, сидит группа сочинителей, борющихся с судьбой и друг с другом. Они пытаются согласовать общечеловеческие понятия, не всегда умея согласовать собственные хаотические убеждения. Они создают комитеты и подкомитеты, они кричат все одновременно, вскакивая, аплодируя, свища, шикая и топя ногами, они читают свои свеженаписанные речи, перехватывая друг у друга формулы и остроты, поливая друг друга фельетонным кипятком.

Да помолчали бы! — скажет об этом жужжащем рое здравомыслящий британец полвека спустя, но и он воздаст должное творцам Французской Конституции, сумевшим принять в жерле вулкана «две с половиной тысячи постановлений». И среди них — ту самую Декларацию. И среди ее статей — ту самую огненную формулу, в которой две статьи: «свобода» и «равенство» — впервые сомкнулись в ожидании третьей (а третья пока что

— «смерть», la mort).

Поищем, кто поджег — хотя само слово «декларация» как бы предупреждает, что источников искать не надо, что оно само — источник, что естественные принципы бытия не доказываются, а провозглашаются как разумющиеся сами собой.

Повисает в невесомости потерявший религиозную опору человек. Просто человек, человек как таковой: изначальный, неиспорченный, «естественный». Жан-Жак Руссо, подаривший человечеству такое зеркало, может торжествовать: в умах воцаряется идея «общественного договора». Для договора нужны равные величины: наука все обещает подсчитать, сопрячь, согласовать. Начинается эра хартий, конкордов, антант, союзов, содружеств и прочих осей на геометрическом месте точек. «Бумажный век»!

Основа «общественного договора» — изначальная добропорядочная вменяемость участников.

Здравомыслящий и скептический британец замечает по адресу пылкого женевского часовщика: если люди действительно таковы, что бумажные пункты способны связать их, то таким людям и «общественный договор» не нужен. А если он все-таки нужен, значит, люди не таковы?

Признаемся: нет, не таковы. Люди не равны по определению. Они рождаются заведомо неравными, живут в заведомо неодинаковых условиях и по ходу жизни вынуждены мириться с заведомо неизбежным накоплением разъединяющих качеств.

Так не химера ли — сама идея, имеющая в виду не столько реальных людей, в поте лица («в крови, страданиях, смерти») добывающих хлеб насущный, сколько некую философскую абстракцию, человека вообще, человека как такового, человека как умопостигаемую единицу умопостигаемого же человеческого всеединства?

Признаемся и теперь: нет, это не химера. Это — тоже реальность, и она выявляет себя весьма круто на крутых поворотах истории, когда сталкиваются взаимоисключающие варианты и сводятся счеты, когда социальные контрасты, национальные предрассудки и религиозные анафемствования доходят до таких столпов, что прихо-

дится притормаживать. По тем же реальным причинам все это неизбежно: и контрасты, и предрассудки, и анафемствования, — но чтобы они не перешли грани допустимого, вспоминают: все — люди, все — человеки; перед богом все равны; цвет крови не зависит от цвета кожи...

А чтобы это не забывать, в воздухе должно всегда висеть недостижимое и неотступное «равенство».

Чисто логически рассуждая, это «равенство» само по себе абсурдно. Оно имеет смысл не само по себе, а только по отношению к чему-то внеположному. Отцы-основатели Французской демократии тоже ведь декларировали не равенство вообще, а — равенство всех граждан перед законом.

Равенство перед законом открыло пути неравенству в обладании ценностями (потом поняли, что не в обладании, а в управлении, но это не отменило фатального процесса). А все потому же: люди неравны — одни сильны, другие слабы, одни умны, другие глупы, одни расторопны, другие медлительны и т.д.

Как только буржуазное равенство обнаружило свои контрасты, материализовался призрак коммунизма. Марксисты, в свое время победоносные, а теперь многоруганные, вовсе не призывали ни к равенству огульному, ни к равенству в нищете и дури (как это потом осмыслил Андрей Платонов). А речь шла о конкретном равенстве в отношении к орудиям и средствам производства.

Позвольте, а разве в этом отношении равенство достижимо? Разве в равном положении находятся директор производства (неважно, назначенный ли партией или нанятый акционерами) и простой работник (неважно, получающий ли зарплату через «бюджет» или дивиденды через частный банк)? Дело не только в эшелонах руководства, находящихся один над другим; дело и в нестыковке разных типов труда, требующих разных способностей. Дело в невероятной сложности социального, экономического и культурного полей, в пределах коих любой человек должен ощущать себя в ряду других равнодостоинным, не будучи никому равным.

В шахте нужны бесстрашие, физическая выносливость и звериное норное чутье. Но для того, чтобы эти качества были востребованы, уголь, добываемый в шахтах, должен быть действительно необходим, то есть конкурентоспособен. Стаханов обладал идеальными качествами шахтера в навалотобойную эпоху. Да, государство, нуждаясь в показательных рекордах, создавало такому рубаке особые условия. Так ведь и вся отрасль была на особом положении, она была в неравных, лучших условиях, чем другие отрасли. Потому что «уголь решал».

Перестал решать — и здоровенные мужики сидят и стучат касками об асфальт. Их способности не нужны. Нужны другие.

Какие? Способности физиков — теоретиков и экспериментаторов: рассчитать траекторию и спроектировать ракету? Да, и это было. В эпоху Королева и Гагарина. Миновала эпоха. Люди, чьи способности сделали их всенародными героями (физики — теноры XX века), теперь сидят без дела или в поисках дела бегут по миру.

Не было равенства и нет. А есть — то одна, то другая градация преимуществ. И ни одна не удерживается. Только уравновесилось — и сразу грозит перекошиться. И как — не угадаешь. То ли «новые русские», перепродающие барахло, будут надуваться спесью. То ли нового типа интеллект прильнет к деньгам (изобретатель компьютерных программ уже стал самым богатым человеком самой богатой страны мира). То ли еще как-нибудь накренится история, и «первыми среди равных» окажутся люди, теперь торчащие безвестно в щелях и углах маловменяемой и непредсказуемой реальности.

Да простится мне эта аналогия, но если брать чисто экономический аспект, то есть мерить все «арифметической» (а равенство — понятие исходно арифметическое), то любой «природовед» в пределах задачи должен решать, какие виды ему усиленно подкармливать, в какие сорта вбухивать удобрение, чтобы получить быстрый привес, приплод и пр.

Разумеется, у людей включается еще и высшая мораль: жить должны все, не только сильные. Но чтобы

прокормить всех, сначала надо дать возможность сильным накопить силу, так?

Сложен не принцип, сложно его применение. В конце концов, сила не только в мышцах, сила в извилинах. Что считать силой и куда вкладывать силу, — тут открывается такое поле для уравнений, что скорей собьешься, чем проскочишь. Любое равенство так и грозит перекошиться... что, собственно, и случилось с принципом эгалитарности, который немедленно набух богатством нуворишей, — для укрощения которых немедленно выпустили свой призрак коммунисты, — на головы которых до сих пор сыплются обвинения в плебейском подравнивании всех под общий нищенский уровень.

Последнее — чепуха, конечно. Общий нищенский уровень в России был задан эпохой мировых войн. Подкармливание сильных происходило скрытно. Сильным был профессиональный революционер, законспирированный от собственных соратников. Партийный секретарь, принимавший секретные постановления. Чекист, расстреливавший «врагов народа» в подвале. Все делалось скрытно: скрытно от массы, ревущей о равенстве.

Французский лозунг прилетел в Россию, которая сроду жила по другим правилам. «Материнское» значение «равенства» в русском языке — ровность, гладкость. Коренным понятием русского менталитета было не равенство, а правда. И не столько правда-истина, сколько правда-справедливость. Эта-то правда и проступила кровавыми пятнами из-под французской азбучной истины. Французы, впрочем, тоже заплатили за нее большой кровью.

Правда и теперь проступает. К счастью, пока не кровью.

Вот как описывает современную российскую реальность социолог, живущий сейчас на Западе и имеющий возможность сравнивать: «равенство» здесь и «равенство» там (см. «Время и мы» № 141).

На Западе равенства нет и в России нет.

На Западе неравенство компенсируют интенсивными социальными программами, резонно полагая, что подкармливать неимущих проще, чем отбиваться от отчаяв-

шихся или терпеть давящую социальную зависть. Там признано то, что по традиции (по русской традиции) интеллигенты полагали признавать бестактным: что известный процент населения обречен на неравенство, так сказать биологически, ибо есть люди, которые ни при каких условиях работать не могут и не хотят. Их тоже надо кормить. Ибо дороже обойдется, если дойдет до взрыва. Так полагает Запад.

Россия старательно перестраивается на западный лад, но «русская душа» в этот лад вписывается плохо. На смену раннебольшевистским миражам повального равенства (все-таки кое-кто в них верил, и Платонов вырос не на пустом месте) пришли миражи предпринимательского фарта. Элита жирует, масса терпит (хотя верят в новые миражи далеко не все). «Новые русские», забывшие, как мужики жгли имения их предтеч, купаются в демонстративной роскоши. Армия люмпенов и бомжей растет. «Примерно треть рабочего населения России не реагирует ни на какие стимулы труда». Социальный дарвинизм, вышвырнутый большевиками в дверь, вламывается в окно.

Не будем переоценивать значение этого «окна в Европу», из которого свистят ветры, прохватывающие замерзшую Русь. Не прорубил бы это окно Петр, прорубил бы кто-нибудь другой. От ветров не укроешься.

Не будем преувеличивать и глупость оторвавшейся от народа элиты: из народа же эта самая элита и вербует-ся, и делает она именно то, о чем в народе тайно грезят. Помните у Лескова? «Разбогатеть бы эдак как-нибудь сразу...»

А вот насчет «застойной трети», которая не реагирует ни на какие стимулы, — верно. В Америке бродяжничают, в России бомжат. Обусловленный биологией процент близок там и тут. Только окрашено разное: там — «черные гетто», тут — «красные носы». В том смысле, что пьянство, исконное веселие Руси, впервые признается не «родимым пятном прошлого», которое не удалось вывести, а чертой русского умосостояния, фатальность которого признается самими русскими.

Можно подвести базу. Климат. Долгая зима. Русская тоска. Гигантские концы — не докричишься. Непрерыв-

ное насильственное общение — страховка от одиночества. Дураки. Дороги. «Русский дурак», по кривой дороге объезжающий умника, а потом гадающий, куда же это он так спешил.

Пытаемся подвести базу. В базисе должна быть ясная идея. Или: все равны. «Ни Элина, ни Иудея». Логическое развитие: естественное неравенство компенсируется социальной корректировкой (квоты, льготы, политическая корректность). Или всеединством, которое венчается Диктатурой.

Но вот другой базис. В основе пусть будет неравенство. Неединство. Нетожество. В основе пусть лежит святость Другого. Базисный архетип — египетский образ «двух Правд». Или шумерские «весы». Эти идеи развивает современный русский философ Владимир Микушевич. Весы качаются внутри каждой души. Правое противостоит левому. Путь влево — «быть всем». Это путь в хаос. Стать «всем» — значит остаться «ничем».

Стать тем или этим — значит осуществиться в непрерывном состязании неравных качеств. Всякая Правда нуждается в Другой Правде. Этот принцип опирается на исконную русскую идею «правды», которая много старше «равенства», занесенного к нам на кончиках перьев в XVIII веке.

Так русская душа силится наполнить своим содержанием очередную азбучную истину демократии.

Азбучные истины коварны.

Французам тоже пришлось несладко: когда полетели первые искры фейерверка, отцы-основатели Французской Демократии сообразили, что в уравнении не все согласуется: если свобода обнаруживает в людях неустрашимые различия, то выходит: чем больше свободы, тем меньше равенства!

Как быть?

К двум членам триады стали «искать третьего». И нашли. Третьим стало Братство. Но о нем в следующий раз.

РОССИЯ
ГЛАЗАМИ ПРОЗАИКОВ



Виталий РАПОПОРТ

ТЕАТР ТЕНЕЙ

Страстью к печатному и непечатному выражению автор обязан соотечественникам и собутыльникам, с которыми общался в поездах и банях, на базарах и стадионах, в пивных и прочих местах излияния и возлияния, а также своему отцу, Лоренсу Стерну, Жюлю Верну, Гоголю, Ключевскому, учителю математики Ивану Степановичу Гулиде и тете Насте Кузнецовой.

Кто такой Максимилиан Голд!

Вознесшись вчера в горние высоты самозабвения, он затмил свои прежние достижения, ставшие легендарными в их узком кругу. Некогда он отвинтил на Пушкинской площади вывеску со Штаба народных дружин г. Москвы и привез ее домой в троллейбусе, что сочли верхом дерзости. Но это, сказать по правде, произошло поздней ночью, когда никого не случилось рядом. На этот раз действие разворачивалось среди бела дня. С утра,

— он из койки вылезть не успел, — ввалился Юрка с бутылкой коньяка и двумя родичами из Казани: надо было этим провинциалам показать Москву во всей ее красе.

Для почина они вчетвером употребили коньяк в кафе «Дружба», на Петровке, после чего перешли на водку. На протяжении нескольких часов вдохновенно, с нарастающим усердием пьянствовали в окрестностях Кремля. Они пили на галерее ГУМа, укрывшись за картонными коробками; пили в музее Ленина, там в пустынных залах всегда имелись графины для воды и стаканы; пили на лавочке, под кремлевской стеной со стороны реки и, кажется, дважды в Александровском саду. В итоге их всех порядком развезло, августовский день выдался душный. Он придумал маршировать по улице 25 октября (б. Никольской) с пением *Боже, царя храни!* Пел громогласно и не без приятности, шагая по правой стороне улицы, но нередко сбиваясь на проезжую часть. Уговоры собутыльников, державшихся несколько позади, не помогали. Прохожие образца 1963 года, москвичи и гости столицы, наблюдали с озадаченными лицами, но никто не пытался призвать нарушителя к порядку. Он между тем повторял отмененный гимн снова и снова по той причине, что знал только один куплет:

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу нам,
Во славу нам...

Не будучи уверен, как правильно — *на славу нам* или *во славу нам*, он чередовал оба варианта. Милиционер, в конце концов, появился. Заметив периферийным зрением приближение представителя власти, пришлось довольно естественно и музыкально сменить мотив:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд.
Но день настанет неизбежный,
Неумолимый грозный суд,
Неумолимый грозный суд.

Запыхавшись, потный милиционер загородил ему дорогу, козырнул: «Некрасиво, гражданин, получается. Трудящие, между прочим, все на работе, а вы недозволенные песни играете, в нетрезвом виде...»

— Вы, я так понимаю, Глеб Максимилианыча не уважаете. — Он принялся длинно, с датами и историческими параллелелями, излагать, что знаменитая, заслуженно популярная песня «Красное знамя» была, как и «Варшавянка», первоначально написана Кржижановским польски, а потом им же переведена на русский, что автор был дружен с Владимиром Ильичом и любим международным пролетариатом. Скакнув от просвещения к качанию прав, он уверенно провозгласил:

— У нас в конституции гарантирована свобода слов и уличных шествий!

На что милиционер, обрюзгший мужчина с усталыми глазами, сказал:

— Шествуй домой, мужик, пока я добрый, а то придется тебя оформить... Расходитесь, граждане, по своим делам, представление окончено. Человек выпил лишнего, по каковой причине направляется домой по местожительству. Спасибо за внимание.

Утром, пробудившись, он ощутил себя путником, очутившимся в районе Помпеи и Геркуланума сразу после знаменитого извержения Везувия. Все было пепел и жажда. С утра ему полагалось быть на семинаре по новой и новейшей истории, но он и звонить по телефону не стал. Чему быть, того не миновать... Подобно Толстому, он склонялся к фатализму. Смысл событий остается недоступен пониманию людей, направить их в желаемую сторону они не могут.

Его непреодолимо тянуло в Сокольники выпить пльзеньского пива производства братской Чехословакии, но перед путешествием на другой край Москвы он заскочил тут же по соседству на одну всего минуту перехватить кружку жигулевского.

Пивная эта не была распивочным заведением в строгом смысле, просто низкое деревянное строение, официально вмещавшее овощной магазин, где продавали

квашеную капусту, картошку, свежие овощи, когда таковые случались, но также пиво в разлив. Употребление проданного пива на месте не предусматривалось правилами торговли, поэтому не было кружек или стаканов, но равным способом оно не запрещалось и не преследовалось. Покупатель должен был принести с собой посуду, тару: банку, бидон или другой пригодный сосуд.

По причине душевной растерянности, владевшей им в то утро, он приплелся пустой, но его тут же снабдил банкой один из ошивавшихся во дворе мужчин, потому что страдающие утренним похмельем составляют своего рода братство, члены которого помогают друг другу из сострадания, не понуждаемые к этому обетами, уставом или общественной моралью. Его даже пригласили выпить на троих, т. е. принять участие в предприятии, цель которого состоит в приобретении — на паях — и последующем совместном распитии бутылки водки, но он отказался.

Войдя в полутемный магазин, он купил и немедленно с жадностью употребил банку пива, довольно свежего и не слишком теплого, спросил вторую, осушил ее одним махом, после чего смог в какой-то степени вернуться к реальности. Жажда и ощущение отстраненности, с которым он воспринимал окружающий мир, оставались, но перестали быть всеобъемлющими. Время, которое до этого пребывало в замороженном состоянии, стало снова двигаться. Этот феномен остановки времени с похмелья остается незамеченным лучшими умами. С другой стороны, великие ученые Эйнштейн, Лоренц или Гейзенберг не могли лично, из первых рук, получить указанный опыт, для чего им потребовалось бы влить в себя, как он это сделал вчера, по доброму литру водки вместе с несколькими бутылками пива.

Возможно также, что такая остановка времени представляет собой некоторый специфический для наших широт вид медитации, которую иные называют похмельной, что все равно не лишает ее самобытности, потому что она, эта медитация, ничуть не напоминает созерца-

тельных упражнений, употребляемых в тай-чи, буддизме и других философских восточных системах.

В голове у него назойливо завертелась мелодия. Улетай на кры-ы-ы-льях ветра... (Что там ни говорите, а он все-таки был интеллигентным человеком.) Опера Бородина не давала ему покоя со вчерашнего дня. Во время сидения под кремлевской стеной Юрка рассказал занимательную байку. В настоящее время у них в Историко-архивном некий профессор доказывает, один против всех, что «Слово о полку Игореве» вовсе не памятник древнерусской литературы конца 12-го века, а довольно поздняя, хотя и талантливая имитация, подделка, мистификация на манер Оссиана. Сочинил, мол, сам Мусин-Пушкин, благо свободного времени при крепостном праве было некуда девать. Он лично встретил эту гипотезу в штыки. Но Юрка между возлияниями давил методически:

— Как случилось, что этот столь дряхлый памятник обнаружили только в начале 19-го века, а 600 с лишним лет перед тем не было про него ни слуху, ни духу?

— Мало ли что, — возражал наш герой, — в русской истории вечно было беспокойно: то монголы, то татары, то псы-рыцари.

Возражать он возражал и при этом горячился, между тем все больше задумывался и терял уверенность. Выходит, опера «Князь Игорь» тоже коту под хвост, привел он свой потаенный аргумент, все, значит, отменяется: песня девушек, ария Кончака, половецкие пляски, так по-твоему выходит? И плач Ярославны, который в школе проходили? Ничего подобного, парировал Юрка, опера хороша сама по себе, равно и плач, разговор идет про датировку литпамятника. Особенно погрузтелось от сообщения Юрки, что настырный этот профессор привлек специалистов по оружию, кои заключили, что упоминаемое в тексте «Слова» вооружение определено относится к более позднему времени. Было и еще что-то интересное относительно половцев: то ли откуда взялись, то ли куда делись, но сейчас он хоть убей не мог вспомнить — голова после пьянки уже вышла из-под контроля.

Даже и с этим пробелом в памяти он все равно был теперь готов отправиться в Сокольники, где надеялся насладиться холодным пльзеньским. Выйдя наружу, с благодарностью возвратил банку стоявшему на том же месте мужику и неторопливо зашагал вверх по Девятинскому переулку в сторону Садового кольца. Переулком стекал навстречу ему кривой протокой. Впереди была улица Чайковского, по-старому Новинский бульвар, за спиной осталась Большая Конюшковская, скопление одноэтажных деревянных домов. Построенные после пожара 1812 года, они определенно не принадлежали к тем, которые, по крылатому выражению Скалозуба, украсили белокаменную в результате знаменательного события.

Наш герой, кстати, проживал в одном из этих невзрачных строений. В пивную он пробрался задворками мимо гаражей из листового железа, оставив слева утопавший в зелени Дом-пароход Моисея Гинзбурга, привлекавший, несмотря на свою облезлую наружность, внимание знатоков архитектуры со всего мира. Теперь, пока он восходил по Девятинскому, я успею дать читателю короткое описание переулков, открывавшегося навстречу. На углу Садового, по левой стороне, если смотреть под гору на Конюшки, стоял дом матери Грибоедова, где жила знаменитый драматург. Недалеко вежливые подтянутые милиционеры охраняли здание посольства США, фасадом на Чайковского, поодаль смотрело в переулков шестиэтажное творение позднего конструктивизма, известное в окрестностях как Дом полярника.

Герой наш уже совсем было миновал это здание, когда за спиной у него раздался какой-то звук. Обернувшись, он заметил возле палисадника растяннувшуюся на тротуаре шуплую фигурку седоголового гражданина с «авоськой» в руке, из которой выкатились две булочки и бутылка молока. Бутылка, по счастью, не разбилась и была в своем движении остановлена штaketником.

Геннадий, так звали нашего героя, подскочивши к лежащему человеку, первым делом заметил у того на

шее синий шелковый платок. Упавший был в полном сознании и даже улыбался. Улыбка была беспомощная, виноватая, немного лукавая:

— Не пугайтесь, молодой человек, это у меня вестибулярное расстройство. Последнее время стал я падать.

— Вы не двигайтесь, я сейчас вызову Скорую, — сказал Геннадий тоном, каким говорят с маленькими детьми, а также тяжелобольными и иностранцами.

— Нет никакой надобности, вы только помогите мне домой добраться, я рядом живу. — Он указал на Дом полярника и сделал попытку подняться, Геннадию ничего не оставалось как подхватить его под мышками и поставить на ноги, подобрав в сетку припасы.

Они вошли в дом и поднялись по лестнице на второй этаж. Войдя в квартиру, старик пригласил Геннадия из крохотной передней в комнату. Комната была захламлена: на письменном столе, на рояле, на диване и просто на полу теснились кипы бумаг, груды книг, папок и коробок, на маленьком столике у окна стояла бутылка армянского коньяка в окружении мельхиоровых стопок.

Хозяин подошел к столику, наполнил две стопки, протянул одну Геннадию: за знакомство! Они выпили, он тут же налил опять:

- Искренне вам благодарен за помощь. Сожалею, что не могу предложить вам Мартель или Арманьяк.

Они снова выпили и присели. Геннадий осмотрелся. На стенах висело несколько увеличенных фотографий и акварель с изображением городского пейзажа. Помолчали. Взгляд Геннадия задержался на снимке, с которого пристальным взором смотрел мужчина в скюртуке и галстуке с элегантными усами и меньшевистской бородкой. Геннадий не мог оторваться от этого лица, оно казалось знакомым. Ему не всегда запоминались имена и даты, но на зрительную память он не жаловался. Пытаясь отвлечься, он спросил:

— Скажите, пожалуйста, что на этой картине?

— Это вид на Монпарнас, сделанный уличным художником, так сказать на месте происшествия. Мне понравилось, я и купил; это еще до войны.

— Понимаю, — сказал Геннадий, — Париж тридцатых годов.

— Скорее десятых, дело было до Великой войны, первой мировой.

— Извините, но мне кажется, это Чичерин на фотографии.

— Какой Чичерин?

— Наркоминдел Чичерин. Он был ваш родственник?

— Представьте, в некотором роде.

— Отец или дядя?

— Дядя?! Придется сознаться: я Чичерин, тот самый Чичерин.

— Какой Чичерин? Георгий Васильевич?

— Он самый, собственной персоной. Только на фото я на сорок лет моложе.

— Но, позвольте... э... Георгий Васильевич, ведь...

— Понимаю, что вас смущает. Согласно авторитетным источникам (хозяин повел глазами в сторону книжной полки, где теснились темно-синие с золотом тома Большой Советской Энциклопедии) Г. В. Чичерин родился 12 ноября 1872 года, старого стиля, умер 7 июля 1936 года, нарком иностранных дел с 1918 по 1930. Все это так, но тем не менее я тот самый Чичерин. Не звоните, Христа ради, в Каценку. Я не воображаю себя наркомом, как некоторые воображают себя Наполеоном. Вы вправе требовать объяснений, которые я постараюсь представить, но позднее. Как говорится, в подходящий момент. Пока разрешите сделать вам несколько вопросов. Как это вы узнали мою фотографию? Как вышло, что вы вообще знаете про существование Чичерина? Сегодня это почти невероятно. Вы по профессии кто будете?

— Историк, — ответил Геннадий и с досадой ощутил, что краснеет. — Я, если можно так высказаться, историк по образованию, я, как бы вам сказать, окончил истфак МГУ, в настоящее время в аспирантуре учусь. Меня, кстати, зовут Геннадий.

— Очень приятно познакомиться! Так вы питомец Московского университета или, как раньше выража-

лись, кандидат. Я сам Петербургского университета, но все равно. У кого же вы, батенька, учились? У Соловьева, у Ключевского или, чем черт не шутит, у моего дядюшки?

Геннадий молчал. Семнадцати лет от роду он выбрал истфак исключительно по той причине, что туда было легче поступить. Без блата, с аттестатом, бедным пятерками, приходилось быть сугубо практичным. Покрытые дымкой секретности престижные заведения, вроде МИФИ или Физтеха, факультеты журналистики или физики — все это было не про него. На гуманитарные специальности шли в подавляющем большинстве девочки. Главным его советником по делам поступления был Коношковский сосед Серёня Капустин, франтоватый студент третьего курса, щеголявший в узких, как лосины, брючках, с набриолиненным коком: на языке того времени *стиляга*. Соображения у Серёни были простые и веские: физико-математические дисциплины у тебя не того (на этих уроках Геннадий тройку считал достижением), посему тебе, брат, как и мне в свое время, прямая дорога в историю. Твое мужское достоинство, «чистый пятый» пункт гарантируют успех на все 99 процентов. Не натвори ничего выдающегося на вступительных экзаменах, и тебя примут, куда они денутся! Иначе истфак будет, как женский монастырь. Поступишь — начнешь купаться в женском внимании, станешь как кот в сметане. Так и вышло. Учиться было не очень трудно. Нужно было только запоминать хронологию, но главным образом затверживать формулы учебников про классовую борьбу и роль пролетариата. Имя Чичерина он помнил в связи с Генуэзской конференцией, хотя в подробности никогда не вдавался.

Он для солидности кашлянул и сказал:

— Георгий Васильевич, было бы очень интересно узнать про Генуэзскую конференцию — из первых рук. Ведь это была блестящая победа советской внешней политики, а нам про это рассказывали на лекциях до смешного мало...

— Мало, говорите? Вспоминать Геную и Рапалло

приятно, это был, действительно, успех исторического значения. Были в моей карьере еще достижения, особенно против Англии, но Генуя — это звездный час, даже не верится, что такое удалось. Мы тогда находились в изоляции, в карантине. И было жизненно важно прорвать это кольцо. У немцев был свой резон с нами поладить — чтобы с нашей помощью обойти Версальский договор, по которому им разрешалась армия не свыше ста тысяч, без танков и самолетов. Мы, со своей стороны, искали у них помощи в обучении армии, в промышленности. В 1922-ом году, едва сделали первый шаг, договорились про строительство авиационного завода Юнкера в Филях, как подспела конференция в Генуе. Немцы переговоры с нами приостановили в надежде, что сумеют что-нибудь выторговать у Антанты. Мы сразу заподозрили, что Ллойд-Джордж с Брианом зовут нас увидеться не от избытка христианской любви. Версальский договор наложил на Германию огромные репарации, но денег она давала ничтожно мало: ссылалась на бедность. Русские долги, довоенные и военные, тоже оставались неуплаченными. План был: дать нам германские репарации, но заставить платить Антанте. Ленин немедленно понял, что под видом послевоенного восстановления нас хотят экономически закабалить.

— Понятно: империалистические штучки!

— Так-то оно так, однако кто на месте англичан, и особенно французов, вел бы себя иначе? После изнурительной войны их финансы и экономика были в расстройстве, плюс, желание отомстить за страх поражения, который они испытывали до конца войны. Ленин в Геную ехать не хотел — из-за возможности покушения; по той же причине отпадали Троцкий и Зиновьев. Получилось, что во главе делегации буду я.

— Но вас же тоже могли убить?

— Я представлял сравнительно меньшую ценность: вчерашний меньшевик, не был членом Политбюро или ЦК. В преддверии Генуи британские лейбористы стали требовать, чтобы Ллойд-Джордж пригласил на конфе-

ренцию свергнутое меньшевистское правительство Грузии. Ленин потирал руки от удовольствия: лидер лейбористов Гендерсон, как и Керенский, по глупости играют нам на руку.

— Вы хотите сказать, что Ленин готовил такую, язык не поворачивается выговорить, провокацию?

— Господи, друг мой, перестаньте витать в облаках! И не употребляйте, Христа ради, громких слов. Какая там провокация, просто тактическая хитрость. Ленин был очень искусный тактик. Вам не доводилось читать его работу 19-го года «Детская болезнь левизны в коммунизме»?

— Мы вообще-то проходили ее по марксизму-ленинизму, — сказал Геннадий с запинкой — для него все эти первоисточники были на одно лицо. Он никогда не понимал, зачем их так много.

— «Проходили», забавное словечко. Так вот, в этой работе Ленин с замечательной ясностью изложил свою доктрину. Мы будем блокироваться с кем угодно, кто нам в данный момент полезен, потом этого временного союзника следует отбросить, иногда даже уничтожить, как это и сделали с левыми эсерами. Кто не понял этой статейки Ленина, тому все 55 томов не принесут никакой пользы. Возвратимся, однако, в Геную.

Мы прибыли туда в сверкающих дипломатических доспехах: фраки, полосатые брюки, черные цилиндры, белые шелковые перчатки. Итальянские новоиспеченные коммунисты с вытаращенными глазами читали в газетах, как мы чокаемся шампанским с министрами и кардиналами. 10 апреля я произнес свою речь по-французски, после чего перевел ее на английский. Мы готовы, сказал я, предоставить иностранным капиталистам концессии, но не собираемся платить долги, оставшиеся от проклятого прошлого. Затем я изложил пацифистскую программу, которая была заранее оговорена с Лениным, призвав ко всеобщему разоружению. По окончании моей речи вскочил французский министр иностранных дел Барту с горячими возражениями против разоружения. Мы не настаиваем, ответил я ему, хотя

совсем недавно Франция жаловалась, что не может разоружаться из-за России.

Из-за приближавшейся Пасхи в работе конференции наступил перерыв. Реальные переговоры вели на вилле Альберти две делегации: советская и британская. В разговорах с Ллойд-Джорджем мы держали себя агрессивно. Надо, мол, еще разобраться, кто у кого в долгу. Если учесть репарации, заявил я, на которые мы имеем право, да наши расходы за годы войны, да наши убытки от интервенции, выйдет, что союзники должны нам миллиардов сорок.

Все это время немцы находились в полном неведении. Их попытки связаться с англичанами неизменно наталкивались на глухое молчание.

Чичерин замолчал, стал к чему-то прислушиваться, на лице стало заметно напряжение:

— Вам не кажется, что в дверь позвонили?

— Вроде бы нет, — сказал Геннадий, — я ничего не слышал.

— Слух я теряю, просто беда. Слава Богу, музыку пока еще слышу, но некоторые звуки перестал различать, в частности дверной звонок. Ко мне тут приходит женщина убрать и вообще присматривает, готовит. Так вот каждый раз с этим делом история. Сто раз просил стучать, но вот поди — все равно звонит.

— Сколько же этой женщине лет? — спросил Геннадий и тут же спохватился, что вопрос бестактный. — Я имел в виду, что некоторые люди ничего не помнят, когда их просят. Хоть кол на голове теши.

— Возрастом ее я никогда не интересовался, к тому же у дам это и спрашивать не принято, но думаю, вряд ли больше 70. Молодая еще особа, по моим меркам. Скажите откровенно, вам не надоели мои излияния? Не стесняйтесь, я понимаю, что интересы и нравы нынче другие. То, что для нас было до смерти важно сорок лет назад...

— Да нет же! Георгий Васильевич, совсем даже наоборот. Такая, знаете, неповторимая возможность. Продолжайте, пожалуйста, если вам не трудно.

— Ну, как скажете, вы — гость. Итак, немцы изнывали от неизвестности. Кажется, приближение Пасхи тоже оказывало действие. 15 апреля, это была Страстная суббота, барон Уго фон Мальцан пригласил Раковского и Иоффе на завтрак, завел разговор про возобновление советско-германских переговоров. Они его заверили, что советское правительство готово немедленно подписать договор с Германией. Немцы сообщили об этом англичанам — никакой реакции. Вечером до отеля, где стояла германская делегация, дошли слухи, что мои переговоры с Ллойд-Джорджем близки к завершению. Спать немцы отправились в самом мрачном расположении духа. Мы в это время, простите за каламбур, не дремали.

В час ночи Иоффе позвонил барону Мальцану и предложил встретиться в 11 утра в нашей резиденции, в близлежащем городке Рапалло. Барон разбудил остальных, началось знаменитое «пижамное совещание», оно продолжалось до 3 часов утра. Министр иностранных дел Ратенау был против договора с нами, но постепенно сдавал позиции. И в 7 утра немцы сообщили мне по телефону о своей согласии. Ратенау все еще надеялся, что англичане откликнутся. Один из его помощников дважды безуспешно пытался связаться с Вайсом, советником Ллойд-Джорджа. Первый раз ему сказали, что Вайс спит, второй — что он уехал на все воскресенье. Немецкой делегации ничего не оставалось, как ехать в Рапалло.

Переговоры и обед заняли несколько часов. Около шести вечера работа над текстом подошла к концу. Ратенау, скучавшему в отеле по соседству, дали знать, что все готово для подписи. Он был уже в дверях, когда раздался телефонный звонок: Ллойд-Джордж хотел назначить с ним встречу. Ратенау заколебался, но потом сказал по-французски «Le vin set tire, il faut le boire» (Бутылка откупорена, вино придется выпить). По договору, только что подписанному, мы не претендовали на репарации, немцы отказывались взыскивать старые долги. Договорились также о том, что на советской

территории будет происходить подготовка германских пилотов и танкистов. Специалисты из Германии смогут работать на наших заводах, где начнется производство вооружения для Рейхсвера, и, разумеется, для Красной армии. Красные командиры будут проходить обучение в Германии.

Националисты кричали, что договор запятнал честь Германии, что он на руку мировому еврейству. Главным виновником объявили Ратенау. Это была, кстати, интересная фигура, промышленник, философ, инженер, человек большой культуры. Крещеный еврей, Ратенау считал себя немцем, но своего происхождения не скрывал. Его убили в июне того же 1922-го года. Это покушение, как и сотни других политических убийств, оказалось репетицией гитлеровского кошмара. Слепая ненависть к евреям была в Германии столь же сильной, как и в России. Борис Чичерин выступал против этой заразы, один из очень немногих...

Рапалльский договор поверг Англию и Францию в шок. После Рапалло западные страны уже не составляли единого фронта против нас, началась полоса дипломатических признаний. Надо еще отметить, что нам здорово помог Ллойд-Джордж.

— Ллойд-Джордж? Помог Советам? Что-то новое, Георгий Васильевич?

— Тогдашнее положение его в Англии было шаткое, поэтому он решил лично возглавить делегацию. По этой же причине Ллойд-Джордж не взял в Геную своего министра иностранных дел, лорда Керзона. Я Керзона терпеть не мог за его откровенно антироссийские взгляды, но это был дипломат мирового класса.

Узнав о подписании договора в Рапалло, взбешенный Ллойд-Джордж призвал германскую делегацию на ковер: почему они не поставили в известность никого из его подчиненных? Немцы отвечали, что мистера Вайса в последний день невозможно было отыскать. Последовала реакция, на которую был способен только Ллойд-Джордж. Сморщив лоб, он с великолепно наигранным удивлением спросил: «А кто такой мистер Вайс?»

Этот маскарад, однако, не помог, к концу года пришлось уйти в отставку. Но Керзон сохранил свой пост в новом правительстве консерваторов и мне с ним не раз доводилось скрещивать рапиры. Про него, кстати, ходил анекдот, который он сам рассказывал как подлинное происшествие. Во время мировой войны, при виде британских солдат, купавшихся в море, Керзон воскликнул: «Никогда не думал, что у низших классов такая белая кожа!»

Они оба рассмеялись. И Геннадий вдруг осмелел:

— Георгий Васильевич, мне тоже анекдот вспомнился, очень похожий, но его нельзя рассказывать без крепких выражений, без мата...

— Дерзните, батенька, здесь барышни не присутствуют.

— По пути в Барвиху ответственный руководитель от скуки болтает с шофером:

— С кем это вы, Вася, поздоровались?

— Это Алексей Николаича шофер.

Едут дальше.

— А это с кем?

— Это Фрол Романыча шофер.

— А это с кем?

— Так, одна блядь знакомая.

— Скажите, Вася, я давно собираюсь спросить, а что в народе — все еще ебутся?

По реакции собеседника Геннадий понял, что анекдот попал в точку. Чичерин долго посмеивался, даже повторил концовку. Потом сказал серьезно:

— Я еще хорошо помню, как возник большевистский заповедник в Барвихе. До революции там было огромное имение, принадлежавшее Майндорфу, в его готическом доме нынче клуб. Имение тянулось от Одинцова до Усова: железнодорожная станция, лесопилка, парк с дорожками для верховой езды. Там же, по соседству с Усовым, два имения родственника Майндорфа нефтепромышленника Зубалова. А что со всем этим случилось после революции? В Зубалове II и по сей час живут Микоян, Ворошилов и некоторые другие, в Зубалове IV,

поменьше, разместился Сталин, в том же доме долго, пока они не разошлись, жил Бухарин...

У Геннадия вдруг засосало под ложечкой.

— Георгий Васильевич, мне, откровенно говоря, неловко отнимать у вас столько времени. К тому же вы, наверно, порядком устали.

— Ничуть, совсем наоборот: воспоминания меня взбудрили. Это я у вас отнимаю время, вы ведь перед тем, как меня подобрать, куда-то направлялись, не правда ли?

— Да нет, ничего особенного...

— Не стесняйтесь, мой друг, дело прежде всего.

— Нет, нет, вы меня неправильно поняли, я готов вас слушать хоть целый день, вы же живая история!

— Кстати, а где вы, милый, проживаете?

— В Конюшках. Рядом.

— Соседи значит. Давайте так сделаем. Я, как обещал, раскрою загадку моего существования, не то, упаси Господь, вы примете меня за самозванца, после чего отпущу вас восвояси. В другой раз поговорим еще. Идет?

— Как вам удобнее, Георгий Васильевич, я вам бесконечно благодарен за этот чудный вечер — такая бесценная информация!

— Пустяки, старческая болтовня. Вы, возможно, не знаете, что я до революции был, страшно выговорить, меньшевиком. Да, да, батенька, самый заядлый меньшевик. Это вообще забавная история: как сын тамбовского помещика угодил в революционеры. Это Романовы дали такое направление русскому свободомыслию. В Екатерининские времена, пока вольнодумство шло из Франции, русские бары были вольтерьянцы, почитывали Дидро и Руссо; сие, правда, не мешало заводить крепостные гаремы и сечь дворовых. Потом, при первом Николае особенно, все французское попало под подозрение — из боязни революции. Дворяне, искавшие образования, стали ездить в германские университеты. Помните, про Ленского: «Он из Германии туманной привез учености плоды». У нарождавшейся интеллигенции появился вкус к немецкой философии: Кант, Фихте,

Шеллинг, Фейербах, Гегель... Славянофилы и западники, Герцен, Боткин, Белинский, Хомяков, Киреевские, — все жадно читали или пересказывали друг другу философские новинки из Германии, неистово спорили по их поводу. Лев Толстой увлекался Шопенгауэром, его ровесник и мой дядюшка Борис Чичерин, один из самых светлых умов века, был крепкий гегельянец.

Следующим в этой последовательности немецких кумиров стоял Маркс. Цензура марксистскую литературу не запрещала, считали, что для народа слишком мудрено. И вдруг: все заинтересовались марксизмом. Мемуарист Павел Анненков, записывавший под диктовку Гоголя «Мертвые души», познакомился с Марксом в сороковых годах и оставил очень живой его словесный портрет. Михаил Бакунин, скакнувший из гегельянства в апостолы анархизма, состоял членом Интернационала, правда, с Марксом никогда не смог поладить. Навейные Марксом строки можно обнаружить даже у Толстого.

— У Льва Толстого? Маркс и Толстой? Даже трудно представить!

— Именно у Толстого, батенька. В «Анне Карениной». Забавно, что современные пропагандоры этого так и не заметили. Передайте мне, если не затруднит, вон те два томика с полки. Благодарствуйте. Это должно быть в первой части, когда Левин приезжает к брату Николаю в гостиницу. Вот оно. Послушайте, что говорит Николай: «Капитал давит работника, — работники у нас, мужики, несут всю тягость труда и поставлены так, что, сколько бы они ни трудились, они не могут выйти из своего скотского положения. Все барыши заработной платы... отнимаются у них капиталистами. И так сложилось общество, что чем больше они будут работать, тем больше будут наживаться купцы, землевладельцы...» Вот так... Видите, что даже помещик Толстой счел необходимым разобраться в деталях марксовой доктрины. Люди помоложе под влиянием «Коммунистического манифеста» и «Капитала» жгли за собой мосты, переходили в марксизм... А ведь неожиданная цитата, не правда ли?

Сознайтесь, прочти я ее без указания источника, ни за что бы на Толстого не подумали?

— Это просто немыслимо, Георгий Васильевич...

— Начинали Плеханов, Туган-Барановский, Потресов, Аксельрод, Засулич, потом пришла очередь моего поколения: Струве, Мартов, Ленин, Бердяев... Я по окончании Петербургского университета поступил на дипломатическую службу, откуда вышел в 1904-ом, в год смерти дядюшки, который революцию отвергал, однако твердо стоял за представительное правление. Но это так, к слову пришлось.

32-х лет отроду, с революционными вихрями в голове и желанием переделывать мир, я отказался от прав на тамбовское имение, уехал в Берлин. С началом революции примкнул к меньшевикам, работал с французскими социалистами и британскими лейбористами. Большинство социалистов тогда охватил патриотический угар. Я сотрудничал с пацифистами, работал в обществах помощи жертвам войны. — Чичерин замолчал, будто что-то вспоминая, и неожиданно заговорил снова:

— Если вам интересно о моей скромной особе, то 1917 год застал меня в Англии. Монархия в России пала, но либеральные мужи Временного правительства стояли за войну до победного конца. Милюков договорился до того, что русский народ, мол, прогнал царя, потому что тот недостаточно энергично вел войну. И это ученик Ключевского!? Когда Ленин объявил декрет о мире, я не раздумывая выступил в его поддержку, за что был британским правительством посажен в кутузку. Вскоро меня обменяли на Бьюкенана, британского посла в России...

В январе я прибыл в Петроград и сразу включился в дипломатическую работу. После перехода Троцкого в военное ведомство был назначен наркомом. Я, единственный, среди тогдашнего правительства был практически знаком с дипломатической службой. Как и другие бывшие меньшевики, как Урицкий, Володарский, Хинчук, как тот же Троцкий, я вступил в партию большевиков. Тогда, конечно, про наше небольшевистское про-

шное старались не вспоминать, не то что после... В Наркоминделе работали преимущественно молодые люди, исполненные революционного энтузиазма, но совершенно девственные в делопроизводстве и дипломатическом протоколе. Я им казался чудачком: сидит за письменным столом ночи напролет, на шее шелковый платок, на ногах домашние туфли с незастегнутыми пряжками, иногда отрывается от писания бумаг, чтобы поиграть на фортепьяно или выпить рюмку коньяку. Я предпочитал работать по ночам. В полночь приезжали послы, их вначале было совсем мало, но один был личность уникальная, про него нельзя не сказать. Я имею в виду германского посла графа Рантцау.

Его полный титул был граф Брокдорф-Рантцау, но он просил употреблять только вторую часть фамилии. В 1919 году, будучи в качестве германского министра иностранных дел главой делегации в Версале, он остался сидеть, когда Клемансо вручил ему текст мирного договора. Ответную речь Рантцау произнес тоже сидя, подписать договор отказался и подал в отставку.

Граф происходил из старинной, аристократической гольштейнской семьи, его предки служили датским и французским королям. Одного из них, маршала Франции Жозиаса Рантцау, молва считала фактическим отцом Людовика Четырнадцатого. В Версале французский офицер спросил графа, правда ли это? «О, да, — был ответ. — Последние 300 лет Бурбоны в нашей семье считались побочной ветвью Рантцау». Я любил с ним беседовать, большей частью по-французски, играл ему на рояле. Мы могли не соглашаться в политике, но нас связывало множество вещей: любовь к литературе, неприязнь к Англии, презрение к женщинам.

Позже я принимал журналистов, а также любопытных иностранцев, которые приезжали в Москву поглазеть на первое государство рабочих и крестьян. Под утро кто-нибудь из секретарей отправлялся в наркомовском роллс-ройсе за моей доверенной машинисткой, которая перепечатывала сочиненные за ночь документы. Свои письма я заканчивал формулой «С коммунист-

тическим приветом». Однажды машинистка, от усталости, в письме, адресованном Ленину, напечатала «С капиталистическим приветом». Ляпсус обнаружил, просматривая копии, кто-то из секретарей (кажется, это был Саша Бармин) уже после того, как ушла почта. Насмерть перепуганный, он бросился звонить в Кремль. Письмо среди других документов уже лежало на столе Предсовнаркома, откуда никто не осмеливался его забрать. Доложили мне, я только посмеялся: революция не пострадает. Продолжения эта история не имела. Но уже через несколько лет нравы и порядки были иные...

— Георгий Васильич, не удивляйтесь, но меня ужасно интересует, какие отношения у вас были с Владимиром Ильичом? Сами же знаете, сколько сейчас говорят о Ленине. Вот если бы жил Ленин, если бы жил Ленин!

— С Лениным? Хорошие, но исключительно официальные, служебные. Мы неплохо сотрудничали, пока я следовал его директивам, Ленин не был мелочным буквоедом вроде Сталина, но не поощрял у сотрудников инициативы, не интересовался их мнением. При случае давал понять, что они должны знать свое место. До революции мы были едва знакомы, никогда не состояли в переписке. Не забудьте, что мы принадлежали к непримиримым фракциям...

— Но разве у большевиков с меньшевиками не было контактов? Тем более, что некоторые переходили туда и обратно.

— Контакты были, вы правы, но надо знать Ленина. Для него меньшевики были такие же враги, как кадеты, даже хуже. С момента, когда партийный товарищ отклонялся от ленинской линии, он переставал для Ленина существовать. Я понимаю, ваше представление о нем сложилось из опубликованных воспоминаний, а это скорее агиографии.

— Агиографии?

— Ну, да, жития святых. Вам с детства внушали про гениальность Ленина, но это пустяки. Если кто и отличался гениальностью, так это Маркс, отнюдь не Ленин.

Вы только сочинения их сравните. Что, однако, стоит отметить, так это несгибаемую ленинскую целеустремленность. Благодаря ей он выделялся на фоне славянской рыхлости, расхлябанности, бесформенности большинства товарищей. В то же время человек он был беззастенчивый, бесцеремонный, на мой дворянский вкус, даже грубый. Вам, я вижу, это трудно принять, но из песни слов не выкинешь. Излишней, даже элементарной любезностью Ильич не грешил, такого за ним не водилось. Мемуарные сведения про его необыкновенную чуткость, гуманность — это фальсификации или преувеличения. Сделаю, однако, оговорку. Стиль Ленина мог впоследствии сойти за ангельскую кротость, если его сравнивать с манерами Сталина или его соратников: Ворошилова, Кагановича, Кирова, Жданова и прочих. Эти товарищи возвели в государственную норму развязное хамство трактира и конюшни. Дам вам типичный и, если угодно, смешной образчик. После гражданской войны Ворошилов, Буденный и прочие кавалергарды революции зачастили в Большой театр — на предмет свежатинки из певичек и балерин. Однажды в фойе к Ворошилову подходит совдама с глубоким треугольным декольте на спине:

— Как вам нравится мое платье, Климент Ефремович?

— Совсем не нравится.

— Почему же?

— Жопы не видно...

Забавно, не правда ли? Но мы все отвлекаемся в сторону. Вы ведь, кажется, хотели узнать, как это вышло, что вы беседуете с официально почившим наркомом Чичериним.

— Георгий Васильич, это же прямо тайны мадридского двора: светская жизнь Климента Ефремовича Ворошилова! Но простите великодушно: больше ни слова не пророню.

— Я это не в укор вам сказал, но будем, однако, продолжать. В двадцатых годах здоровье мое все время ухудшалось — от переутомления, но также от нарастающего разочарования. Я, как и многие в моем поколении,

стал революционером, уверовав в Маркса. Марксизм, хоть и называет себя научным социализмом, все равно есть безбожная религия. Кафка, кстати, тоже так думал. Он хорошо и очень точно сказал: «Большевизм потому против религии, что он сам религия». Вы вряд ли Кафку читали, его у нас замалчивают, а жаль, это один из самых глубоких писателей века. Кажется, никто лучше нашего читателя не может оценить меткость его прозы. Он, кстати, предсказал: чем шире разливается половодье русской революции, тем мельче и мутнее становится вода, а когда революция испарится, останется только ил новой бюрократии.

Геннадий снова не выдержал:

— Этот Кафка, он как — подлинный?

— Не понимаю, что вы имеете в виду.

— Всегда, знаете, найдутся имитаторы, мастера мистификации.

Геннадий, радуясь возможности внести вклад в беседу, с подробностями выложил вчерашнюю Юркину байку насчет «Слова о полку Игореве». Чичерин слушал с интересом, потом сказал, слегка почесав за ухом:

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Очень это возможно, звучит правдоподобно. Примеров фабрикация национальных памятников сколько угодно. В начале XIX века, в ту же эпоху, когда Мусин-Пушкин обнаружил «Слово», подобное открытие состоялось в Богемии. Некий Ханка отыскал средневековые манускрипты, ставшие классикой чешской поэзии. Кажется, публикации этого разоблачения очень помог Томас Масарик, будущий президент Чехословакии. Как видите, лавры Макферсона многим не давали спать.

— Мне стыдно, Георгий Васильевич, но Макферсон, кто он такой?

— Шотландец восемнадцатого столетия, талантливый поэт и мистификатор. Он опубликовал две поэмы, объявив, что это переводы из древнего барда III века Оссана. Опусы сии произвели большое впечатление на современников, их перевели на многие языки, однако лет через двадцать всплыло, что сочинил их Макферсон

самолично. Подождем, как оно дальше обернется. Как, кстати, фамилия вашего храброго профессора?

— На... «ээ»... начинается: Зинин или может Зилин. Боюсь только, что продолжения не будет.

— Отчего же?

— Когда про это дело Хрущеву доложили, он приказал тему закрыть. Древних памятников у нас и так кот наплакал, а вы вместо того, чтобы новые открывать, старые закрываете.

— Ха-ха-ха! Действительно, отстаем от Запада по всем статьям. Но вернемся к нашим баранам. Маркс в «Капитале» фактически переводит разговор в моральную плоскость. Вы только послушайте детали его схемы. Капиталист нанимает рабочих, покупает материалы, организует производство. Если для примера сырье и прочее обошлось в десять рублей, а готовое изделие продается за пятнадцать, то пять рублей составляет добавленная или прибавочная стоимость, из которой капиталист дал рубль рабочему, чтобы тот мог продолжать существование, а четыре присвоил. Это и есть эксплуатация. Выход из этой моральной несправедливости Маркс видел в экспроприации класса капиталистов. Когда собственность перейдет к трудящимся, исчезнет основа для эксплуатации, произойдет скачок из царства необходимости в царство свободы, как поэтически выразился Энгельс в «Анти-Дюринге».

В конце жизни Маркс понял, что создать такое общество будет непросто. В «Критике Готской программы» он уточнил, что путь из капитализма в эту идиллию лежит через диктатуру пролетариата, когда у власти будет стоять рабочий класс, но подлинного равенства еще не будет.

Все это, разумеется, никакая не наука, а проповедь, но мы ее принимали. Став после революции реальностью, она мне, и не мне одному, стала разъедать глаза. Пока жаловались бывшие эксплуататорские классы, это было естественно, но в 1921-ом забастовали питерские рабочие — против кого? Против собственной диктатуры? В ход пошло партийное вранье: это, мол, не заба-

ставки, а волынки. Лодыри, деклассированные элементы, не хотят выполнять свой общественный долг. В Питере рабочие говорили: мы дали большевикам власть, мы ее заберем назад. Когда в Кронштадте восстали матросы, которые совсем недавно были опорой советского режима, с ними расправились как со злейшими врагами. Про равенство стало неудобно вспоминать: революционная власть установила иерархию из 14 пайков — столько же классов было в петровской табели о рангах. Мы мечтали избавиться от проклятого прошлого, однако революция сохранила, даже укрепила самые отталкивающие институты царской России: тайную полицию, цензуру, гипертрофированную бюрократию. Пошли массовые реквизиции, расстрелы заложников...

Это был крах идеалов. Напрасно мы придумывали и отыскивали смягчающие обстоятельства, во все глаза старались углядеть проблески надежды. В который раз русский порыв к свободе обернулся гнетом. Злые языки повторяли: «За что боролись, на то и напоролись».

Чичерин прервал рассказ, чтобы наполнить рюмки. Молча выпили.

— Когда я понял, что прыжок в царство свободы в лучшем случае откладывается на неопределенный срок, это сознание стало разъедать мой мозг и плоть. Я старался забыть за каждодневной работой, за роялем, за книгами, но это плохо удавалось. Большевики меня терпели как полезного чужака. На 14-м съезде Сталин даже ввел меня в ЦК, но никакой близости с ним быть не могло.

Мой главный заместитель Литвинов спал и видел, как бы сесть на мое место. Был он весьма неглупый, но для дипломата плохо отшлифованный, ему не хватало культуры, из всех языков говорил только по-английски, был женат на англичанке. Литвинов — из настоящих, твердокаменных старых большевиков. Люди этого типа могли ограбить банк, жениться, чтобы завладеть деньгами жены, украсть печатный станок у меньшевиков. Литвинова в свое время выслали из Франции за попытку разменять крупные купюры, добытые в одном из почто-

вых налетов, которыми занимался Коба-Сталин. Характер у него был упрямый, неподатливый, одним словом, крепкий орешек. Странно сказать, но даже Сталин несколько терялся в его присутствии. Я думаю, по этой причине он его не репрессировал. Как-то во время совещания Сталин подошел к Литвинову, положил ему руку на плечо:

— Вот видите, мы можем договориться.

Тот сбросил руку и ответил: «Ненадолго!»

Я не переваривал Литвинова главным образом за то, что он никогда не испытывал моральных сомнений.

Конец моей наркомовской карьере положили события 1928-го года, главным образом Шахтинское дело. Наркоминдел оказался втянут в этот одиозный процесс, потому что среди подсудимых наряду с 50 советскими специалистами были пять инженеров из Германии. Обвинения были чудовищные: злостное вредительство, пожары, затопление шахт. Я не знаю подоплеку дела, но, видимо, главный мотив был — подстегнуть население, сплотить его перед лицом общей угрозы. Диктатуре необходимы враги, они оправдывают ее существование.

В СССР начинался новый этап индустриализация и связанное с ней повальное ограбление населения.

...В марте Шахтинское дело открылось как грандиозный спектакль, миллионы трудящихся вышли на демонстрации с требованием расправы. Предсовнаркома Рыков сразу объявил обвиняемых виновными, вскоре в том же духе высказался сам Сталин. Граф Рантцау, заявляя протест, предупредил, что подаст в отставку, если я не смогу что-нибудь сделать для арестованных немцев. Четверо из них были служащие электротехнического гиганта А.Е.Г., германского Джeneral Электрик. Компания вела значительные работы в СССР, угрожала их свернуть.

Наши вопли, Литвинова и мои, что страна теряет единственного союзника, возымели некоторое действие: двух немцев выпустили до суда, двух оправдали, одному дали год тюрьмы и тут же выслали. Все равно письма

на стене проступили грозные. Относительно благополучный НЭП подошел к концу, власть завинчивала гайки.

По окончании процесса Рантцау уехал из Москвы, у него обнаружили рак горла. Скоро он умер в Берлине.

1 октября в Москве праздновали начало первой пятилетки, но я уже был в Висбадене, куда сбежал на лечение. Была и другая причина — все тот же Литвинов. Я заявил в ЦК, что не могу больше работать с этим моим антиподом. Я уезжал в отчаянии, боялся повторения ужасов гражданской войны.

Полтора года, проведенные в Германии, были насыщены историческими событиями. На Западе разразился биржевой крах, началась мировая депрессия, в СССР отбирали частную собственность, крестьян загоняли в колхозы.

Мне хотелось остаться в Висбадене, но меня неотступно уговаривали вернуться: советскую власть не устраивала перспектива получить наркома-невозвращенца. В конце концов, я сдался.

Возвращение в Москву вышло драматическим. Город за время моего отсутствия стал неузнаваем. Угар НЭПа улетучился через дымовые трубы пятилетки. На лицах прохожих, на фасадах зданий — повсюду бросалась в глаза нищета, усталость, апатия. Магазины и лавки в большинстве закрылись, оставшиеся производили жуткое, замогильное впечатление. Витрины были декорированы исключительно картонными коробками, на которых размещались жестянки консервов с табличками «пустые»! Изношенная одежда прохожих напоминала лохмотья. Мне стало стыдно своего заграничного платья.

Еще одну новинку московского пейзажа составляли длинные хвосты у кондитерских. Вопреки благоглупостям попутчиков социализма и журналистов, вроде Вальтера Дюранте, правда устрашала. Сладости оставались практически единственным видом продовольствия, который можно было добыть без карточек. Голодные москвичи выстаивали в очередях долгие часы, чтобы отдать дневной заработок за фунт отвратительного продукта из сои с сахарином.

Я скоро обнаружил, что мое личное положение тоже скверно. Меня заманивали в Москву с единственной целью сместить с должности под надежный надзор ОГПУ, чтобы и мысли не было остаться за границей.

25 июля 1930 года я за завтраком прочел в газете о своем увольнении. Литвинов, как подлинный большевик, не церемонился. Из наркомовской квартиры на Кузнецком меня немедленно выдворили в крохотную каморку, где не было отопления: пришлось вещи и книги распахивать по знакомым. Мне назначили продовольственные карточки самой жалкой категории. Жаловаться и просить не в моем характере, посему я голодал и холодал, пока через несколько месяцев кто-то из моих бывших секретарей, возмущившись, не пошел хлопотать в ЦК. В результате мне выделили квартиру в одном из арбатских переулков и паек получше. В остальном власти, казалось, про меня забыли, я мог посвящать все свое время книгам и музыке. Из квартиры я выходил, главным образом, для того, чтобы отправиться в книжные магазины на Арбате. На улице я держал очи долу — из опасения быть узнанным.

Здоровье мое было нехорошо, постоянные боли. Я думал, что дни мои сочтены, когда судьба свела меня с доктором К. Лучше не называть его фамилии. Несмотря на разницу в возрасте (он был почти на 20 лет моложе), мы подружились, как могут дружить только мужчины. Он стал моим ангелом-хранителем. Распознал мой недуг, сделал мою жизнь терпимой: теперь каждый шаг уже не доставлял мне страданий. Вместе мы проводили долгие часы, наслаждаясь откровенной, без оглядки, беседой обо всем на свете, даже о политике, — роскошь, которую тогда могли позволить немногие. Потом грянуло убийство Кирова.

Первый процесс Зиновьева и Каменева показал, что никто не может чувствовать себя в безопасности. К. высказал мысль, что меня, скорее всего, тоже возьмут, не потому, что я представлял опасность для Сталина, но по другой, непредсказуемой причине: хотя бы для того, чтобы использовать меня в одном из показательных

процессов. Что такие судилища неизбежны, он не сомневался. Ауто-да-фе, через которые недавно прошли беспартийные спецы, — Шахтинское дело, процессы Промпартии и Метро-Викерс — были генеральной репетицией того, что теперь предстояло партийцам.

Поразмыслив, я с ним согласился. Тогда, сказал К., нужно действовать. То, что он придумал, было дерзко, почти невероятно, однако терять мне, как и пролетариату, было нечего. К. хотел добыть мне новую личность, другую персону, иными словами сделать так, чтобы я официально умер и продолжал жить под другим именем. Летом 1936-го года он поместил в Кремлевскую больницу под именем Чичерина другого своего пациента, смертельно больного. 7 июля тот, с моими документами в деле, отдал Богу душу, положен в гроб и выставлен в здании Наркоминдела. К. позаботился о гриме, в любом случае, никто не усомнился в подлинности покойника.

Во время гражданской панихиды произошло событие, которое подтвердило наши самые мрачные подозрения. Николай Крестинский, бывший посол в Берлине, а ныне замнаркома, в своей речи смело разоблачил Чичерина, подверг острой критике роль покойного в проведении советской внешней политики. Разумеется, это беспрецедентное выступление он сделал по указанию Сталина, и Литвинов, думаю, не возражал. Однако Крестинского такое усердие не спасло. В 1938-ом его протащили через бухаринский процесс и расстреляли. Читая в газетах про этот процесс, я постоянно думал, что мог легко оказаться среди подсудимых, может быть, на месте Крестинского и в его роли.

Сам я на панихиде не присутствовал, не рискнул, хотя соблазн был велик, но К. там был и все мне представил очень живо. Мы поздравили друг друга с тем, что угадали намерения Сталина. Речь Крестинского была не что иное, как запоздалый выстрел в мою сторону, сделанный с досады, что жертва перехитрила палачей, умерла до срока.

Я переселился в квартиру, где мы с вами находимся.

Она принадлежала человеку, который, так сказать, одолжил мне свое земное обличье. К. заранее выяснил, что у него не было родственников. Покойный только что въехал в Дом полярника, где его никто не знал. Такая вот история. Остается добавить, что мой дорогой и незабвенный друг К. в ноябре 1941-го, когда немцы подступали к Москве, ушел в ополчение и не вернулся. Я даже не знаю, как он погиб.

За годы одиночества я на многие вещи стал смотреть по-иному. Где-то мы взяли неверный курс, пошли на ложные огни. У марксизма подоплека моральная, только мы этого не понимали, считали его наукой, оттого, наверно, ставили эксперименты на людях. Другие революции — в Англии, во Франции, да и в Америке — они были нацелены на права личности. Помните Декларацию прав человека и гражданина? Мы, русские революционеры, видели лишь власть, собственность. Печальный урок, только поздно. Это теперь ваша забота, молодого поколения.

Чичерин замолчал, перевел дух. Геннадий видел, что старик на пределе сил, он встал и наклонил голову:

— Большое вам спасибо, Георгий Васильич. Вы не можете представить, как я вам благодарен. За ваш удивительный рассказ, за ваше доверие. Разрешите мне теперь откланяться, вам нужно отдохнуть. Может, я могу что сделать перед уходом?

— Не извольте беспокоиться. Но, кажется, прилечь не помешает. Сердечно рад был с вами познакомиться, заодно излить душу. Это очень по-стариковски, мне как-никак девяносто стукнуло. Вот вам моя карточка, позвоните, когда будет охота.

В Девятинском стояла темнота, на небе появились звезды. Нечувствительно день пролетел, подумал Геннадий. Фонари качались под ветром, тень от листы бежала по земле. Стало прохладно, не то что днем. А если про половцев, они же кипчаки, в тринадцатом веке монголы их вытеснили из наших степей, загнали на Дунай. Какая-то часть даже попала в Египет, где они сперва служили в коннице, а потом захватили власть

под именем мамелюков. Кстати, этот Kafka, кто был по национальности? Стыд и срам, такой писатель центральной, а он ни в зуб ногой. Надо будет Юрку допросить, не забыть, может, он что слышал?

Геннадий вдруг понял, что страшно голоден, заторопился домой. Дома всегда что-нибудь найдется из жратвы, хоть бы и частичка в томате. Проходя под фонарем, достал из кармана чичеринскую карточку, при виде латинского шрифта машинально перевернул. На обороте значилось, по-русски: «Максимилиан Голд, актер театра и кино, Мюнхен — Париж — Москва». Под названием каждого города стояли номера телефонов. Дела! — подумал он, — надо завязывать, так дальше жить невозможно. Пьянству — бой! Двадцать шесть лет, пора собой заняться. Гантели купить, это обязательно. Сыроедение, говорят, тоже очень способствует, прямо чудеса творит.

Похороны Плеханова

Барак напротив проходной назывался Пожарка. По прихоти строителя повернутый к заводу задом, фасадом он смотрел в парк, некогда принадлежавший Салтычихе: там сохранились столетние дубы, два обширных пруда и липовая аллея. Заброшенная, поросшая травой, она хранила тургеневский дух.

Некогда в строении действительно располагалась пожарная часть, нынче было общежитие, где обитали семейные и одинокие — вперемежку. Нас, меня с мамой, подсадили в комнату, где кроме отца (он приехал на полгода раньше) было двое мужчин. Зимой сорок девятого года жаловаться не приходилось. Встретили нас приветливо, угостили чаем, у родителей нашлась бутылка водки. Выпили, закусили, перезнакомились, стали жить.

У старожилков разница в возрасте составляла добрых двадцать лет, если не больше. В остальном они тоже имели мало общего. Старший, Иван Никитич, голову брил наголо, что делало его похожим на Хрущева, но это я говорю задним числом. Тогда подобное сравнение

никому на язык не приходило. Может оттого, что Никита Сергеевич недостаточно был популярен, а вероятнее оттого, что бритоголовые мужики представляли обычный, распространенный тип. Лицом Иван Никитич был кругл и скуласт, выражался отрывисто, рубленными восклицаниями, любимое было: «Крепка Советская власть!» Так он обязательно с удовольствием приговаривал после рюмки водки, но мог выразить и по поводу горячего чаю или другого предмета, заслуживающего одобрения. Еще одно излюбленное словечко было: *жоржики*. Эту категорию составляли преимущественно молодые люди неподходящих манер или внешности. Жоржик был любой франт с буржуазными замашками, но тот же ярлык относился и к агентам госбезопасности в одинаковых габардиновых плащах и белых шелковых кашне, которые стояли шпалерами, разделяя колонны демонстрантов во время первомайских и октябрьских шествий. В гражданскую войну Иван Никитич служил политруком в Первой Конной. Тридцать лет спустя должность у него была тоже ответственная: ночной директор. Завод работал в две смены, дневную и ночную. После протяжного гудка в полвторого ночи на территории, кроме ВОХРа и пожарных, оставался еще дежурный при телефоне: на случай войны, стихийного бедствия, мировой революции или звонка из высшей инстанции.

Второго обитателя комнаты звали Геннадий Антонович. Он носил сорочку с галстуком и вообще старался следить за своей внешностью. В условиях Пожарки (удобства во дворе, одна раковина на дюжину комнат) это был сизифов труд и подвиг, но сие оставалось выше моего пацанского разума. Вульгарных и крепких выражений Геннадий Антонович не употреблял и вообще отличался определенной манерностью. Чай, например, пил не из стакана, но из чашки, которую держал, отставляя безымянный палец и мизинец. Выпускник Баумановского училища, Геннадий Антонович работал на заводе инженером-конструктором. Обычно замкнутый, свою профессию он изъяснял вдохновенно, с поэтической горячностью (как правило, я был единствен-

ный слушатель). От него я узнал, что все в жизни создано инженерами, и лучшей профессии в мире нет (наверно, это сыграло роль, когда через пять лет я со школьной золотой медалью пошел поступать в то же Баумановское, откуда меня благополучно заворотили по поводу еврейского «пятого пункта», но это я забегая далеко вперед). Иван Никитич не одобрял манер и высказываний Геннадия Антоновича, но все больше косвенно, жестом или выражением лица. Однажды я слышал, как он в сердцах сказал: «белая косточка», но лишь тогда, когда объект уже вышел из комнаты.

Наше пребывание в Пожарке продолжалось примерно месяц. Потом мы долго квартировали в окрестных деревнях, пока не получили комнату в заводском доме. Ивана Никитича и его соседа по комнате я изредка встречал у проходной на остановке автобуса, но дальше обмена поклонами дело не шло. Мы разговорились с Геннадием летом 1961 года в заводском парке. Поздоровавшись, он неожиданно остановился и предложил пройтись. Погода стояла подходящая, спешить мне было некуда. Я согласился, понимая, что отказаться было бы крайне невежливо. Геннадий, хотя по-прежнему при пиджаке и галстук, постарел и облез, он осунулся и большего прежнего ссутулился, как записной старый холостяк. Встреча эта произошла через два года после того, как я окончил Институт стали. Мне стукнуло двадцать четыре, я успел много понюхать серы и отведать жару у горна домны, поработал и у других огнедышащих агрегатов. На конструкторов, корпевших за кульманами, металлурги смотрели снисходительно. После банальных расспросов про здоровье и течение дел я, опять-таки больше из вежливости, осведомился про Ивана Никитича. Умер он, сказал Геннадий, в прошлом году умер, через неделю после Пасхи. Это была новая нотка: Пасха. Он добавил: Никитич был не тот, за кого мы его принимали. Помните у Маяковского:

Сначала демократия,
потом парламент.
Культура нужна, а мы Азия.

Это он Плеханова имел в виду, на сто процентов Плеханова, но такое в комментариях никогда не указывается.

— А Плеханов тут причем? — удивился я (из обязательного курса основ марксизма-ленинизма я помнил про него все, что полагалось помнить интеллигентному человеку: основатель группы «Освобождение труда», вместе с Лениным редактировал «Искру», после Пятого года ушел в кусты с заявлением, что не надо было брать за оружие, на что Ильич с неотразимой логикой возразил, что надо было, только более решительно и энергично).

— Историю надо знать, студиозо, хотя, впрочем, откуда вам? Я — другое дело, мой интерес к Плеханову сугубо личный. Я, видите ли, ему прихожусь внучатым племянником. Такое дело. Плехановы из тамбовских мелкопоместных дворян, первоначальный корень ордынский, татарский, служили белому, то бишь русскому царю добрых три века с половиной. Отец Плеханова состоял в военной службе, за ним последовали трое сыновей и в их числе мой дед, который был Георгию Валентиновичу сводный брат: матери были разные. Потом он, дед то есть, был где-то полицмейстером. Мать моя, а его дочь, родилась в 1902 году, она несколькими годами моложе Никитича, который, к слову сказать, ровесник нынешнему вождю. Мать вышла замуж за тамбовского жителя Антона Сечкарева, из купцов. Сами видите, классовое мое происхождение непрезентабельное, о нем я с детства научился помалкивать, в анкетах врал, что родители из мещан. Возвратимся, однако, к Ивану Никитичу. Как-то из одного замечания за чаем стало ясно, что Никитич — свидетель и участник событий семнадцатого года в Петрограде. Я принялся расспрашивать, он отвечал безразлично, но правильно, словно на политзанятии. Кое-что все же удалось выжать: он, в частности, ходил встречать Ленина на площадь Финляндского вокзала. Никитич упомянул при этом, как нелепо выглядели там деятели Петросовета с Чхеидзе во главе. Это известный эпизод, но я на всякий случай спросил: «А Плеханова там не было?» «Плеханова?!» — возмутил-

ся Никитич. — Не было и быть не могло. Плеханову с Лениным разговаривать было не о чем. Плеханов стоял за войну до победного конца, с ним адмирал Колчак советовался насчет того, как предотвратить революционное брожение на флоте. Никитич так разгорячился, что стал сам рассказывать, без побуждения. В Плеханове под конец жизни проснулся русский патриот. Барин он был всегда, но патриотом — только четыре последних года. Ведь это из-за него, Плеханова, вся моя жизнь пошла кувырком.

— Как так? — удивился я.

— Никитич успел до революции окончить гимназию. С первых дней Февральской революции находился в Петрограде. Октябрь встретил большевиком. Гражданскую войну провоевал политработником, хотя ему было едва за двадцать. После войны окончил Институт красной профессуры, преподавал марксизм в разных Вузах, печатал статейки и брошюрки.

Геннадий замолчал. Мы находились в дальней части парка, возле танцплощадки, которая в тот день бездействовала. Я не знал, как себя вести: то ли задать вопрос, то ли ждать. Какое-то время мы шагали молча. Потом он опять заговорил:

— Плеханов набрался либеральных идей совсем юнцом в Воронежском кадетском корпусе. Обычный джентльменский набор: Белинский, Добролюбов, Писарев и, конечно, Чернышевский, который впоследствии стал кумиром и Володи Ульянова. Плеханов, как все его сверстники, зачитывался Некрасовым, но симпатии к русскому мужику не питал. Потому наверно, что крестьяне сожгли плехановский помещичий дом; по его мнению, без особых на то причин. Отвращение к идиотизму деревенской жизни питал до самой смерти. Семнадцати лет отроду оставил кадетский корпус, поступил в Петербургский Горный институт, откуда через два года ушел законченным революционером и вскоре оказался среди основателей «Земли и Воли».

Навстречу нам попался мужчина в ковбойке. Он уже было минул нас, но возвратился:

— Надо же, Геннадий Антоныч, я тебя не признал. Теперь разбогатеешь, деваться некуда. — От него исходил аромат сивухи и крепкого табака. — Закурить не найдется? — Я протянул ему пачку «Дуката», он взял две сигареты, одну сунул в рот, другую за ухо. — Вот спасибо, так спасибо. Я вам за это анекдот расскажу. Подходят Пушкин с Лермонтовым к реке, а на другом берегу монашки приладились купаться. Пушкин говорит, давай я к ним переплыву, а ты тут сиди, жди сигнала. Лермонтов видит: Пушкин на том берегу выставил доску, а сам в кусты. Достал Лермонтов монокль, еле разобрал на доске: «Обе-да-ют». Ждет дальше, скучает, даже заснул. Проснулся, когда его Пушкин растолкал: «Ты что же не приплыл? Монашки оказались хоть куда». «Да ты не велел, дескать, кушать сели». «Эх, чудила! Я написал: «обе дают». Не дожидаясь нашей реакции, он заржал:

— Отгадайте загадку: у какой птички черные яички? Не знаете? Надо зоологию учить. У Поля Робсона, вот у кого. Извини, не могу больше с вами травить. Свидание. Новую чертежницу знаешь? Ну, Ксения, блондинка с большими буферами? По всему видать, целка. Завтра доложу.

Мужик ушел восвояси. Геннадий Антоныч вздохнул: «Инженер, русский интеллигент!» — И вернулся к своему:

— Плеханов приобрел революционную известность благодаря смелой речи у Казанского собора, где собрались человек двести студентов и рабочих-текстильщиков. Это была первая политическая манифестация в русской истории. На Воронежском съезде Плеханов один высказался против установок на террор и вышел из «Земли и Воли», которая вскоре раскололась. Он основал «Черный передел», но партия оказалась мертворожденной. В 1893 году Плеханов и четверо его друзей объявили в Женеве группу «Освобождение труда» для марксистского просвещения рабочих. Тремя годами раньше Маркс отозвался пренебрежительно про русских деятелей, включая Плеханова: они де предпочли эмиграцию революционной борьбе. Обозвал их доктринами.

Мы совершили полный круг по парку, из лесистой малопосещаемой части вернулись туда, где былолюдно и весело. Компании сидели на траве, выпивали и закусывали. Публика помоложе сгрудилась у волейбольной площадки. Одинокий работяга в замасленной спецовке, прислонившись к ограде парка, тянул один и тот же куплет:

А без денег жизнь плохая,
Удастся не всегда.

Геннадий Антонович продолжал

— Вы должны извинить сбивчивость моего рассказа. Мне самому порой трудно отличить, что Никитич рассказал, а что я сам собрал по крохам. Я ведь даже английский с грехом пополам выучил, чтобы читать книги по интересующему меня предмету. В Ленинке оказалось много литературы на чужеземных языках, отбор не такой строгий, как по-русски... Поначалу плехановская компания была очень маленькая, варилась в собственном соку. Однажды, катаясь с друзьями в лодке по Женевскому озеру, он пошутил: «Нам надо вести себя осторожно. Если мы утонем, русский социализм исчезнет с лица земли». В восьмидесятые и девяностые годы Плеханов страстно проповедовал материализм, *монизм*, он был главный русский апостол марксизма. Мало-помалу появились читатели. Его труды стали обязательным чтением интеллигенции, вошли в революционную хрестоматию. Множество русских людей, молодых и старых, прочитав Плеханова, обратились в так называемый научный социализм. Но как политический деятель, он ничего не достиг. Как был барин, так и остался. Несговорчивый, высокомерный, заносчивый. Терпеть не мог плебеев, глупцов, невежд. После «кровавого воскресения» в революционной эмиграции возникла мода на Гапона; все, включая Ленина, наперебой хотели встретиться с революционным попом. Плеханов наотрез отказался. Во времена «Искры» он близко сошелся с Лениным, который многое у него перенял. В особенности зубодробитель-

ные приемы полемики. Это Плеханов научил молодого Ильича, что с оппонентами надо не спор вести, а расправу: сначала поставьте на нем клеймо каторжника, а уж потом расследуйте его дело. Много лет спустя при введении террора Ленин сослался на Плеханова. Тот в одной из последних статей сделал попытку откреститься от своего питомца. Виктор Адлер любил повторять, наполовину в шутку, наполовину всерьез: «Ленин твой сын», на что он обычно отвечал: «Если и сын, то очевидно незаконный». После Октября Плеханов пережил тяжелое унижение, к нему пришли с обыском ревматросы, которые имени его никогда не слышали. Ленин после этого происшествия распорядился, чтобы гражданина Плеханова не беспокоили. Вот как обернулись ихние отношения. А поначалу Плеханов был рад найти в Ленине ученика и сотрудника, который бы принял на себя интриги и грязную организационную работу. Ленин понимал калибр Плеханова, но считал, что время его прошло. В 1904 он сказал в частной беседе: это человек, перед лицом которого мы все пигмеи... но все равно мне кажется, что он уже мертвый, а я живой... Объективности у Плеханова было мало. В 1881 году Маркс написал Вере Засулич, что русская община может процветать и при капитализме. Плеханову это положение не понравилось: в таком же духе высказывались народники. Письмо он поэтому не разрешил напечатать. Под конец жизни Плеханов стал сторонником цивилизации, европейцем. По возвращении в Петроград заявил: азиатская Россия потерпела поражение, страна триумфально входит в семью свободных народов. Надо вести войну до победы, которая принесет демократической России Константинополь и проливы. Таких же взглядов придерживались кадеты. Если бы Плеханову раньше нагадали эволюцию в сторону Милюкова, он бы не поверил, возмутился. Понять эту перемену можно. Он провел за пределами России тридцать шесть лет. Вся жизнь ушла на служение юношеской мечте, а результатов — никаких. Было от чего впасть в отчаяние. Аптекман, старый друг, в шестнадцатом году увидел Плеханова после долгой разлуки: «Боже, что за

лицо... мученик, истерзанный сомнениями, потерявший дорогу... орел со сломанными крыльями...»

У меня от этого рассказа голова шла кругом. Плеханов, которого я всегда воспринимал как эдакого революционного Фамусова, преобразался в байронического скитальца. Не понимаю, сказал я, какую эволюцию вы имеете в виду? Плеханов потому и разошелся с Желябовым, что был принципиальный противник террора и насилия. Геннадий вскипел: Это, сударь, пальцем в небо. Плеханов, как и его друзья, не был толстовцем, отнюдь, он террор не отвергал, он просто не верил, что покушения ведут к заветной цели, к свержению самодержавия. Чернопередельцы в своем журнале рукоплескали убийству Александра Второго. Имеется еще одна интересная деталь. После покушения 1 марта пошли еврейские погромы. В среде революционеров считалось неудобным против этого выступать: как бы не помешать инициативе масс. Плеханов, женатый на еврейке, начал было писать статью по этому поводу, но бросил: показалось скучным повторять прописные истины. Как и другие революционеры, он стоял за национальное равноправие, но остерегался говорить об этом с массами.

Я вставил остроумное, как мне казалось, замечание (после 56-го года мы все разоблачали и низвергали): «Значит, Плеханов, подобно большевикам, был против индивидуального террора только потому, что верил в массовый? Как говорит, ближе к цели» (это я у Герцена подцепил, так выражались помещики, предпочитавшие водку вину).

За беседою наступила ночь. Ели в парке насупились, на дорожках никого не было видно, только из глубины с невидимых скамеек доносились голоса, а чаще девичьи визги. Пора было расходиться, а мы все стояли. Издали, от пруда, грянула гармошка, мужской голос пошел залиристо выводить:

С деревьев листья облетели,
Наверно, осень подошла.
Ребят всех в армию забрали,
Настала очередь моя.

Эта песня самая излюбленная у нас в Подмоскowie. Ее поют на проводах в солдаты и по всякому другому поводу, обычно на ходу. Идут из одной деревни в другую, в кино или на танцы, тащиться надо километра три, нередко и все пять, и голоса на всю округу. Допоют до конца, переведут дыхание и заводят снова. Манера пения была особая, граничащая с криком. (Потом в Америке я узнал, что существует подобная школа исполнения блюза — крикуны, «*shouters*»).

Только кончилась эта песня, как вступил женский голос, пронзительно, с вызовом:

Вечерело, солнце село,
И взошла луна.
Прогуляться девка вышла,
Все равно война.

И без перехода:

Мы Америку догнали
По надою молока,
А по мясу мы отстали
Хер сломался у быка.

— Азиатчина, — вздохнул Геннадий. Было темно, но я почувствовал, что он поморщился. Хотя частушка мне показалась меткой, защищать ее я не решился. Вместо этого задал вопрос, который у меня давно вертелся раньше: «А Иван Никитич где? Он куда-то пропал из вашего рассказа». «Он присутствует, сказал Геннадий, ничего он не пропал. У него друг был по имени Павел Дудкин, тоже партиец, они дружили с юности. В тридцатых отношения стали прохладные, потому как Павел у Никитича увел жену. Не буквально увел, но она с Никитичем разошлась, а потом вышла замуж за Павла. Дело житейское, после революции на брак смотрели просто, развестись можно было заочно. Но не в том суть. Этот Дудкин написал книгу про Плеханова, все чин по чину, с большевистских позиций. Беда только, что после убийства Кирова в партии царил истерия. Каждый боялся обвинений в мягкотелости, в утрате бдительности. В

сторону подозрительности или кровожадности переборщить было невозможно. На рукопись Дудкина набросились все, кому не лень, запахло дымом. Дудкин попросил Никитича: приди, ради Христа, на обсуждение, замолви доброе слово. Никитич явился и сразу пожалел. Выступавшие, без исключения, все несли Дудкина по клочкам. У него обнаружили во множестве смертные грехи: впал в антипартийные настроения, занялся апологией меньшевизма, недостаточно разоблачил соглашательскую философию Плеханова, не учел указания т. Сталина об усилении классовой борьбы при социализме. Никитич сидел пришибленный. Не выступить в защиту товарища было стыдно, рот открыть страшно. Дело решил оратор, который обрушился на последнюю главу книги. Дудкин писал, что, хотя Плеханов фактически скатился в лагерь контрреволюции, у определенной части питерских рабочих сохранились к нему симпатии. Поэтому многие пришли на его похороны в мае 1918 года. Это, сказал критик, вопиющая фальсификация истории, рабочий класс в 18-ом году уверенно шел за Лениным. Никитич взорвался: Это про какую такую фальсификацию вы толкуете? Я сам был на Волковом кладбище в этот день. Плеханов, конечно, занимал неправильную позицию, но процессия людей, которые пришли почтить его память, растянулась на семь верст. Там было множество рабочих, хотя большевистская партия настойчиво их призывала не ходить. Это исторический факт, который надо понимать!» (Вот бы Плеханову с того света порадоваться, заметил в скобках Геннадий, но для материалиста это большой грех.) На собрании наступило замешательство. Нужно было дать этой вылазке партийную оценку. Это сделала Галина Дудкина, которая доложила про своих двух мужьев следующие факты: а) за бутылкой водки вечно рассказывали антисоветские анекдоты, б) Дудкин в двадцатых годах принадлежал к троцкистам, в) Никитич его не разоблачил.

Дудкина исключили из партии за меньшевистский уклон, Никитича — за притупление партийной бдитель-

ности. Дальнейшие их судьбы разошлись. Дудкина арестовали. След его затерялся. Никитич долго обивал пороги в кабинетах, но своего добился. По ходатайству кого-то из чинов Конармии его в партии восстановили. Преподавание марксизма было ему заказано, да он и сам боялся высовываться, до конца жизни отсиживался на должностях вроде ночного директора. Галину тоже арестовали как жену разоблаченного врага народа, дали пять лет, потом вечную высылку. Она вернулась после двадцатого съезда, теперь пишет исторические книжки для детей... Роковой он оказался, Плеханов, в жизни Никитича».

Геннадий помолчал, потом добавил: «Плеханов умер в мире с самим собой. Как рассказывала его жена, он был спокоен, а ее пристыдил за рыдания: «Мы с тобой, Роза, старые революционеры, нам надо быть твердыми. Да и что такое смерть? Всего лишь превращение материи. Посмотри, за окном береза нежно прислонилась к сосне (он умирал на даче в Финляндии). Я тоже могу однажды превратиться в такую березку».

На могильном камне Плеханова выгравированы, как он завещал, слова Шелли: «Он стал заодно с природой», по-английски «He is made one with nature».

Мы разошлись по домам. Иногда, за давностью, я начинаю думать, что эта история мне приснилась.



Ольга ИСАЕВА

АМЕРИКАНКА-ВЕРОЧКА

Они встретились много лет назад в тесном дворике театрального института, среди абитуриентской толчеи, гомона, смеха, гитарного бряцания, бурных амбиций и хрупких, как елочные игрушки, надежд. Встреча запомнилась Верочке во всех подробностях и спустя годы напоминала заграничную открытку, случайно попавшую в ее семейный альбом, набитый мутными, любительскими снимками.

С первого взгляда, если, конечно, нашелся бы в этом хаосе человек, от нечего делать глазающий по сторонам, про Верочку можно было с уверенностью сказать, что в школе она была хорошисткой, скромнягой, может быть, даже старостой, что на уроках литературы с удовольствием читала «с выражением», что... Однако, взгляд этот тут же перескочил бы на объект куда более достойный, предоставив бедняге без помех млеть от волнения, прижимая к эфемерной груди потные ладошки.

Лето в тот год стояло знойное. Радио упорно обещало проливные дожди, но вместо них вторую неделю

изможденный город душила плотная подушка бутафорских туч, ни капельки не проливших на серую листву и плавленный асфальт. Неудивительно, что оживленные московские улицы стремительно пустели, а горожане, в панике побросав дела, штурмом брали пригородные электрички, чтобы, отдавив друг другу ноги и вконец озверев, засесть, наконец, где-нибудь на бережку: с книгой, картишками или поллитрой — это уж дело вкуса.

Верочкины родители в то лето безвыездно жили на даче, предоставив дочери полную свободу по устройству собственной судьбы. Они всю жизнь так деятельно обустроивали свой быт, что рядом с ними она поневоле чувствовала себя обузой, поэтому на дачу, с ее огородом и раздраженными родительскими окриками, не стремилась, но страстно хотела на речку, в пляжный блеск, плеск и прохладу коричневых илистых струй. А меж тем ей вот уж который час приходилось томиться в ожидании своей очереди, глотая ватную духоту, пропитанную бензином, потом и дурными предчувствиями.

В Театральный Верочка решила поступать, вопреки тому, что в гипотетическом взгляде всякого, с кем она рискнула бы поделиться своими экстравагантными планами, неминуемо предчувствовала не до конца скрытое, чуть брезгливое недоумение. Она так хорошо представляла себе эти поползшие вверх брови, что планы свои предпочитала хранить в тайне, на расспросы учителей и одноклассников говорить «не знаю», смотреть в пол и пожимать худенькими плечами. Любопытных, однако, было немного. Никто не заподозрил бы, что Верочка Коровина, по кличке Му-Му — существо скромное, робкое и послушное, мечтает об артистической карьере. Днем, пока родители были на работе, она репетировала перед зеркалом монологи типа «Почему люди не летают?», по ночам мучилась, выбирая звучное сценическое имя, тоннами заучивала стихи и прозу, отдавая предпочтение Пушкину и Гоголю.

В конце концов торжественный день настал, но бессонная ночь и нервное напряжение сделали свое дело, так что перед самым прослушиванием Верочка была

близка к обмороку. Слова любимого стихотворения, которое ей вот-вот предстояло читать перед приемной комиссией, из памяти улетучились, паника сдавила горло и окружающее слилось в пестрое, все быстрее вращающееся пятно... В довершение ко всем перечисленным ужасам Верочка вот уже несколько часов безнадежно икала. Она предпринимала энергичные попытки прекратить это мучение и, затаив дыхание, считала до тридцати, сорока, пятидесяти... Глаза ее закатывались, сердце готово было выпрыгнуть из груди, но как только она расслаблялась, откуда-то, из глубины ее хрупкого тела поднимался мощный спазм, и все начиналось сначала. Верочка чувствовала себя забытым на карусели ребенком, и на помощь ей позвать было некого.

Вот тут-то из тошнотворной круговерти внезапно вынырнула абсолютно незнакомая, высоченная, роскошного вида девица и сказала:

— Привет, чудовище!

Верочке пришлось сосредоточиться. Обычно девицы такого рода с ней не заговаривали. Они вообще не замечали ее существования, так, по крайней мере, до сегодняшнего дня ей казалось. Однако, надо признать, что видела она их прежде лишь мельком, когда легко и независимо они проходили мимо, во встречных женщинах возбуждая мутную злобу, а в мужчинах темное, пещерное чувство, заставлявшее их машинально облизываться и долго-долго смотреть вслед, позабыв о солидных пузах, тяжелых портфелях и данных женой поручениях.

Верочка было оглянулась, подумав, что девица обращается к кому-то стоящему сзади, но там находилась лишь обшарпанная стена старинного флигелька, уютившего грохочущую пишмашинками институтскую канцелярию. Пришлось невольно смириться с тем, что слово «чудовище» адресовано именно ей.

— На... подкрепись, — девица бесцеремонно взяла Верочкину ладонь и сунула в нее бутылку с плескавшимися на дне пенистыми остатками.

— Не-ы, спасибо, не на... — залепетала было Верочка, но незнакомка строго прикрикнула:

— Пей, говорят. Ишь моду взяли, со старшими спорить.

С сомнамбулической покорностью та взяла липкую бутылку, глотнула теплой, пахнущей шампунем газировки и внезапно услышала:

— Тавы пейте, тетенька, угощайтесь. А то шо-то я бачу — вид у вас дюже бледный, не ровен час сблюете.

От неожиданности Верочка поперхнулась, закашлялась, получила увесистый шлепок по спине и вдруг почувствовала, что ей полегчало, точно вместе с кашлем из горла наконец выпрыгнула толстая, душившая ее жаба.

Шепнув «спасибо», Верочка хотела что-то спросить, но благодетельница, в третий раз сменила тон:

— Ты главное одно пойми, салага! — зеленые глаза ее налились опытом и подернулись пьяной меланхолией, — удачу на «понял-понял» не возьмешь. Тут с умом надо... Вот возьми меня, к примеру...

Верочка напряглась и, преодолев робость, перебила:

— Простите, а как вас зовут?

— Леной люди кличут, — хрипло, не выходя из роли, отрекомендовалась та и, поскучнев, добавила, — пойду я, скоро на вахту заступать.

Она забрала из Верочкиных рук пустую бутылку, бросила на прощание «бывай» и походкой пьющего, много повидавшего на своем веку мужчины ушла в толпу.

Остолбенев, Верочка смотрела вслед. В голове вихрем пронеслось: «Сумасшедшая! Класс! Эта точно поступит. Боже мой, что я здесь делаю?»

Казалось, навсегда исчезнувшие строки вернулись и поплыли в ее прояснившемся сознании:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Скорее всего Лена так и осталась бы для Верочки «мимолетным видением», если бы не еще одна их случайная встреча на трамвайной остановке через несколько месяцев.

Прошли какие-то жалкие полгода, но с момента первой встречи все в Верочкиной жизни бесповоротно изменилось. Не поступив ни в театральный, ни в какой другой институт, она взяла да и вышла замуж, и эти два, казалось бы, такие далекие друг от друга события оказались в ее судьбе теснейшим образом связаны. Началось все с того, что провалившись в театральный, она с горя подала документы на исторический, сдала экзамены, но не прошла по конкурсу и ужасно расстроилась. Она раз сто перечитала список первокурсников, тщетно пытаясь увидеть свою фамилию между гордячкой Караваевой и насмешником Корсунским, но ее там не было. Сначала у нее набрякли глаза, потом остро закололо в носу, потом горячим потоком хлынули слезы, и Верочка вышла из полутьмы вестибюля на беспардонно заграбастанную солнцем улицу. Некоторое время она слепо шагала в неизвестном направлении, но потом, словно одумавшись, не утерев глаз, повернулась и шагнула на мостовую.

Дико взвизгнули тормоза, бледный таксист обозвал Верочку «соплей бестолковой», а потом без долгих разговоров запихнул в машину и бесплатно отвез домой. Пока он мрачно крутил баранку и искоса поглядывал на ее зареванное лицо, красный носик, легкие завитки на голубоватой шее, в его мужской душе происходил загадочный переворот, приведший к тому, что на следующий день его такси с самого утра поджидало ее около подъезда. Верочка, меж тем, ни о чем не подозревала. Она ревмя редела в душной, пустой квартире и всерьез считала, что жизнь кончена. О стекло с самоубийственным упорством билась сумасшедшая муха, усугубляя и без того гигантские размеры Верочкиного отчаяния.

Через два дня, предварительно наведя справки у дежуривших рядом с подъездом старух из клуба «что, где, когда?», таксист позвонил в Верочкину дверь. Она открыла, изумилась, испугалась, а еще через месяц, краснея и заикаясь, объявила загорелым родителям, что выходит замуж. Те сначала не поверили, потом надсадно кричали дуэтом... однако, без толку. Верочка

тихонько расписалась со своим мрачноватым Виктором и перебралась в его комнату на Малой Мещанской.

Впрочем все это было давно, и воспоминания об их единственной поездке за город, поцелуях в ржавеющем березовом леске, рядом с бензоколонкой, о полоснувшем сердце страхе, когда, впервые наткнувшись на его по-хозяйски твердый взгляд, она покорно легла на хрустнувшие скелетики опаленных засухой листьев — все это осталось где-то далеко и сейчас казалось неправдой.

Теперь Верочка часто оставалась в холодной Викторовой комнате одна, не зажигая света, часами смотрела на морозные узоры, мерцавшие в свете уличного фонаря, и обмирала от каждого вздрoga входной двери. В эти долгие часы мысль ее, как заезженная пластинка, бесконечно крутилась вокруг загадки, всегда застревавшей на слове «почему?» Почему судьба свела ее с таким трудным человеком? Почему он женился на ней? Почему нет в их отношениях ничего, о чем она прежде так восторженно мечтала? Почему, чем чаще мелькает в его случайной пойманной ею взглядах какая-то странная, болезненная нежность, тем грубее и отчужденнее он становится, тем позже возвращается домой, а вернувшись под утро, наваливается на нее сонную своей бензинноперегарной тяжестью и жадно, как зверь, терзает? И почему, наконец, она каждый вечер так обреченно ждет его? Почему?

Виктору было уже за тридцать, и Верочка, почти без усилия, слушалась его, как слушалась когда-то родителей, учителей, то есть вообще всех, кто совсем еще недавно входил в чуждую ей категорию взрослых. Одинокими вечерами она много и со странным наслаждением плакала, но о возвращении к родителям не помышляла.

Есть женщины, которые, даже отправляясь в роддом, ухитряются выглядеть привлекательно, с Верочкой же все было иначе. Уже на второй неделе глаза ее опустели, нос распух, губы потрескались, а с каждым днем увеличивающийся живот отгородил ее от всей прошлой жизни. Ее никто не узнавал. Даже собственные родите-

ли смотрели на нее теперь с тупым изумлением. Тем не менее, Лена Верочку узнала, хоть в старой свекровиной шубе та сильно смахивала на облезлый комод. В тот день Лена возникла из колючей февральской метели, разорвав плотный, хорошо уже обжитый Верочкой кон-кон одиночества.

— Звиняйте мамаша, шо-то вы мене весь проход загородили.

Верочка неуклюже развернулась на звуки смутно знакомого голоса и уперлась в смеющиеся Ленины глаза.

— Привет, чудовище!

Она не обиделась... Да и вообще, несмотря на свою обостренную чувствительность, Верочка ни разу не обиделась на Лену за долгие годы их странной дружбы, начавшейся в тот миг, когда, недослушав виновато-сбивчивую повесть, та вдруг спросила:

— А ты куда собралась-то?

Верочка кивнула на живот.

— В консультацию.

— А скоро? — не договорив, Лена сделала «страшные глаза».

— Через два месяца.

— Э, миленькая, за два-то месяца еще наездисся. Пойдем-ка лучше ко мне — чайку выпьем, с бабулей познакомлю.

Верочка хотела было скрыть смущение, радость, робость, проснувшиеся в ней от этого предложения, но они брызнули из глаз потоками света, озарившего ее подурневшее, но может быть именно поэтому такое трогательное лицо. Так, впервые она попала в крохотную квартирку на Цветном бульваре, на долгие годы ставшую для нее олицетворением семейного рая. Здесь было тесно от морщинистой, в деревянных кудряшках мебели, коричневых фотографий, заслонивших слоистые обои, жеманно изогнутых ламп, облысевших ковровых подушек и изъеденных молью портьер с помпонами. С подзеркальника сквозь толстую линзу бабушкиных очков на все это покачивал увеличенной головкой смешной китайский болванчик, как бы удивляясь, что ухитрился дожить до наших дней. Здесь пахло нафталином,

лекарствами, пылью, смирением и привычным, как будни, безденежьем.

На звук открываемой двери из темноты прихожей легоныко выпорхнула Ленина бабушка, до странности похожая на полупрозрачного мотылька, давным-давно засушенного в старинном томе.

— А вот и мы, — громкий Ленин голос, казалось, вспугнул застенчивых духов прошлого, резвившихся здесь в ее отсутствие.

— Знакомься, бабуля, это мое чудовище!

Верочка торопливо представилась:

— Вера.

Ленина бабушка грациозно подала сухонькую лапку и странным, почти детским голосом представилась:

— Вагвага Гигогьевна.

Лена, от которой не скрылась Верочкина паника, подмигнула:

— Можешь называть бабулю Варварой Григорьевной, она не обидится.

Бабушка умелькнула ставить чайник. Лена кинулась к зазвонившему телефону, и на мгновение Верочка осталась в прихожей, снизу доверху заставленной старыми книгами, одна.

— Неужто все это кто-то прочел?

Лена вернулась и ответила на невысказанный вопрос:

— Не комплексуй. Я и половины не читала. Это бабуля — она у нас архивариус — тут Лена таинственным образом раздулась и стала похожа на что-то большое, важное, даже усатое, совершенно не вязавшееся с тихим обликом Варвары Григорьевны.

— Ну, снимай свою шкуру.

Шуба с Лениной помощью перекечевала на рогатую вешалку, и без нее Верочка оказалась вовсе не такой уж громоздкой. Лена коротко глянула на ее худенькое, детское тельце с узким, вперед смотрящим животом, и в глазах ее полыхнуло сочувствие, которое она, впрочем, предпочла скрыть, бравурно скомандовав:

— А ну, марш на кухню, а то ишь — чистый доходяга! Остаток дня все трое провели на такой же тесной, как

вся квартирка, кухоньке. Они пили чай с резиновыми, столовскими булочками, много смеялись и впервые за последние месяцы Верочке удалось позабыть про живот, страх и свои вечные «почему?»

Белый выюжный день за окном сгустился, посинел. Зажгли абажур, в третий раз заварили чаек. Верочке давно надо было домой, но она все сидела на жесткой табуретке, затертая в угол массивным, как динозавр, холодильником и боялась прервать смешные Ленины рассказы, вернее показы, про институт, сокурсников, как бы вчуже отживая свое несостоявшееся студенчество. В конце концов Лене опять позвонили, Варвара Григорьевна поднялась, чтобы вымыть разномастные чашки и под музыку льющейся воды и счастливого смеха из гостиной стала рассказывать своим детским голосом про войну, эвакуацию, дочь, погибшую на съемках от пиротехнической ошибки, ее мужа, проживающего с другой семьей в Ленинграде, и про счастье, пережитое на старости лет, когда в ее жизни появилась Лена.

— Вы, конечно, Вегочка, очень боитесь, я знаю, — голос ее дрогнул, дойдя до волнующей ноты, — но повежьте, нет для женщины высшего счастья, чем любовь к гебенку. Нет и быть не может!

Верочку ужасно насмешил этот «гебенек» и она изво всех сил крепилась, чтобы не улыбнуться, но, Бог ты мой, как же часто потом она вспоминала эти патетические слова, и они приносили в ее жизнь, казалось лишенную какой бы то ни было логики, серьезный, глубокий смысл. Сына Кольку она много лет потом еще называла «гебенком», пока ей не объяснили, что это слово наводит на чуждые ассоциации.

Объяснила ей это Лена, изредка позванивавшая, чтобы всякий раз повергнуть Верочку в счастливое недоумение. Факт, тем не менее, остается фактом — Лене, вращающейся в самом центре театральной вселенной, изредка взбрела в голову мысль посвятить ее в удивительные хитросплетения своей жизни.

Сама Верочка ей никогда не звонила, она растила Кольку, тихо воевала с мужем, старалась ладить с соседями, стучала на машинке в конторе строительного

управления и уверяла себя в том, что все, что Бог ни делает, — к лучшему. Оторвав ее звонком от корыта с бельем, Лена сообщала новости, нередко вспыхивавшие упоминанием звезд разной величины, и звала в гости... Почему?.. Что интересного могла она рассмотреть в слабой, покорной женщине, которую даже собственный муж называл «соплей бестолковой»?

Порой Верочка была уверена, что Лена ее попросту жалеет, как прохожий жалеет увязавшегося за ним щенка. Иногда же ей думалось, что та тянется к ней как к абсолютной своей противоположности. Однако чаще всего приходило в голову, что она нужна Лене как зритель, в чьих глазах глянцевая картинка ее жизни не измялась, не потускнела, и как слушатель, который не прервет ее словесных эскапад нудным монологом из своего реалистического репертуара.

В те считанные разы, когда Верочка могла позволить себе выпряться из домашнего воя и сбегать погреться в лучах Лениного успеха, ее больше всего поражала негибкая уверенность той в собственной правоте и как следствие этого — редчайшее душевное спокойствие. В дни рождений в квартирку на Цветном набивались толпы талантов и поклонников, среди которых Верочка чувствовала себя невидимкой. Никто не обращал на нее внимания, никто не стремился обсудить с ней спектакли и фильмы, которые она не смотрела, книги, которые не читала... Она помогала Варваре Григорьевне накрывать на стол, убирать и мыть посуду, ничуть не чувствуя себя при этом уязвленной. Наоборот, она была страшно благодарна Лене за возможность хоть раз в год насладиться блеском и невесомостью ее, такой не похожей на Верочкину жизни.

Однако поплескавшись на поверхности среди этой радужной пены, она неизменно опускалась в мутную глубину своего быта, где через несколько месяцев опять раздавался звонок и из трубки доносился грудной, хорошо поставленный голос:

— Привет, чудовище!

Нельзя сказать, что все в Лениной жизни проходило согласно принятому представлению о счастье. Напри-

мер, ее актерская карьера не удалась. Казалось бы, не было в природе человека более артистичного, чем Лена, но увидев ее однажды на сцене, Верочка с удивлением обнаружила, что та не слушает партнеров, выпадает из ансамбля и невольно разрушает спектакль. Некоторое время Лена перебивалась эпизодическими ролями, но довольно скоро сделала себе имя в качестве подающего надежды театрального критика. Ее семейная жизнь тоже была весьма необычной. Пока Верочка с муками и слезами пыталась спасти свой захлебнувшийся в быте, перегруженный постыдными деталями единственный брак, Лена ухитрилась побывать замужем раз пять, не меньше. Что самое удивительное — все пять замужеств были счастливыми. Мужья Лену обожали, дарили ей заграничные шмотки, возили в дома творчества и на зарубежные курорты, но однажды, проснувшись, она решила заменить одного преданного мужа другим, так же как иные женщины меняют цвет помады или прическу. Что еще больше поражало Верочку — Ленины мужья не исчезали, а становились не менее преданными друзьями, продолжая вращаться в ее орбите, но уже на чуть более далеком расстоянии.

Верочка слушала Лену, как подросток слушает сказки — все услышанное не имело к ее жизни никакого отношения. Завидовала ли она? Конечно, Верочка завидовала изяществу, с которым та скользила по жизненной поверхности, спокойной уверенности в себе, неподражаемой властности, легко подчинявшей людей, чувству юмора, ни разу не позволившему сосредоточиться на неудачах..., но завидовала тепло, непритязательно, опьяняясь легкостью, переполнявшей Ленино существо и, перелившись через край, достававшейся всем, кому посчастливилось быть рядом.

Их пунктирные отношения длились более десяти лет, пока не прервались по весьма уважительной причине... Случилось это, когда, в конец отчаявшись, Верочка решила навсегда уйти от мужа. Все ее предыдущие попытки заканчивались крахом — либо он силой возвращал ее, чтобы на следующий же день возобновить свои выкрутасы, либо она сама приходила обратно,

будучи не в силах противиться своей сильной, как инстинкт, преданности. На сей раз Верочка ушла так далеко, что о возвращении не могло быть и речи. Взяв сына, она уехала в Америку, чем несказанно удивила немногочисленных знакомых. Лена горячо одобрила ее план, посоветовала ехать «в гости к дальним родственникам», даже приглашение и место, где остановиться на первое время, раздобыла через каких-то своих знакомых. Виктор подписал все бумаги, хотя будь он трезв, ни за что не согласился бы отпустить с Верочкой сына.

Конечно, можно было бы в самых мрачных тонах описать, как первые годы она мыкалась одна с ребенком в чужой стране без документов, без денег, без языка, днем убирая чужие квартиры, вечером продаваясь сквозь дебри английского. Можно было бы рассказать об унижениях, растерянности, о ночных слезах и страхах, но беда в том, что описывать здесь эти реальные, хорошо знакомые всем эмигрантам страсти не имеет смысла, так как, несмотря ни на что, Верочка впервые в жизни была совершенно счастлива. Она вкалывала так, что вечером не могла разогнуться от боли в спине, руки ее саднили от химикатов, и одевалась она в чужие обноски, однако с самой первой своей минуты в Америке она жила в восторженном, никогда прежде не испытанном упоении от свалившейся на нее свободы — не огромной, помпезной, как одноименная статуя, а личной, маленькой, точно в глухой одиночке ее души вдруг отворилась дверца в шумный сияющий мир надежды. Отмывая до блеска чужие унитазы, она напевала «Оду радости», шагая с одной работы на другую по железобетонным каньонам Манхеттена, она, сама того не сознавая, улыбалась и никогда, ни разу, не усомнилась в том, что сделала правильный выбор. Не сомневался в этом и Колька, который в свои десять лет был способным, ответственным парнем, хорошо учился, подрабатывал, выгуливая разномастную ораву чужих собак, тащил на себе домашнее хозяйство и очень расстраивался, что не сможет стать президентом.

Смешно сказать, но годы спустя, получив вид на

жительство, закончив, как большинство соотечественников, курсы программистов и в конце концов хорошо устроившись, Верочка не раз с ностальгической грустью вспоминала свои первые «безлошадные» годы, словно это и была ее единственная юность. О муже она забыла так, словно жизнь с ним была душным, бессмысленным кошмаром, родителям изредка посылала фотографии и деньги, не обременяя себя писанием, а их — чтением писем.

Единственным человеком, которого Верочке действительно не хватало, была Лена. На первое письмо та ответила, но потом переписка прервалась. Одной писать было некогда, другой — тем более. Это не значит, что Верочка о Лене не вспоминала. Ей до боли хотелось порой, вместо голосов торговых агентов или коллег, услышать однажды в телефонной трубке родной голос, который сказал бы:

— Привет, чудовище!

Верочка наивно мечтала, что расскажет Лене о своих достижениях, о том, что вот уже несколько лет занимает в фирме заметное положение, что Колька учится в престижном колледже, что отдыхать она ездит на Багамские острова, что ее «друг» — (человек немолодой, состоятельный, достойный) давно зовет ее замуж, но она отказывается, так как предпочитает свободу и независимость. В общем Верочка мечтала о встрече с Леной, но мечтала как о чем-то прекрасном, несбыточном, не имеющем к реальности никакого отношения. Каково же было ее волнение, когда в один прекрасный воскресный день, подняв трубку звонившего телефона, в ответ на свое «хеллоу» она услышала знакомый голос, с сомнением спросивший:

— Скажите пожалуйста, могу я поговорить с Верой? Мгновенно потеряв голос, та пискнула:

— Это я.

— Вер, это Лена, помнишь?

— Боже мой, — Верочка так разволновалась, что мимо стула села прямо на пол.

Оказалось, что Лена несколько месяцев прожила в Америке, совсем рядом с Нью-Йорком, да все никак не

могла собраться позвонить, и только сейчас, за неделю до отъезда, отыскала, наконец, в записнущке Верочкин телефон и предлагала встретиться, ненадолго, всего на полчаса.

Та была счастлива, но обескуражена. Как же так, полгода прожить в Америке и позвонить только перед отъездом? Она засуетилась, не смогла сразу, объяснить, где живет, и Лена назначила ей свидание на ступеньках Метрополитен-музея.

Никогда и никуда Верочка не собиралась так тщательно, как на это свидание. Через полчаса на полу валялся весь ее гардероб, а она в нерешительности все еще стояла перед зеркалом в своем лучшем костюме, раздраженно примеряя шарфики, брошки, сережки... Ей вдруг страшно захотелось поразить Лену своим успехом, вкусом, своим новым обликом, в котором и следа не осталось от той «сопли бестолковой», которую та знала в Москве, но все казалось не то и не так. Наконец, выскочив из дома на пятнадцать минут позже, она еще уйму времени потратила, ловя такси и изнемогая в пробке, так что на встрече, конечно же, опоздала, едва не грохнувшись, пока бежала вверх по ступенькам, и, только потом, уже отдышавшись и оглядевшись, обнаружила, что Лены все еще нет.

Прошло десять минут, двадцать, полчаса. Верочка близоруко всматривалась в толпу. Голова ее раскалывалась от напряжения, шума и внезапных фотовспышек, плескавшегося внизу цветастого туристского моря. Наконец она увидела Ленину высокую неспешно шагающую фигуру и с криком ринулась вниз.

— Лееен, Леенаааа!

Они обнялись, отстранились, оглядели друг друга, опять обнялись.

Лена по-прежнему была на голову выше Верочки.

— Привет, чудовище, — сказала она, — недурственно, кстати, выглядишь. Хорошее питание явно пошло тебе на пользу.

За десять лет Верочка отвыкла от этой ироничной манеры и от вполне естественного при такой разнице в росте взгляда свысока.

Она растерялась и, чтобы хоть что-то сказать, проклиная прорвавшийся откуда-то акцент, спросила, не хочет ли Лена посмотреть выставку.

От посещения музея та категорически отказалась.

— Он у меня в печенках, я там уже раз сто была. С кем ни встретишься, все в Метрополитен волокут, а там толпа и кухней несет, впрочем, Лувр не лучше.

Верочка искусство уважала, в музеи ходила, хоть и нечасто, но зато с чувством. Во Франции она не бывала, так что о Лувре судить не могла, но услышав про Метрополитен такой странный отзыв, расстроилась.

Была середина апреля, теплынь. Центральный парк был весь в цвету, и, пройдя мимо длинных рядов торговцев матрешками, мексиканскими ковриками, бижутерией и грошовыми пейзажами, они углубились в его бледную, полупрозрачную зелень. Дотошно перебирая потом мельчайшие подробности той последней встречи, Верочка вспоминала розовые аллеи, фиштактовую дымку, мягкий, пятнистый свет на асфальтовых дорожках, но, увы, так и не смогла вспомнить момента, когда ее детский восторг сменился тяжелым разочарованием.

Казалось, Лена ничуть не изменилась и вовсе непохожа была на женщину средних лет. Не было в ее облике ни серенькой паутинки морщинок, заштриховывающих юный овал лица, ни седины, ни солидности. Наоборот, было что-то пугающе юное в улыбке, издавна напоминавшей Верочке «бермудский треугольник», в котором терялись и гибли бесчисленные Ленины поклонники. Единственное, что, пожалуй, было другим, это чуть более прохладный взгляд и еле заметная отчужденность, ранее не свойственная Лене даже в общении с совершенно чужими людьми.

В первые минуты Верочка чувствовала себя как бы ответственной за беседу и собиралась с мыслями, чтобы приступить к длинному повествованию о своей жизни в Америке, но из вежливости все же спросила:

— Лен, ты какими судьбами в Нью-Йорке-то?

— Человеческими, — та невесело усмехнулась, — я ж

теперь миссис Мак Дугл. Полгода здесь протухала, думала загнусь с тоски.

Оказалось, что Лена на сей раз вышла замуж за американца.

Верочка хотела было ободрить ее, сказать, что тоска у эмигрантов проходит года через три-четыре, что нужно набраться мужества, что ей тоже было очень нелегко... Хотела, но так ничего и не сказала.

Никогда Лена не узнала о героической Верочкиной судьбе. Разговор, как всегда, закрутился вокруг нее самой.

— Представляешь, приводят ко мне однажды на день рожденья очередного американца (у меня квартира теперь на Тверской, от Даньки в наследство, места много, волокут кого ни попадя). Представили: я ему — «здравствуйте, очень приятно» и мимо, а он за мной: смотрит, молчит и пыхтит, как сенбернар. Весь вечер впивался взглядом, как штепсель в розетку. Назавтра снова пришел: ручку чмокнул, ни гугу и глаз не сводит. Я уж думала, может с ним что не так, может врачей позвать? Две недели ходил. Перед отъездом является весь малиновый, пьяный, с букетом роз: «Будьте, — говорит, — мадама, моею женой». «Бедняга, ты бедняга, — думаю, — куды ж тебя несет». А сама, чтоб не огорчать, говорю: «Дайте мне, мил человек, подумать». Он: «Ноу проблем». Ну и пошло-поехало. Раз в полгода приедет, помолчит, всю компашку французским шампанским напойт и обратно уезжает. А я «дууумаю». Представляешь, пять лет думала, все надеялась — отстанет! А он оказался уж такой преданный, такой...

Вера шла, как в тумане, больно бухало в висках. Лена не изменилась даже на сотую долю микрона времени, осевшего в ней самой всей своей десятилетней тяжестью. Слушая знакомые переходы от нормальной речи к «художественной», Верочка вдруг почувствовала себя не в Центральном парке, а на Цветном бульваре, и неудобно ей там показалось.

Чтобы скрыть неловкость, она спросила:

— Ну, а как тебе нравится наша «новая родина»?

— Родина, Верунь, у человека одна. Где родился, там

и родина. А Америка, — Лена сделала неопределенный жест, — нечего мне здесь делать. Пусто. Даже театров нормальных нет.

Верочке стало еще более не по себе из-за своей непринятой Леной иронии. Она готова была язык прикусить, но все же с неожиданным для себя запалом спросила:

— А как же Бродвей? Это же самые известные в мире шоу! — Верочкин голос треснул.

— Да ты не обижайся, чудовище, я ж не про оперетту. Я про драматические, репертуарные театры. Знаешь, сколько их сейчас в Москве?

Секунду она молчала, собираясь с мыслями:

— Понимаешь, там сейчас такая жизнь идет, вам в Америке и не снилось.

У Верочки запершило в горле. Все, что Лена рассказывала, абсолютно не вязалось с тем, что сама она, своими собственными глазами, почти ежедневно видела на экране телевизора. В посвященных России передачах ей показывали угрюмую толпу, стариков, по полгода живущих без пенсии, бездомных детей, сумасшедшие цены в меню ресторанов для новых русских, опухших от пьянства правителей...

Лена, меж тем, продолжала:

— Понимаешь, вся эта ерунда — шмотки, жратва — есть теперь и у нас, но вот культуры, общения настоящего, здесь у вас в Америке нет и не будет — все заменили вежливость и политическая корректность.

— Но ведь ты же только полгода здесь прожила, ты ведь даже по-английски не говоришь толком, — почти повысила голос Верочка.

— Разобралась, не дурочка! Да и не с кем мне здесь разговаривать, — отрезала Лена, — здесь же никого ничто не интересует, кроме долларов.

— А там, в Москве, все твои друзья, разве их доллары не интересуют? Разве твоя квартира на Тверской, это не тоже самое?

Верочка так разъярилась, что вспотела в своем дорогом, слишком теплом для такой погоды костюме. Секунду Лена молчала, а потом миролюбиво сказала:

— Может, ты и права, не знаю. Знаю только, что здесь мне душно, как в клетке. В метро зайдешь, лица у всех пустые, стертые, как у дебилов. Америка столько лет с распростертыми объятьями принимала со всего мира неудачников, что они и составили ее нацию — недоразвитых подростков, любящих жестокие сказки с хорошим концом.

— Знаешь, Лен, — простонала Верочка, — я ведь одна из них и люблю эту страну с такой благодарностью, какой ты, возможно, никогда не знала, потому что у тебя всегда все было. Я начала свою жизнь здесь с нуля, и, поверь, очень ценю все, чего добилась.

— Не комплексуй, чудовище, я ж не хотела тебя обидеть. Не надо было мне сюда приезжать. Просто я опять попыталась сыграть не свою роль, и она за полгода мне ужасно наскучила. Не сердись, давай я лучше расскажу тебе смешную историю из моей американской жизни.

Верочка подавила вздох и приготовилась слушать.

— Дик мой, человек хороший, добрый, но слишком уж серьезный, как утюг. Пять лет меня утюжил, думал: «Вот женюсь и враз стану счастливым». Но так ведь не бывает. Ты права, нет во мне благодарности, и не понимаю я, почему, собственно, она вообще должна у меня быть. Ну да речь сейчас не об этом.

Привез он меня из аэропорта в свой роскошный дом на Лонг Айленде. Там, натурально, красота — цветочки-кустики, сенокосилки жужжат, «барбикью». Даже собаки, и те не лают, из вежливости. Через неделю потащил он меня жениться, банкет устроил. Я весь вечер, как сова, головой вертела и «сенькью» говорила, а сама по-английски ни бум-бум. Наконец, гости поели, выпили и разъехались. Я спать умираю хочу (по московскому-то времени уже скоро семь утра), но делать нечего — креплюсь и Диду праздник не рушу. Он к тому времени уже крепко поднабрался, да и я тоже хороша была. Подходит он ко мне и говорит, что, мол, мечтал об этом моменте усе пять лет. Я не спорю. Раздел он меня, усадил на диванчик. Щас, — говорит, — я тебе, душа моя, спектакль покажу, какой ты не забудешь всю оставшую-

ся жись. Завел он своего Элвиса дурацкого, поставил передо мной на стеклянный столик два фужера с шампанским и давай наяривать. Танцует и раздевается — стриппер чертов, а я, глядя на него, от смеха дохожу. Скинул пиджак, брюки, рубашечку, остался в одних ботинках с носками. «Ну, — думаю, — скоро баиньки», а это как раз-то было только самое начало. Разбегается мой любезный, чтобы скакнуть в мои объятия, но не рассчитал! Грохнулся рядом, да так, что все вдребезги, включая столик, фужеры и его самого. Причем он, бедняга, ухитрился так приземлиться, что осколок стекла ему прямо в причинное место воткнулся. Кровь фонтаном, а я от смеха пальцем пошевелить не могу. Ей богу, никогда так не смеялась. Мне потом психолог объяснил, что у нервных гражданочек от вида крови это случается. Хохочу я, а он уж и сознание потерял. Надо скорую вызывать, а я понятия не имею, как это делается. Вместо этого по дому мечусь и йод с бинтами ищу. Ну думаю: «Влипла. Щас они мне убийство пришьют».

Короче, ничего я не нашла и на улицу побежала — на помощь звать. Да только, представляешь, совсем как-то из виду упустила, что голая. Как была, в чем мать родила, так на улицу и выскочила. Бегаю, «караул» кричу (по-русски естественно). Слава богу, соседи не подвели — полицию вызвали. «Приезжайте, — говорят, — а то у нас под окнами кой-то голый бегаёт и не нашему кричит».

Полицаи приехали, меня в одеяло, в наручники, все вежливо. А я, не поверишь, смеюсь и по-английски только «сенькью» знаю.

От сочувствия Верочка покраснелась.

— А что же потом?

— Потом скорая приехала, Дика в реанимацию — меня в каталажку. Там по компьютеру его родственников нашли, так что постепенно все выяснилось.

— Ну и как он?

— Дик? Нормально — яйца пришили. Здесь с этим просто. Денег, конечно, слупили уйму, ну да он не бедный. Вот так-то. В одном он был прав — того спектакля я вовек не забуду.

— Лен, что ж ты его теперь после всего, бросишь? Да?

— А что ж мне теперь ради него собой жертвовать? Да ты не переживай, Верунь. У него в Москве бизнес. Он ко мне туда приезжать будет. Кстати, ты сама-то как, не собираешься? Бабуля тебя часто вспоминает: «Золотое сердце, — говорит, — у нашей Вегочки».

Лена посмотрела на часы и забеспокоилась.

— Ох, заболталась я, Дик меня уж полчаса в ресторане ждет — у нас сегодня обед прощальный. Надо срочно бежать, а то обида. Хочешь, пойдём со мной, я вас познакомлю. Он человек хоть и нелепый, но милый, как дитя.

— Нет, Лен, у меня куча дел, — соврала Верочка.

— Ну раз так, прощай, чудовище. Страшно рада была тебя повидать.

Верочка прижалась щекой к ее груди и, сглотнув слезы, шепнула:

— Сама ты, чудовище.

Лена исчезла в толпе. Замутившимся взором Верочка проводила ее легкую, беспечную фигуру и, не разбирая дороги, пошла в обратную сторону. Навстречу ей несется летучие стайки велосипедистов, потные толпы на роликах, запаленные табуны бегунов, но она шла напролом, и те вежливо сторонились, уступая дорогу, слепой от слез женщине. Ей было больно от слишком резкого столкновения со своим прошлым, и казалось, что Лена, не со зла, а просто так, по беспечности, швырнула ей его прямо в лицо. Верочка шла и думала, что никакие жизненные успехи, никакие костюмы и колледжи не помогут ей почувствовать себя в Лениных глазах тем, чем вот уже десять лет она сама себя ощущала — человеком, достойным уважения, а не жалости, понимания, а не курьезной привязанности. Верочке жалко было своей многолетней мечты. Она напоминала себе бывшего курильщика, годами тосковавшего о сигарете, а затянувшись, почувствовавшего тошноту и горечь. Ей жаль было себя, несчастного Дика, и, как это ни смешно, Америку, так радушно встречающую никому, кроме нее, ненужных неудачников.

От жары и переживаний она так ослабела, что у нее

едва хватило сил, чтобы свернуть с шоссе, купить в киоске мороженого и добрести до ближайшей скамейки. Стоило ей сесть, как в ту же секунду к ней подбежала и любезно обнюхала ее миловидная собака, чей улыбочивый хозяин, проходя мимо, сообщил, что день сегодня на редкость прекрасный. Верочка кивнула, вздохнула, высморкалась, куснула мороженого, и постепенно умиротворение весеннего дня окутало ее.

Она с благодарностью вдыхала запах нагретой земли и юной игольчатой травы, улыбнулась и сделала козу проехавшему в коляске щекастому, важному, как крошечный Будда, младенцу и через несколько минут встреча с подругой перестала казаться ей такой уж грустной. Теперь Верочка уже и сама не понимала, почему, собственно, так расстроилась. Ведь, в конце концов, это она, а вовсе не Лена, прожив новую жизнь в Америке, так изменилась, что с трудом уже могла представить себя слабой, зависимой, пресмыкающейся перед чужим авторитетом или мнением. Лена осталась прежней, так чего же требовать от нее? Не обязана она была, едва приехав, сразу бросаться Верочку разыскивать, не обязана была и Америку любить. Что это она говорила про благодарность? Они всегда были такими разными людьми, стоило ли теперь требовать от Лены того, чего у нее и прежде никогда не было. Благодарность — это ведь тоже своего рода талант, а уж им-то судьба Верочку не обделила, и именно поэтому, несмотря на сегодняшнюю мелодраму с разрушенной мечтой и сердечной болью в финале, она по-прежнему благодарна Лене, за то, что двадцать лет назад, точно так же как и сегодня, та улыбнулась ей своей неземной улыбкой:

— Привет, чудовище!

НОЙ РУДОЙ

«ИСПОВЕДЬ МИШЕНИ»

(врача, солдата, еврея)

Книга издана в Нью-Йорке в 1997 г.

Содержит 222 с,

цена с пересылкой — 10 долл.

«КОРОЛИ, КОРОЛИ...»

Книга издана в Москве

Содержит сказки в стихах
о королях, принцах и шутах.

271 с, цена с пересылкой — 8 долл.

Ной Рудой — автор 5 книг и многих публикаций в московских журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Юность», в периодических изданиях США, включая переведенные на иностранные языки.

**Заказы и чеки или мани—ордер
следует направлять по адресу:**

**Smart Associates, Inc
26 Kershner PI
Fair Lawn NJ 07410
USA**



Виктория ФОМИНА

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ: «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЫ».

1

Темной ночью какая-нибудь Марья Антоновна выглядывает на улицу из темного окошечка, глядит на черные окна соседних домов, потом на мокрый асфальт, корявый, шершавый, неровный, весь в трещинах и разводах, с булыжниками у желоба. На небо она не глядит, — трудно запрокидывать голову; небо слишком высоко, отекает шея, начинает покалывать на затылке, становится трудно дышать. Смотрит старушка прямо перед собой из своего первогоэтажного окошка на стену напротив и слышит крик.

2

Холодно ночью без шапки. Особенно если стоишь на углу переулка, и светофор мигает желтым. Слышишь визг тормозов на соседней улице. Идешь туда, но только медленно, неторопливо. Строишь издали с

печальным интересом на человека, лежащего на асфальте. Он лежит, как птица, раскинув руки, и, как балерина, разбросив ноги, в полете и прыжке одновременно.

Выходят двое из машины, медленно, неторопливо, как ты пошел на звук, они собирают тело человека в струнку, упорно и сознательно проталкивают его в свою «девятку». Потом, естественно, уезжают.

А ты забываешь увидеть номер, чтобы позвонить на всякий случай. Поэтому не звонишь.

3

Если войти во двор, под черную арку, и прислониться к стене, то, привыкая к отсутствию освещения, среди белеющих ящиков на куче мусора увидишь тело.

Человек спит и тихо дышит, так тихо, что становится слышно только тогда, когда наклонишься и ткнешься, или почти ткнешься, собственным ухом ему в нос. Он пьян, и тем более странно, почему не храпит.

Не боясь, или почти не боясь, разбудить, перешагиваешь через спящего, потому что иначе нельзя пройти, открываешь первую дверь, нащупываешь таблеточки кода, вертаешь вправо и, напрягаясь под пружиной, старательно прикрываешь обе двери, чтобы не хлопнуть.

На втором этаже — твой дом. И это хорошо.

4

Остаток ночи до рассвета та самая Марья Антоновна с первого смотрит на тебя через потолок снизу, и ей известен каждый твой шаг. До рассвета.

5

Утром сознательная дворничиха долго стоит, опершись на метлу, уставясь вниз. На краю дороги у самого тротуара лежат, раскинувшись, детские варежки, темно-коричневые и грязные. Она точно помнит, что вчера вечером их здесь не было...

6

Вася Ветренный держал ее за плечи, она плакала, оставляя мокрые пятна соленых слез на пиджаке и галстук, и щекотала ему шею случайным прикосновением волос.

Но, глядя на слезы Наденьки, он ничего не чувствовал. Мертвый Серега не был, собственно, Серегой. Наверное поэтому Ветренный не чувствовал ничего...

С Серегой они дружили в школе. Не той школе — ранней, а той — высшей, которую вместе и закончили.

С Наденькой Ветренный встречался долго. Так долго, что почти не удивился, когда узнал, что Серега женится на его Наденьке.

Накануне свадьбы Василий очень спокойно выслушал извинения невесты, а через полгода сделал предложение бывшей подруге Сергея. И тоже женился.

Ветренный подвез Наденьку к подъезду ее дома. Наденька нащупала ручку, открыла дверцу.

— Мне подняться с тобой?

— Спасибо... Я позвоню... на похороны, — «на похороны» она пропела, повышая тон к концу слова, а когда слово закончилось, продолжала попискивать.

«Она совершенно другая», — подумал Ветренный.

Серегу убили. Это так просто — убить человека в перестрелке, да еще «мусора», чуть-чуть передержать курок, чуть-чуть продлить постукивающую трель, на несколько секунд.

Ветренный тоже отведал «бандитской пули», когда был новичком. Не успел подумать, что мужик может выстрелить, как он выстрелил. Оказалось, когда пуля попадает в тебя — боли не чувствуешь. Просто становится очень жарко. Особенно горит и жжет там, куда попала пуля. Он потерял сознание, очнулся на кровати в больнице, когда все было позади. Как в детстве, после приступа аппендицита. Так что, ничего особенного. Наверное, примерно так все происходит, когда попадают наверняка. Просто без больничного воскрешения.

Но почему, откуда такое ледяное спокойствие?

Ветренный вошел в комнату, не включая свет, Ольга с Мишкой, как обычно, спали. Бесшумно разделся и лег на диван, на привычно ждущую его постель.

Этой ночью он очень устал. Никто не застрахован от ошибок: не предвидел, не угадал, не хватило людей, — и смылись все. И напоследок пристрелили Серегу.

Потом он звонил Наденьке, встречал ее, сопровождал, держал за плечи, подавал, подводил, подвозил, сейчас постепенно проваливался в сон, уходя, помнил, что завтра дежурит с утра.

7

— Мой миленок меня ждет каждый вечер у ворот, но в такие холода мне без валенок беда... Чтобы к милому идти, нужно валенки найти. О-о! О, о, о!

— Перестань.

— О, о! О, о, о!

— Перестань, я сказал!

— Нужно валенки найти!

Наверное, это был сон. Скорее всего этого вообще не было. Его, то есть. Но он всплыл: герой Катькиного романа. Сначала она обозналась. В студенческой столовой протекал потолок. Катька не стала раздеваться, только сняла варежки. Уронила скользкий поднос, а когда поднимала, увидела его. Ракурс: снизу вверх, под углом 45 градусов, слегка в отдалении. Она как раз успела заглянуть ему в глаза, когда он подносил ко рту вилку с куском чего-то. «Слепой Амур в меня пустил стрелумфий... и закипела молодая кровь!..»

— Созвонимся, — сказал он, выходя из столовой.

Катька действительно обозналась, ей-богу. Поднятая поднос, ей показалось, что видит она... старого знакомого. Вот с кем она поздоровалась.

— Мы учимся с тобой на одном курсе, — сказал он, словно покрутил пальцем у виска. И сказал правду.

Катька поверила, но очень удивилась. Неужели для того, чтобы это случилось, нужно было уронить поднос?

— Созвонимся, — сказал он, выходя из столовой.

8

У Ветренного выдалось хлопотливое утро. Не успел он заступить на дежурство, как к нему вошла пожилая женщина в рабочих перчатках, с метлой и сказала, что ею в кустах обнаружен труп и она не знает, что делать.

Говорила она шепотом, а глазами передавала весь ужас, который она только что испытала. Отделение находилось, по ее словам, в двух шагах от места, где лежала мертвая женщина. Дворничиха не кричала, никому про это не говорила, и она уверена, что труп и поныне там.

Труп был в целости и сохранности, лежал в кустах, где его и оставили. Но возле кустов, как всегда, стояли женщины пенсионного возраста и переговаривались.

Ветренный на минуту задержал уносящих покойную. «Может кто-нибудь из вас знает эту женщину?»

Марья Антоновна сонными от бессонницы глазами узнала Валю Тимофевну с третьего, перекрестилась бы, если б могла, и сказала: «Я».

Ветренный пошел за Марьей Антоновной, как послушный племянник, которого она не видела уже несколько лет и кроме которого у нее никого не было. «Как зовут тебя?» — по дороге спросила Марья Антоновна. «Вася, тетенька», — сказал он.

«Вот здесь», — Марья Антоновна толкнула дверь, она и открылась, бесшумно.

В квартире Вася не заметил ничего особенного. Разве что один ящичек в шкафу не был плотно задвинут, в нем лежала старая коробка из-под конфет со старинными письмами и открытками и еще одна коробка поменьше с десяткой на дне. Квартира выглядела чистой и пустой.

— Вы не знаете, закрывала ли дверь на замок покойная? — спросил Ветренный.

— Конечно, закрывала. Если замок вон-то есть, значит, закрывала, — помогла вести расследование Марья Антоновна. — И кто же теперь не закрывает? — укорила следователя за недогадливость. Ветренный неожиданно зевнул, не удержался:

— Она могла забыть закрыть дверь...

— Конечно, могла, Васенька. Наши годы, какие они годы, иной раз выйдешь на улицу и не знаешь, куда идти, зачем вышла. Возвращаюсь обратно, стану посреди комнаты, вспомню, потом на бумажку записываю и тогда иду.

Ветренный логически вычислил местонахождение паспорта, тут же, на полочке, лежали, очевидно, все документы, какими владела хозяйка. Нашел Ветренный и сберкнижку: двумя днями раньше были сняты со счета пять тысяч пятьдесят рублей; на счету оставались девять рублей девятнадцать копеек.

— Вы не знаете, случайно, близких покойной? Есть ли у нее родственники? — Ветренный рассматривал документы.

— Заходили к ней, бывали гости. По-моему, брату у нее есть, родной, помладше, представительный такой дядька, высокий; парень еще заходил, так, подружки бывали...

— А вы?

— Что - я?

— Вы к ней заходили?

— Что вы! — испугалась Марья Антоновна. — Я вообще ничего не знаю! — и шагнула к двери.

— А муж где? — Ветренный открыл страничку паспорта «семейное положение».

— Так он умер давно. И детей у них не было.

— А второй раз она не выходила замуж?

— Кто ж старуху возьмет? Старик какой чужой, да зачем он ей сдался? Возиться с ним... Нету близких у нее никого. Брат только, по-моему.

Ветренный вызвал экспертов. Поболтал еще немного с Марьей Антоновной. Потом выставил ее за дверь, обнаружив за дверью еще четырех женщин.

После того, как сняли отпечатки пальцев, Ветренный захватил кое-какие документы покойной, телефон брата, написанный на бумажке, которую он отыскал в тумбочке под телефоном, и опечатал квартиру.

Возвратившись в отделение, умылся, потом сварил себе кофе.

Дело казалось простым. Если исключить возможную внезапную смерть и предположить убийство, то, наверняка, это дело рук второго мужа покойной. Дело в том, что в паспорте Валентины Тимофеевны имелась запись о недавнем замужестве. И, судя по году рождения, муженек годился ей в младшие сыновья. Брат с этой женщины, кроме ее квартиры, было нечего; и, возможно, что кто-то был в курсе о пяти тысячах, жалких, несчастных и единственных. Может быть тот самый муженек. Или брат. Или брат плюс муженек. «Допиваю кофе и звоню брату», — Ветренный наслаждался свежестью весеннего ветра, залетающего в открытое окно.

«Скоро весна, — думал Ветренный, — и скоро тридцать. И все равно хочется спать».

9

После того, как он ей вякнул «созвонимся», они никак не могли созвониться. Это было о-о-очень трудно сделать. Почти невозможно. Трудно было дозвониться до Катьки: этот поступок требовал мужества, стойкости и отваги. Поэтому Катька решила действовать сама.

«О, женщины! — тянет автора на патетику, — о, как хорошо вы мне знакомы! Под вашим напором, если вы чего-нибудь действительно захотите, рушатся все стены! Вернее, стены не рушатся в том случае, если опытный архитектор спланировал заранее приветливые широкие двери, в которые всегда можно войти без проблем: гостья входит, ошарашенная тем, что сопротивления не оказано, — и двери тотчас захлопываются. Отступление бесполезно, вы, мадам, на крючке».

Как бы там не было, а это случилось.

«Плохо, что ты не пьешь», — сказал он ей.

Позже была и такая фраза: «По-моему, слухи о развращенности нашего поколения сильно преувеличены».

Потом он просил ее не падать с балкона, когда ей захотелось подышать свежим воздухом. Называл ее лапулей, матерью и всякими нежными словами. Существование Христа отрицал, в любовь верил, женщин ненавидел.

— «Мой миленок меня ждет каждый вечер у ворот! Но в такие холода мне без валенок беда! О-о, о-о-о!..»

— Прекрати, я сказал...

Символом их свиданий для Катьки почему-то стала эта песня. То ли услышала она ее по дороге? Но в самые ответственные минуты она, бывало, как запоет! Мало того, что получалось отвратительно, она, Катька, к тому же лишала себя многих радостей, так как, обыкновенно, он обижался, уходил в себя и отворачивался, лицом к стенке.

10

Вы знаете, что такое велосипед? Да, конечно, знаете. А если спросить так: вы знаете, что такое «велосипед»? Кавычки — главное в этом случае.

Делается он так. Ваш друг спит рядом на нарах. Вы, стараясь не шуметь, убираете одеяло с одной из ног (левой или правой) вашего друга, закладываете между пальцами опять же ноги вашего друга кусочек бумаги (можно взять газету) и поджигаете. Во-первых, горит красиво. Во-вторых, ваш спящий друг еще с закрытыми глазами неожиданно взбрыкивает ногами и начинает быстро-быстро махать ими в воздухе, — это смешно. Поэтому и называется этот фокус «велосипед».

Волдыри не опасны и быстро проходят, если сразу после этого обработать ожоги.

11

Катька не могла ему сказать, что у него красивые глаза, потому что получилось бы пошло. Поэтому она пела такую песню.

Поэтому она называла его Вольдемаром. А какая разница? Так тоже можно.

Потом они выходили погулять, на воздух. Перекусы-вали где-нибудь по дороге и думали, как бы им разбогатеть. В институте дружно не появлялись, потому что перестройка еще не закончилась.

12

«Я очень хочу побывать в Египте. Это мечта моей жизни. Причем после того, как я увижу современный Египет, хотела бы оказаться там в 1150 году, или чуть позже.

А тебе, Вольдемар, не мешало бы прокатиться по дорогам Кореи — от севера к югу и обратно.

Бывшие наши воплощения помогут нам, подскажут, как жить дальше. Главное — вспомнить... «Ты помнишь, что было в пятьдесят седьмом году?» — однажды спросила меня мама. «Одно помню, — ответила я, — что мы еще не были знакомы».

Хороший человек — это все-таки тот, кто хочет быть лучше, не так ли, Вольдемар?

Пишу я эти строки и вижу поистине кентовский пейзаж за окном: такие же горы и те же бесподобно ненастоящие цвета. Вижу. Вернее, я лгу, потому что сегодня идет дождь. Дело в том, что «кентовский» пейзаж виден из окна моего дома. А дождь идет за чужим окном...

Хочешь немножко пошлости?

«Этюд».

В домике на берегу моря живут художник и писательница...»

Дальше я не помню. Помню только, что у них был трехлетний сын, и они были счастливы. Мама показывала сыну море и берег, и рассказывала, что Земля — это не только море и берег, а что-то большее. Заканчивался «Этюд» так: «Но наступит (или настанет) время, и земля тебе покажется тесным (или маленьким) шариком. Ты будешь стоять на ней (на нем), сильный мужчина, простирая руки к Великому космическому океану... «Нельза

объять необъятное (черт возьми), но ты попробуешь, мой мальчик?..»

Смешно?

Целую.
Катяка».

13

Ветренный посмотрел в глаза Модесту Тимофеевичу. Модест Тимофеевич выдержал взгляд. Он был чист, как стеклышко, и очень огорчен. Вернее, расстроен. А правильное всего — убит горем, убит известием о смерти своей сестры. Ветренный свято помнил советы учителя: «В каждом человеке, Васенька, ты должен подозревать преступника. По долгу службы». Так вот. Модеста Тимофеевича и подозревать не стоило, настолько он был похож. Встречаются такие честные люди, бывает, которые выглядят, как преступники: глазки бегают, руки большие — лопатой; челюсть — выдающаяся, а уши маленькие и острые. Ветренный вспомнил, что хотел заняться физиогномикой.

Модест Тимофеевич опустил на стол Ветренного листок бумаги с заявлением, в котором, как самый близкий родственник покойной, просил довести дело до конца, найти преступника и покарать по заслугам.

Дело в том, что экспертизой было установлено: смерть наступила вследствие удара по затылочной части головы Вали Тимофеевны тупым тяжелым предметом.

14

«В Испании тоже, наверное, хорошо. Вот прочтите, по мотивам:

«Танцовщица

Пилястры, канистры и канисты, константы и кастаньеты...

Девочка.

Хрустящие пачки, кружева, шелестящие веером.

Божественно! Томно. Маняще. Треск кости в запис-

тьи. Выворот ножки. Круг летящей ткани... Не покидай меня. Не остужай меня горячим своим дыханием. Девочка, танцовщица, розочка...»

15

Ветренный отпустил Модеста, взяв подписку о невыезде.

Модест работал сторожем, но выглядел, как владелец цветущего малого предприятия. «Надо бы выяснить его левые доходы», — подумал Ветренный. О втором замужестве сестры Модест молчал.

Ветренному нужны были еще два человека: сын Модеста и второзаконный муж. После разговора с ними Ветренный собирался закончить дело.

Больше всего Василия, конечно, интересовали крылатые молодчики, пристрелившие Серегу. Они друженько замели все свои поганые следы и легли на грунт. Требовалось терпение. Ветренный это знал.

16

Ветренный поймал очень молодого на вид парнишку во дворе у машины. Парень нетерпеливо потряс ключами и сказал: ну, что еще? Ветренный представился:

— Мне нужно задать вам пару вопросов. Не задержу.

— Давай, — согласился тот.

— Ты что-нибудь знаешь о пяти тысячах?

Парень и глазом не моргнул:

— Знаю. Они у меня. Я их выпросил. Вернее, занял.

— Когда?

— Накануне... Она ведь тетка моя... была. Зачем они ей?

— Откуда у нее эти деньги, тоже знаешь?

— Тоже. Я этому гаду давно собирался морду набить.

Да не буду пока, подожду.

— Это кому же?

— Муженьку ее. Квартиру, сволочь, увел.

— Отец знает?

— А как же! Это с его подачи все сработано. Но, это наши дела. Тетку не трогал. Будешь копать — зря время потеряешь. Понял?

Ветренный понял. Парень говорил правду. Неважно, что позже, наведя справки, Василий узнал, что парень — сутенер. К делу это никакого отношения не имело.

17

Неутомимый Ветренный вышел на Вольдемара.

На требование Василия открыть несчастную дверь, Вольдемар трижды послал его, даже после объявления Ветренным своей должности и миссии. На четвертый стук Вольдемар смилостивился. Ветренный засветил в щелку свою ксиву, и только тогда Вольдемар впустил его в свои владения.

— Что надо? — сказал он, чувствуя полную защищенность законом.

— Поговорить о Вале Тимофевне.

— А, — сказал Вольдемар.

— Вы знаете, что ее убили?

— Нет, — сказал Вольдемар.

— Кого убили? — крикнула Катька из комнаты, и через секунду вылетела на свет, вся замотанная в тряпки, как нимфа.

Василий узнал Катьку.

Прошло года три, наверное. Но он вспомнил.

Дело было так:

18

Катьке нужно было всего лишь написать и расклеить объявления, чтобы позвонил тот, кому надлежало позвонить.

Примерно так:

— Алле! Я звоню по объявлению. Это вам нужна комната или квартиры? — звонил некто.

— А что у вас? — отвечала Катька.

— У меня комната.

— Да, мне. Сколько просите?

— Недорого буду брать, рублей пятьдесят.

— Что-то дешево... Больше вы ничего не будете требовать?

— Это чего же? (Хе-хе).

— Сожительства?

— Боже упаси! Я сдавал до этого двум... девочкам, нормально жили, я их не трогал. Вы студентка?

— Н-да. Когда можно придти посмотреть?

— Да хоть завтра!

— Хорошо. Диктуйте адрес, я записываю...

Потом Вася Ветренный держал ее за плечи, а она плакала, оставляя мокрые пятна соленых слез на пиджаке и галстук, и щекотала ему шею случайным прикосновением волос.

Катька абсолютно не пострадала, слезы, лившиеся из глаз водопадом, были лишь следствием потрясения. Пострадал, наоборот, некто, звонивший накануне по объявлению.

Катька ворвалась в кабинет, сказала, что долбанула (Катькино словечко) человека чем-то тяжелым по голове, что полилась кровь, что он упал с открытыми глазами и не шевелился минут пять, пока она стояла и смотрела, потом она испугалась, прибежала сюда, и что она ни в чем не виновата.

Василий, помнится, сказал ей что-то ласковое, она в ответ бросилась к нему на шею, поплакать.

Потом этот некто с перевязанной головой моргал глазенками и божился, что у него есть справка.

19

— Здравствуй, Катя, — сказал Ветренный. — Ты повзрослела.

— Естественно, — сказала Катя.

Вольдемар обиделся:

— Это ты его, что ли, привела? Кто он тебе?

Катька хихикнула и сказала, что Василий — материализовавшаяся статуя командора, и Вольдемар, непременно, должен пожать ему руку.

— Кого убили на этот раз? — начала вести допрос женщина.

— Его жену... Подразумеваю, фиктивную, — доложил Ветренный.

— Жаль бабушку, — сказал Вольдемар. — Но нет худа без добра.

— Козел! — возмутилась Катерина. — Я не удивлюсь, если узнаю, что ты убил!

— Не я, — сказал Вольдемар и посмотрел на следователя.

— Почему не говорил, что женат? — Катька готовила орудия для пытки.

Вольдемар сгреб в кучу брэнное катькино тело, внес в комнату, бросил на кровать, вышел в коридор и закрыл дверь ножкой от стула.

Постояли. Посмотрели друг на друга, молча.

«Он ничего, нормальный мужик», — подумал Ветренный, думая о Кате. «Может, враки всё. Разыгрывают, — думал Вольдемар. — Что у нее с ним?»

— Ну, вот что, — сказал Ветренный.

— Что? — насторожился Вольдемар. Это он рассказывал Катьке про «велосипед».

— Действительно не знал ничего?

— Да я ей месяца три, как не звонил... А как жить? — вдруг вылетел из Вольдемара пространный философский вопрос.

— Модеста знаешь?

— Знаю, — сказал Вольдемар, — Брат ее, маклер. Три суры с меня содрал. А что делать? — опять не удержался.

— Сколько заплатил?

— Двадцать пять.

— Неплохо. Откуда деньги такие?

— Боженька подарил. Все, что было, отдал — можешь проверить.

— Значит, ничего не знаешь, ничего не видел?

— Не знаю, не видел. А квартира моя теперь, если не накапаешь. Хватит, намучился. Старушке — Царство Небесное, хорошая была женщина. Сегодня же перееду, и ни один черт меня оттуда...

— Опечатана квартира, — сказал Ветренный.
 — Плевать я хотел. Я вдовец ее законный.
 — Василий, он правду говорит! — крикнула Катька из-за двери. — Я его знаю. Да откройте, черт вас возьми, ведь и так все слышно!
 Вольдемар освободил Катерину.
 — Как это было, Василий? Ты расскажи, как?
 Ветренный рассказал.
 — О, Господи! — возмутилась Катька. — Да любой прохожий алкоголик мог ее по башке долбануть! Бутылкой, например!
 — Зачем? — не понял Ветренный.
 — Да просто так, Васенька, просто так. Ну, если не алкоголик, то шизофреник какой-нибудь. Вы бутылки рядом не находили?
 — «Не находили?» — передразнил Ветренный.
 — А с Володей мы уж недели три как вместе. Я свидетель.
 — Свидетель, — усмехнулся Ветренный. — Ну, ладно... Тебе не нужно объяснять, что если смоешься...
 — Конечно, — протянул Вольдемар. — Только предупреждаю, что адрес у меня изменится. Мы вот с ней (кивнул на Катьку) в квартиру моей бывшей жены перебираемся, и сегодня же.
 — Перебирайтесь... — очень тихо сказал Ветренный.

20

На следующее утро в кабинет к Ветренному вошел Модест, скорбный, траурный. Долго говорил о чем-то, о своем детстве, кажется. Рассказал, как похоронили Валечку, что все было очень торжественно. И что Валечку уже не воротить, повторил раз десять. Потом, робко заглянув в глаза следователю, попросил обратно свое заявление. Ветренный вернул.
 Модест, кланяясь и нежно улыбаясь, растворился.

21

Любопытства ради Ветренный еще раз побывал на месте преступления, благо недалеко, внимательно ос-

мотрел кусты, обнаружив массу битого стекла под окнами ближайшего дома. Кусты росли во дворе студенческого общежития.

На вопрос Ветренного дворничиха, обнаружившая труп, ответила, что сбор бутылок — её побочный заработок, что именно поэтому она не берет себе другой участок, хотя от студентов и грязи побольше, но зато бутылки, летящие в кусты, не разбиваются, и таким образом она имеет солидную надбавку к жалованию. В то утро, собирая бутылки, она и обнаружила Валю Тимофеевну.

Комендант общежития заявил, что попойки у студентов бывают практически каждый день, что за всем не уследишь, пьют тихо, драки бывают редко (все-таки институт), а в ту злополучную ночь почти все гуляли на свадьбе в комнате № 933 до утра. «Если хотите поговорить с молодоженами, зайдите в комнаты № 129 и № 1015. Они временно живут врозь, поссорились», — улыбнулся комендант.

Ветренный не стал этого делать.

Вернувшись в отделение, он сварил себе кофе и подумал, что версия Катьки не так уж плоха, что, если понадобится, происшествие можно описать как несчастный случай. Маловероятно, но могло быть именно так: Валя Тимофеевна, ни свет ни заря, захватив авоську, выходит на дело — отнимать надбавку к жалованию у дворника, наклоняется за чужими деньгами, и, как возмездие свыше, на ее седую голову обрушивается удар...

Размышления Ветренного прервал звонок Шаталова:

— Василий, засветился один. И квартирку засветил. Я тут сидю и смотрю.

— Ах, ты, молоток такой!

— Слышь, нам бы не проколоться второй раз, а? Аккуратненько бы, потихонечку. Ты ребяток еще подключи.

— Давай, маленький. Я на телефоне.

Ветренный встал, походил по кабинету. «Так-так-так, ну, сволочи, держитесь теперь. Подождем маленечко, так вас и так. Ах ты, Шаталов, молоток!..»

Ветренный позвонил Сереге.

— Алло, — ответил грустный голос Нади.

«Ну-да, Надя, конечно, Надя...» — подумал Ветренный.

— Ну, как ты? — спросил у Нади.

— Ничего.

— Что-нибудь нужно?

— Нет, — ответила Надя.

— Подожди немного, — сказал Ветренный, — подожди. Давай, Наденька... — и положил трубку.

Телефон сразу же зазвонил.

— Да! Ветренный слушает!

22

Говорила Оля, его жена:

— Ты все еще на работе?

— Да... тут... вот...

— Мы ведь ждем тебя... уже час.

О том, что сегодня у Ольги день рождения, Ветренный вспомнил только сейчас.

— Мы сегодня не будем есть, мы не сядем за стол без тебя. Ни за что. Всего лишь один вечер, единственный вечер... за весь год. Ведь мы ни разу, мы почти не видимся. Тебя убьют, а я не сразу замечу, так редко мы видимся.

— Об этом не беспокойся, тебе тут же сообщат.

Оля плакала в трубку. Его тихая Оля совершенно не умела кричать, не умела требовать, даже просьбы получались неуклюжими. Сегодня она пыталась проявить настойчивость.

— Папа! — заорал в трубку Мишка. — Алле!

— Алле-алле, — Ветренный улыбнулся. Этот пацан был хозяином в семье.

— Па! Па! Ешли ты не плидешь, то я тибя убью!

— Вот тебе раз, — сказал Ветренный.

Мишка заорал еще громче, видно получил от Ольги легкую затрещину, расхохотался:

— А-а-а! Я пашутил, пашутил! Па! Ешли ты не плидешь, то я не буду с тобой лазговаливать!

— Дай маме трубку, слышишь?

Отец для Мишки пока еще был авторитетом. Оля сказала «да» так тихо, что после Мишкиного ора Ветренный скорее догадался, чем услышал это «да».

— Подождите еще час, может меньше, я еду.

— Вот видишь, — сказала Оля.

Ветренный, конечно же, нашел себе замену. «Вряд ли имеет смысл трогать их в ближайшие два-три дня, пускай погуляют», — думал Ветренный.

— Если что — я дома, — предупредил он дежурного.

23

Вольдемар сказал «люблю». Просто так. Сказал, и всё. Конечно, это ни о чем еще не говорит. Но ведь не каждый день и не каждый мужчина может сказать «люблю»? Ну, сказал и сказал. Да и Бог с ним.

24

Наконец-то наступила весна. Сравните:

«Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит?»

Хорошо!

Еще:

«С приходом весны всё во дворе становилось шатким и мокрым. Земля расползалась под ногами и хлюпала. Дед Егор и Васька втыкали кирпичи в самое месиво и прыгали по ним, словно козочки, трясая бородами. Если одному из них случалось оступиться, он матерился, другой — чертыхался, и оба ненавидели весну лютой ненавистью. Но красотка, оплеванная и обруганная, уверенная в своей правоте, продолжала гордое наступление».

И последнее:

«Такое противное время года. Не поймешь ничего. Мокро и холодно. В городе весна наступает позже. Мешает асфальт, наверное, и крыши железобетонных конструкций. Скрипит светофор, словно сверчок летом, птицы залетают в форточки, пикируют по комнатам, задевая люстры, опрокидывая бокал за бокалом. Время

маркуэсовских бабочек еще не спрелло. Сыпь высыпает в виде веснушек у самых чувствительных девушек в ожидании зелени. Абэцэдэбильные пузырьчки пущены в расход, и не дай Бог, если ваша собака возьмет его поиграть, покатаь по полу.

Общечеловеческое легкое помешательство, тоска по прошлому и будущему, а проще — по теплу и свету. Главное — дотянуть и уехать. Все равно куда. Где квакают лягушки и летят перелетные птицы».

25

Цветы можно было купить на привокзальном рынке в любое время суток.

Василий издали увидел фосфорицирующие в сумерках чашечки. Это были гвоздики, но странных цветов — зеленые, синие, рыжие и ядовито-желтые.

— Они живые у вас? — спросил Ветренный у подмигивающего грузина.

— Бумажные, — ответил грузин.

Ветренный оценил ответ, как шутку, и засмеялся:

— Цвет такой странный... Вы что-то в почву добавляете?

— Керосин.

Гвоздики, действительно, оказались бумажными. Ветренному расхотелось покупать такие цветы.

— Купи! Купи! — кричали грузины.

Они продавали только гвоздики, или, наоборот, только грузины продавали гвоздики. Все они были бумажные и на одно лицо: носатые с горбинкой и усами, как ни странно — маленькими глазками, и кепками в клеточку. Возможно, цветы продавали вовсе не грузины, а армяне, или осетины с азербайджанцами. Но один чеченец вдруг достал автомат и выпустил короткую очередь. Чашечки у гвоздик слетели и стали кружиться в воздухе, к ним присоединились тополиный пух и запах полыни. Народ побежал, кто куда, и стало трудно различать масть бегущих. Над крышей вокзала пронесся поезд и разлетелся вдребезги. Ветренный по-пластунски пополз к своей машине, у которой еще не успели проко-

лоть шины. За ним то ползла, то парила неотмщенная Валя Тимофеевна в гоголевской шинели и все кричала: «Купи! Купи!..»

Он стоял перед дверью, грязный, оборванный.

Ольга тоненькими пальчиками открыла дверь и отпрянула, задув пару свечей, остальные заставив колебаться...

Автопогони, кружащие вертолеты, прыжки с крыши на крышу, засады, стрельба, гибель злодеев, но не всех; и еще раз погоня — за остальными, с машиной кинооператоров, несущейся сбоку, и кинокамерой, мотающей кадр за кадром в свой следующий кассовый фильм, будут потом. Потом.

А пока, в полумраке праздничной комнаты, с неясными иероглифами теней на стенах и запахом магнолий, Ветренный принял полотенце из ольгиных рук, оттер запекшиеся грязь и кровь; поцеловал жену, подарил ей пистолет, а сыну — кобуру; снял галстук и сел за стол.

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» ВСЕГДА МОЖНО КУПИТЬ В

Гуманитарном книжном салоне

«ГИЛЕЯ»

Часы работы: с понедельника по пятницу
с 11.00 до 19.00 без обеда;
суббота с 11.00 до 18.00.
Выходной день — воскресенье

Адрес: Большая Садовая, д. 4,
особняк Шехтеля.

Проезд: ст. м. «Маяковская»,
выход налево к залу Чайковского
и вниз до дома № 4, в арку и направо.

Телефон: 299-34-74 добавочный 118, 119

В ассортименте:

- Новейшая проза и поэзия
- Русская и зарубежная литература
- Литературоведение и филология
- История, психология, философия
- Искусство и искусствоведение
- Политология и право



Татьяна МУШАТ

КРАСИВАЯ ЗЕМЛЯ ВСЕГДА НЕСЧАСТНА

Ночной разговор

Телефон... показалось?... да нет, звонок...

— С тобой Иисус говорит.

— О Боже, почему Иисус-то. Хоть бы Моисей...

— Что же ты никак не поймешь, что такое совесть. Она, конечно, на земле в разных местах разная. Но ты-то на своем месте живешь. Вот, положим... Пик-пик-пик.

Прервалось. Что он говорил-то? Совесть. А что совесть? Где-то спать сразу с двумя бессовестно, а где-то совершенно необходимо. Главное, не перепутать где что. Так это и убийство — когда убийство, а когда священная месть или война. Да мало ли что... Вот и социализм. Сказали, что живем при социализме, мы и живем в нем, стараемся из него не выскочить. А может это и не социализм вовсе, прости меня, грешного. Да если хочешь знать, так и достоинство там всякое все

равно, что топляк на глубине, — ты достойный, я — нет, а другой раз все наоборот. И порядочность, опять же, всегда за чей-то счет. Вот растравил своими разговорами. Теперь до утра не выпишься. А с утра опять кто-нибудь за комсомольскую совесть дернет и поедешь на весь день в овощехранилище или в колхоз урожай спасать. И прости-прощай тогда свиданьице. А все так хорошо складывалось, комар носу не подточит. А уж жена-то тем более. Она, как бы, Богом обиженная по этому вопросу, вроде как святая. Вот с кем Иисусу интересно было бы побеседовать. Ну нет, постой, постой... что я тебе еще-то скажу...

Высокий светлый мир

Огонек брошенной сигареты отдалялся от нас по закону свободного падения. Все молча провожали его глазами. Он загас не скоро, где-то там, далеко внизу. Ночь накрыла нас на склоне. Но нам повезло. С последним лучом света мы дотянулись до маленького уступчика, полочки шириной в ступню. Заняв на галерке, на высоте пяти километров места, к которым теперь оказались прикрученными ледовыми крючьями и привязанными страховочными шнурами, мы стали участниками действия под названием «жизнь гор».

Уже невидимое нам солнце падало все ниже и ниже, небо становилось все чернее и чернее, горы все ближе и ближе. Громадные звезды казались окнами в светлый мир, куда не добраться, куда и заглядывать-то не положено людям.

Глубокий светлый мир

Горели свечи, светили лампы, блестело золото, сияли лики. Храм забирал души и размещал их почти что в раю. И вот в тот самый миг, когда моя душа была почти готова лететь, мозг быстро и услужливо нарисовал картины другого храма и другой службы.

Деревенский дом стоял на отшибе, в лесочке. Подпол

с огромной тяжелой крышкой вел из комнаты в лаз, в подземный коридор, передвигаться по которому удавалось только полусогнувшись. Правда, через каждые несколько метров шли расширения и приступочки, где можно было посидеть и отдохнуть. Коридор разветвлялся и тянулся на сотни метров. Кое-где стены и потолок обсыпались, и тогда приходилось ползти. С каждым шагом становилось все страшнее, все дальше от спасительной светлой дыры в полу дома, а ближе ли к чему-нибудь — неизвестно. Предполагаемого света в конце тоннеля не было.

Может, для этого надо сильно верить. А может, света надо ждать не в конце этого холодного подземного тоннеля, где верующие проводили самые благодные часы общения со Всевышним, а в конце длинного пути в потемках, которым пробирается твоя душа.

Светлый мир техники

Безжалостный космос прерывисто дышал во все репродукторы.

Широкая, пустынная в это время дня, залитая слепящим солнцем городская площадь была наполнена скрежетом, тревожными человеческими голосами, бездонным молчанием и опять голосами, заглушаемыми скрежетом. Впервые в Союзе шла прямая трансляция связи с космонавтом на летающем космическом корабле. Корабль отлетал свою программу и возвращался на землю. Началась трансляция, а спуск оказался неудачным. И микрофоны передавали агонию корабля с космонавтом на борту.

Номерной институт всеми своими окнами выходил на городскую площадь, и в лаборатории одновременно звучало внутреннее радио и многократно отраженное эхо репродукторов с площади. По-домашнему привычно гудели теплые генераторы, на приборах вольно гуляли волны зеленых синусоид, на шкалах подрагивали чуткие стрелки. Все сидели, не шевелясь. Отяжелели руки. Сжалось сердце. Где-то там, далеко, в сияющем

мире космонавт летел домой, к Земле. Он очень спешил. И знал, что не успеет. Насмерть прикрепленный к кораблю, теряющему управление, он методично передавал на землю технические аварийные данные. Голос слабел, забивался помехами. Каждое молчание было последним.

Вера

Пять шагов вверх. Все идут за тобой след в след. Шаг в сторону. Другой идет первым свои пять шагов. И опять смена. И снова впереди другой.

Всех человеческих сил хватает только на пять шагов к вершине, на пять бесконечно тяжелых шагов.

Вершина все ближе, ближе... Вот она... подсвеченная восходящим солнцем... совсем рядом...

Но до нее еще много раз по пять шагов. До нее еще вся твоя прожитая жизнь.

Нежность

— Борька-борька-борька-борька, Борюшка, хороший ты мой, хороший.

Вот уж никогда бы не подумать, что у нее может быть такой ласковый голос при ее-то толстом теле, ногах-бревнах, плоском лице коричневого цвета и шее с обвисшими жирными складками.

Боров остановился, прислушиваясь. Сквозь кусты проглянул его тяжело дышащий розово-грязный бок.

— Борька-борька-борька... Ну иди сюда, иди ко мне, мой хороший. Чо убежать-то? Еще ничо и не было.

Боров стоял. Она подошла. Начала чесать его за одним ухом, потом за другим. Он жмурился, не мигая. И хрюкал, как бы размышляя: «Может и правда зря испугался?»

— Ну пойдем, пойдем. Я тебе вкусенького дам. Пойдем домой, пойдем.

Никакой веревкой она не повязала бы его крепче, чем своим голосом, которому он хотел верить. Он пошел за

ней, поспешая. У самой клетки она дала ему обещанное угощение — кусок хлеба, намоченный в водке. Борька хрюкнул, расслабился и шагнул в темноту своего жилья.

Мясник исправно выполнил работу. Он не любил, когда животное мучается. Хозяйка как-то вяло-криво перекрестилась и тоже переступила порожек — трехлетний Борька уже висел на крестовине, ни на кого не похожий и на Борьку тоже. В стороны торчали аккуратные раздвоенные копытца, и расплосованная утроба стекала кровью в глубокий таз.

По дорогам войны

В тайге не бывает случайных дорог. Эта была странной — она начиналась и кончалась на ясных, светлых полянах, поросших земляникой, и шла необычно прямо. Похоже, что ее не топтали, а строили. Но кто и зачем мог строить дорогу от ниоткуда в никуда?

Мало кто знал об этом в деревне. Эта старая женщина была одной из немногих. Полная, смешливая, ямочки на щеках, даже кокетливая, она с удовольствием рассказывала о тех днях своей молодости. Как они строили узкоколейку, как валили лес вручную, пилили его, грузили в вагоны вручную, впрягались в эти вагоны и тащили их по колее. Иногда впрягали лошадей, но их было мало и их жалели. Лицо женщины разгоралось, когда она рассказывала об этих днях, потому что плохо помнилась и узкоколейка, и сорокаградусный мороз, и ночи в землянках, а вспоминались жаркие свидания с парнем, который был один такой справный на сотню одиноких невест и вдов. Потом и его забрала и убила война. А жизнь покатила дальше, оставив в тайге незарастающие плешины, развалины узкоколейки, молодость тех женщин и захватив с собой только воспоминания.

Власть и закон

Старожилы, которые, кажется, только тем и заняты, что ничего не помнят, на этот раз не помнили, чтобы в

реке было столько стерляди. Никакая другая рыба не ловилась, только стерлядь. Милиция сбилась с ног, штрафуя и штрафуя рыбаков. По закону стерлядь ловить нельзя — она из красной книги. Но милиционер в деревне был один, а рыбаков — все остальные. По реке ходил тральщик и регулярно вытаскивал сети, полные этой благородной рыбы. Через две-три недели милиционер понял бесполезность своих попыток навести порядок и отступился, тем более, что весь улов с тральщика шел властям. Нет, не в деревенский Сельсовет, который и сам себе мог натаскать удочкой сколько хочешь, а городским Властям. Тут уж он, практически, ничего не мог сделать, кроме как закрыть глаза на все это, что он и сделал. Более того, браконьера, которого милиционер направил в тюрьму год назад за запрещенное рыболовство сетью, тюремное начальство отпустило теперь на некоторое неопределенное время, чтобы он обеспечил начальству эту редкостную рыбу.

Парень ловил основательно, опять сетью, только ходил на рыбалку ночью, чтобы не смущать своими громадными уловами ни милиционера, действующего по уставу, ни других, которые еще не заимели своих тюремных покровителей.

Вне закона

Пламя весело плясало, заполучив в свое распоряжение деревенский магазин в старом-престаром сухом деревянном доме. Искры столбом уходили вверх. Набравшая на огонь толпа смотрела на все это безучастно. Никто ничего не спасал, не кидался в огонь. Даже пожарники не торопились, да и воды, как обычно в таких случаях, не оказалось. Директорша магазина поодаль от огня билась в сильной истерике, привлекая внимание очевидцев.

Деревня до всякого официального следствия знала, что магазин подожгли. Пожалуй, она задолго до пожара знала, что его не миновать. Слишком уж заметно в деревне сытое житье торговой аристократии. Вопрос

был лишь в том — посадят — не посадят и кого посадят. Хотя и это не вопрос, потому что, опять-таки, деревня знала, что если и посадят, то не главного виновного, а скорее, вообще невиновного. Деревня, как стоголовый Шерлок Холмс, ставила себя на место происшествия, и с ней происходило все то, что и должно было произойти.

Ну, что еще может произойти с простым смертным, когда его соблазняют? Или он соблазняется, или нет. Скорей всего, да. В Сибири, в глуши, в снегах, да при виде импортных женских сапожек, например. Конечно, да. Поэтому где-то, может, пожар и беда, а здесь — выход.

Жертвоприношение

Мы расселись, как в старом римском театре. Сценой была сухая долина желтых камней. Действие разворачивалось далеко внизу, почти на дне долины. Впрочем, там не было ничего особенного, просто парень-скалолаз, сильный, ловкий и красивый, охотился на барашка. Барашек, скорей всего, не был диким, наверное, он отбил от отары и теперь беспомощно тыкался во все стороны в поисках своих. Он призывно блеял и тем нечаянно разбудил в мужчинах охотничий инстинкт. Барашек был едва заметен на противоположном желтом склоне, но уже стал жертвой.

Можно было кричать, убеждать, хватать за руки, умолять не делать этого — никто не слушал. Мужчины хотели свежего мяса и зрелищ. В конце концов, барашек — всегда жертва.

И парень убил его. Освеживал прямо там, на плоском желтом камне на дне долины. Притащил мясо вверх. Отдышался. Долина была глубокой, да и ноша тяжелой.

Надежда

Море штормило. Маленький рейсовый кораблик шел в Коктебель. Скрипела деревянная палуба, ухали борта, привычно принимая на себя удары. Стайка дельфинов

увязалась за корабликом. Они напрыгивали на волну и скатывались с нее, как много лет спустя стали делать катающиеся на серфах. Туча свисала в море и обещала бурю. Предзакатное солнце то открывалось, то закрывалось, будто тоже качалось на волнах. Карадаг встретил нас почти сурово. Устал он, наверное, от своей трудной судьбы.

Красивая земля почти всегда несчастна — все хотят обладать ею. И Крым не обошла эта участь. Одни там разводили виноградники — другие вырубали, и полосы пней тянулись до горизонта. Одни засеивали хлеб — другие бросали его без присмотра, и высохшие поля лежали, бессильно переливаясь в желтые лиманы, а лиманы — в знойное небо. Кто-то возводил храмы, а кто-то оставлял их, и они стояли поруганные и загаженные. Кто-то селил в пустых храмах лошадей. Святые, слетевшись под потолок, молча глядели на все это. Лошади не ржали, потому что чувствовали святость места, а может потому, что им не давали овса. Негде стало молиться за детей, и они, не представленные Богу, играли в пристенок о стены храма.

Только свеженький красный флаг на раскопах древнего городища казался надежным и вечным в этом мире обесцененных ценностей.

Счастье

Юрта стояла, как жирная точка в конце строки. Все. Перевал остался позади. Только обтаявшие, бессильные, грязные языки ледника еще стелились нам под ноги. Все. Мы оказались достойными соперниками. Перевал не давался — он ощеривался трещинами, ощеривался вертикальными стенками и, наконец, собрал над собой черные тучи, тяжелые снегом, и выпотрошил их.

Иглу — ледяной дом, который мы сложили за полтора часа, а потом отсиживались в нем полтора суток, завалило так, что пришлось откапываться. Это хорошо, что иглу завалило, а то неизвестно еще, кто бы мог загля-

нуть к нам на огонек свечки на пятикилометровой высоте дикого Памира.

Все. Теперь мы внизу, в мире запахов — трава, юрта, лошади. Нектаром кажется айран и пищей богов лепешки, которые хозяйка печет специально для нас, сидя на корточках перед печкой из горячих камней.

Как мало надо человеку для счастья! Всего-то хлеб да молоко и чтоб трава, и спокойные лошади близко.

Зло

— Убью, падла! Сучье отродье! Убью! Понаехали тут... городские... курей травить... Порешу, б...дь!

Все зло мира собралось в этот момент в его длинном батоге наперевес. Зла было так много, что оно несло старика на его параличных, давно нехожалых ногах, и он почти поспеивал за собакой.

— Дед, подожди! Да подожди ты!

Изо всех сил она старалась поймать если не собаку, так хотя бы деда. Собака услышала голос, слегка приостановилась, и она успела ее схватить. Палка вскользь ударила женщину по боку.

— Да ты что, дед, белены объелся? Какие куры? Что, он их загрыз, что ли? А если нет, чего ж орать-то?

Она слегка отдышалась.

— Давай уговор... вот если завтра кура тебе яйцо не снесет с перепугу, я плачу трешку. Идет? Ну вот... А то убивать собрался... Пошли, пес. И чтоб к курам ни ногой, понял? Понял, говорю?... Дед лютую жизнь прожил... Тебе и не снилось.

Диалектика

Тишина ворошила летнюю ночь. В кустах у забора кричала женщина.

Давным-давно, сто лет назад, в такую же ночь, а может, солнечным днем, шурша рясными травами и истекая Обью, Сибирь зачала здесь новый город, прямо здесь, на перекрестке дорог.

Женщина то смолкала, то снова звала на помощь.

Здесь столкнулись Запад с Востоком, а горячее лето с лютой зимой, здесь железная дорога связала ажурной удавкой моста вольную реку, и современный культурный слой, приминая все промежуточные, лег прямо на останки орды Чингисхана.

— Не ходи, прошу тебя. Убьют же.

— А так ее убьют, — огрызнулся он и остался.

Здесь музыка Шнитке слилась с лагерным фольклором, наскальная живопись раннего человека затянулась сукровицей с полотен Грицука, первый в Сибири многоквартирный дом в стиле постмодерн — медалист французской выставки — потеснил вшивые бараки.

В кустах теперь громко матерились мужские и женские голоса.

Здесь восходящее солнце каждое утро разворачивает главный проспект, как неотбеленное полотно, полочет его в мутной реке и расстиляет под собой сохнуть. Здесь каждый вечер закат наполняет реку чем-то красным, красит в этом красном проспект и расстиляет его до зари мокнуть.

— Милиция! Милиция! Вот удача, что вы здесь. Там, похоже, насилюют.

— Где?

— Вон там, в тех кустах.

— Насилуют... Да полюбовно у них все, факт.

Здесь ветер-бармен искусно разбавляет ядовитые заводские дымы запахами давно вырубленных лесов, распаханных лугов, порушенных постоянных дворов, разгоряченных лошадей, затерянных кочевий, талых снегов с Алтая...

Милицейская машина взвизгнула, лягнулась, харкнула себе под заднее колесо, помигала на кусты дальним светом и укатила в ночь.

Сказки

— Ну совсем руки-ноги не получают. Встань, может, хоть с тебя спишу царевича. Еще эти долбаные гуси с

Машенькой... Ничего, ничего, я их уделаю... будут гуси, как гуси... сказочные... Дети уж точно поверят. Конечно... накатывает иногда... на панель, мол, вышел. Может, и на панель... так ведь за светлое будущее продаюсь. Жаль только, все равно этим гусям шеи скрутят... и очень скоро. Да ладно, пусть хоть немного полетают. Поверни ногу, никак взьем не получается. Как копыто. А нога-то должна быть царская. Да... вот и поймали нас на мякине... на любви к сказкам, и дедов-прадедов наших, и нас, а мы вот своих детей помогаем ловить. Хоть блином с масленицы, а помани... Слушай! Так сегодня же масленица, едем!

Широкая масленица уже раскатилась по заснеженной поляне в городском парке. Между ледяными теремами с позолоченными куполами, между скатертями-самобранками, раскинутыми на самоходных кухнях образца отечественной войны, между Иванушками-дурачками, пересаженными с теплых печек на ковры-вертолеты, привязанные к столбам, и Змеями Горынычами с членистыми шеями сновали праздничные толпы. Вокруг раскрасился всеми красками и разоткровенничался духовым оркестром сказочный рай, который, по людским представлениям, согласованным с властями, должен был походить на тот, настоящий, ради которого и живем.

Светлое Солнце, слегка припорошенное повисшим в воздухе снегом, совсем не походило на Ярило, а походило на свой собственный сказочный лик.

Блины совсем не походили на блины, а походили на светлое Солнце.

Все разнообразие советской кухни, свезенное сюда, совсем уже ни на что не походило, но зато прекрасно играло роль кисельных берегов. Молочные реки, правда, были перекрыты, но это никого не огорчало. У всех с собой было.

— Слушай... вот это жизнь... Интересно, до которого часа эта сказка? Ешь... ешь еще. Пей — гуляй! Распла-а-тимся...

Любовь

Он нес ее на руках на виду у всей деревни. Она хохотала, отбивалась ногами, крепко держась за его шею, а он нес ее бережно и властно, как и должен нести мужчина свою добычу. Жаркий полуденный зной звенел ее голосом. Затихли на пыльной улице играющие дети, прилипли к оконцам бабки, мгновенно вспомнив свое мимолетное давнишнее счастье. Она была влюблена и любима. Этого было так много для ее восемнадцати лет, что казалось невозможным думать о чем-то еще, о том, что он, вроде бы, женат, что у него, наверное, дети, что он не работает, как положено, что у него, похоже, много денег. Последнее, пожалуй, даже хорошо, хотя какая разница...

Эти вопросы, проплывающие на грани сознания, захлестывались волнами счастья. Ответы к ним упрямо всплыли через год, когда выяснилось, что он женат и у него дети, и он не работает, как положено, а занимается бизнесом, стараясь, правда, по возможности быть честным. Жизнь принимала другой оборот.

Вербное воскресенье

Букет едва проклюнувшейся вербы стоял в вазе у изголовья. Одна ветка торчала у его щеки и иногда щекотала. Другой букет стоял в ведре у ног. После холодной прогулки за этими самыми вербами было тепло и уютно лежать бок о бок. Она вслух читала Библию. Что-то томило душу... томило душу... он вдруг разрыдался.

— Знаешь, она очень болеет... что-то со спиной... надо лечить... как-то...

— Милый... милый... заботливый ты мой.

Женщина слизала его слезы поцелуями. То ли верба щекотала ему щеку, то ли ее набухший сосок. Ведро с букетом наклонялось, наклонялось и упало совсем. Намок и потемнел прикроватный коврик. Лужица потянулась в щелку под дверь в соседнюю комнату. Там

разговаривали. Но все это уже не имело никакого значения.

— Хороший день — Вербное воскресенье, — холодным лезвием прочеркнула мысль, оставив жирный след в мозгу, а может, на плохо освещенной стене подъезда, пока он аккуратно вставлял ключ в замочную скважину, чтобы не потревожить чуткий сон жены.

Патриотизм

Сибирь звала к себе молодых проникновенным голосом любимой певицы.

Не то, что Сибири нужны были эти молодые, и не то, что молодым очень уж нужна была именно Сибирь, а то, что ее несметные богатства казались властям такими доступными, что грех было их не взять. А брать надо руками молодых, тех, кому еще ничего не снится в их богатырских снах, а если и снится, то не Москва и не Париж, а бог его знает что — какие-то голубые города, у которых и названия-то нет.

Вот тогда и появилась на шумном уголке городского микрорайона жаровня, где день и вечер жарились шашлыки, распространяя пронзительный запах угольев, мяса, уксуса и лука. Сибирь приехали осваивать молодые армяне. Купола их голубых городов вздымались над дымами заводских труб с каждым рассветом и расплывались в багровых лучах заката, чтобы возникнуть завтра. До Ангары, куда звала певица, было еще очень далеко. Ребята и не подозревали, что Сибирь такая большая. Да и зачем ехать куда-то еще, если и здесь много девушек, которым только и снится, что трудное счастье?

Память

С географией у нее были сложные отношения. Пока она была маленькая, а мир — громадный, она думала: ну зачем ей знать о каких-то землях, в которых она все равно никогда не побывает и которых никогда не уви-

дит, а когда она стала большая, а мир — маленький, она решила: ну зачем ей все эти разные названия, везде живут люди, одинаково страдают и веселятся. И вот, когда она была в расцвете своих лет, не маленькая и не большая, а двадцатишестилетняя, вся страна заговорила о Карибском кризисе. Где Карибское море, а где она? Больше, чем полшарика между ними. Но эта возможная война на другой стороне планеты лишила ее покоя. По ночам ей начали сниться многократно отображенные всеми средствами искусства бомбежки, перечеркнутые бумажными полосами оконные рамы, скользкие лестницы в бомбоубежище. Ей виделось, как она бежит со своим маленьким спеленутым ребенком, существовавшим пока только в ее снах, прикрывая его почему-то чем-то черным — то ли плащом, то ли платком, а другая, старшенькая, крепко держится ей за юбку. Они бегут куда-то или от кого-то, вокруг, вроде бы, не стреляют, но вот-вот начнут.

Карибский кризис пришел к ней в дом. Она слышала его в весеннем громе, в пролетающем над домом самолете, в громком окрике. Кризис разрешился мирно. К тому времени, когда она вынашивала своего второго ребенка, он уже разрешился. Но родившаяся девочка, для которой этот самый кризис был, вообще, историей, еще не начав говорить, уже боялась громких окриков, звука пролетающего над домом самолета и весенней грозы.

Раскаяние

Он вернулся через час. Она еще спала. Сладость усталости от долгого бега и сладость сразу возникшего желания слились в нем, и он взял ее ласково и просто. Так началось это прекрасное время под кодовым названием «командировка».

Последним усилием он откинулся на спину, сбросил подушку на пол. Над ним белым ничем висел низкий потолок. В голове было отсутствие всяких мыслей, тела, вообще, не было. Где-то стороной плыла и разматыва-

лась десятикилометровая Царская тропа, по которой он бежал еще десять минут или сто лет назад, подставляя грудь утреннему бризу, плыло синее море, катающее мягкий шарик солнца на горизонте, плыло тепло ее бедра, — все плыло и покачивалось в нем. Ничто потолка тоже слегка качалось.

Откуда-то вплыла мысль, вплыла-таки, не могла она надолго оставить его без своего присутствия. Мысль эта была как бы и не мысль, а тело, да, тело, плотно сбитое тело вины и раскаяния, с которым он давно сжился, честно давая и ему жить полнокровной жизнью. Это тело начало расти, расти и вдруг резко оформилось в два слова «день рождения». Сегодня же день рождения жены! Он встал, пошел на почту и отослал срочную телеграмму «люблю целую всегда твой».

Почта оказалась неподалеку, и на этот раз он вернулся быстро. Можно было бы уже и позавтракать, но она еще лежала, и он лег рядом.

Солдаты

Веселье докатилось до той точки, в которой люди отбрасывают тесные рамки всякой культуры. Мотал душу на кулак шикарный аккордеон, подчиняясь коротким бордовым пальцам музыканта, пьяного настолько, что если бы вдруг его спросили, которая из его рук правая, он бы не определил. Абсолютно трезвый трубач выдувал высокие трели, они чистойшей музыкой летели к верхушкам столетних сосен и там прятались. Бил в тарелки ударник, но не в лад и не часто, потому что, похоже, боялся отцепиться от ударной установки.

Толпа провожала новобранцев. Размазывая по лицу непривычную губную помаду, смеялись плачущие женщины. Тряслись в танце молодухи, расплескивая полными бедрами тоску по партнеру. Мужчины из тех, кто еще держался, пили водку, неистощимые запасы которой были выставлены в кузове полуторки с откинутыми бортами. Девушки испуганно липли к своим парням.

Шестеро бритоголовых парней держались стайкой.

Их уводили на защиту неуловимой свободы — своей, чужой и общественной.

— Да ладно, чо бздеть-то заранее. Там, поди, скажут, в кого стрелять.

Военкоматский автобус ждал в тенечке. Дежурный офицер, присев на приступочку, похрустывал мало-сольным огурчиком. Солнце стояло в зените. Время еще терпело.

Искусство

Летний вечер исправно менял декорации. Он уже убрал задник с расцвеченным закатным небом, заменив его на легкое марево прошедшего жаркого дня, и держал наготове речную пахучую свежесть ночи. На прибрежном песке живописно лежало обкатанное водой голое бревно. На нем сидела с гитарой тринадцатилетняя девочка и пела, придерживая большим пальцем босой ноги бумажку с текстом. На песке прямо перед ней расположилось несколько молчаливых слушателей.

Песня повторилась раз, другой, третий. Тяжелеющая темнота неслышно прикрыла лист с текстом. Молча не двигались слушатели, лишь иногда коротко взмахивая руками, чтобы отогнать особо надоедливых комаров.

Песня казалась ключом к этому вечеру, как драма Медеи к черным афинским ночам. У каждого момента есть свой логический ключ. Но из их связки, позвякивающей на поясе у Природы, только Артисту дано знать подходящий.

Сошествие

Нет, нет, Он не пришел. Все подготовил и не пришел. Сигнал облака в тучи, чтоб не являться как гром среди ясного неба. Пробил в тучах окошко, опустил через него до самой земли два солнечных луча, даже перильца на каждом организовал, чтобы удобнее было сойти. Потом, наверное, засомневался и добавил радугу, которая

повисла как-то неопределенно — одна ее часть была выпуклой, а другая — вогнутой.

Было в чем сомневаться. Зачем, собственно, сходить на землю здесь, в этом забытом им однажды краю? Нет здесь ничего ни от сотворения, ни от человека — холмы, холмы, выжженные солнцем желтые холмы.

Попытался как-то человек оживить эту землю по своему человеческому разумению — построил дороги, заводы, взлетные ракетные площадки, шахты для взрывов бомб. Не получилось, не ожила.

До сих пор стоят на растрескавшихся дорогах ржавые ворота от отсутствующих оград, крашеными фанерными щитами громоздятся на обочинах заброшенные контрольно-пропускные пункты, с привычной подозрительностью вглядываясь ни во что выбитыми глазницами окон. На полуоторванной двери одного из них свежей краской написано: «Андрей любит Лену».

— Ты слышишь? Андрей-то любит Лену. Сколько лет прошло... а хорошие новости всё про одно и то же, всё про любовь... А ты так еще и не надумал спуститься?

Окошко в тучах с громом захлопнулось, и молния, как электрошок, прошла пустыню не иначе, как с намерением добраться до ее сердца. Черно-фиолетовая мгла упала на землю, завертелась, закружилась и пролилась дождем.



россия
ГЛАЗАМИ ПОЭТОВ

Евгений БАЧУРИН

НА ДОСКЕ РАССТАВЛЕНЫ ФИГУРЫ

Дерева

Дерева вы мои, деревья,
Что вам голову гнуть-горевать.
До беды, до поры
Шумны ваши шатры,
Терема, терема, терема.

Я волнуем и вечно томим
Колыханьем — дыханьем твоим,
Что ни день, то весна,
Что ни ночь, то без сна,
Зелено, зелено, зеленым!

Мне бы броситься в ваши леса,
Убежать от судьбы колеса,
Где внутри ваших крон

НА ДОСКЕ РАССТАВЛЕНЫ ФИГУРЫ

115

Все малиновый звон,
Голоса, голоса, голоса.

Говорят, как под ветром трава,
Не поникнет моя голова,
Я и верить бы рад
В то, о чем говорят,
Да слова, все слова, все слова.

За резным, за дубовым столом
Помянут нас недобрым вином,
А как станут качать,
Да начнут величать
Топором, топором, топором!

Ах, вы, рощи мои, деревья,
Не рубили бы вас на дрова.
Не чернели бы пни,
Как прошедшие дни,
Дерева вы мои, деревья!

Разочарование

В бреду асфальтов и в тиши
Непредсказуемых тропинок,
Я, как над пропастью во ржи,
Прошел, не чувствуя ботинок.

В сто сорок солнц закат пылал,
И ночь в сто сорок лун сияла,
И жизнь гудела как вокзал,
И поезда свои сменяла.

Казалось — вот они мечты,
Судьбы счастливые моменты,
Мелькали люди и цветы,
И слышались аплодисменты.

Но вот заснули поезда
И опустела гладь перрона,
Осталась тусклая звезда
В окне последнего вагона.

Полынь

Я — степь, я — курган, я — из трав златотканый ковер.
Сам Бог надо мной голубые ладони простер.
Кто волею болен, придет и полюбит меня,
Я — щит, и стрела, я — свобода, и я — западня.

Я — стан, я — набег, я — кочевья ночного костры.
Быстры мои кони и сабли кривые остры,
Полощутся бурки, и пальцы сжимают наган,
И ворон-разбойник кружит, где лежит Кудеяр-атаман.

Дымны мои дали, безбрежны мои ковыли.
А сколько в них молодцев добрых навек полегли,
А сколько в них сломанных крыльев, загубленных душ —
Ждала молодая жена, да остался со мной ее муж.

А что, говорят, будто строили здесь Вавилон,
Нагнали машин, говорят, и людей миллион,
Да только потрянула я разик-другой стариной,
И вновь воцарились во мне тишина и великий покой.

Я — пустынь, я — степь, я — мольба до последних минут,
Кто душу спасает, ко мне пусть скорее бегут,
Я все сохраняю, что погублено было сплеча,
До лучших времен, а пока что для вас — полынь
да свеча, полынь да свеча...

* * *

Шел по дороге к воде
И стал оленем.
Хотел дотянуться до облаков
И стал деревом.

Двигался к горизонту
И стал точкой зрения.
А когда убрали соблазны,
Взял и умер.

1995

* * *

Что снится рыбе в мертвый час,
На мертвом море, в мертвой зыби,
Где мертвый глаз из мертвой глыбы,
Что снится рыбе?..

1967

В ожидании вишен

Если падают листья и жмутся к земле,
Если больше им некуда деться,
Значит, снова готовься к жестокой зиме,
Значит, снова она по соседству.

Мы живем в ожидании вишен,
В ожидании лета живем,
А за то, что одной лишь надеждою дышим,
Пускай нас осудят потом,

Если падают звезды на скошенный луг,
Если ночью им в небе не спится,
Мы теряем друзей своих по утру вдруг,
Не умея за них заступиться,

Если падают рядом и голову гнут
От нужды или денежной жажды,
Оставляйте их сзади, пускай подберут
Их другие, упавшие дважды.

Мы плывем и плывем по течению лет,
Мы плывем и платочками машем.
А про то, сколько зим до весны, сколько бед,
Вам другие придут и расскажут.

* * *

Дом в глубине сада,
Глаза в глубине лица.
За домом пасется стадо —
Лошадь, корова, овца.

А мы с маленьким Сеней,
Дом покидая и сад,
Беседуем, лежа на сене,
Кто такой Лепидат,

Кого ждала Пенелопа,
Ломая руки в тоске,
И почему Европа
Плыла верхом на быке.

Века летели, как гуси,
Менялась музыка сфер.
И то, что звалось Русью,
Стало СССР...

Исчезла навеки Эллада,
И гуси Рим не спасли...
Дом в глубине сада...
Мы с Сеней домой пришли.

1987

* * *

Непревзойденные люди пускай нам покажут пример
превосходный,
Им хорошо, их Всевышний отметил особой чертой.
Быть выше всех — это должность не ниже порога,
Но и не выше порога, который хочу преступить.
Горечь и тень или яркого света блаженство,
Что нас зовет по пути к горизонту мечты, —
Несправедливость судьбы иль случайность лишнего
жеста?
Все это грех или смех, как ведущие к смерти столбы.

* * *

По стопам прошедших перед нами
Личностей, народов и времен
Мы не будем шевелить ногами —
Век наш страшен, краток и умен.
Мистицизмом нас не запугаешь,
Романтизмом только насмешишь,
Главное dont worry, понимаешь,
И еще be happy, мой малыш.
Чтобы было много добрых утр,
Крупных денег и счастливых встреч —
Брось писать стихи, купи компьютер,
Он тебе заменит мысль и речь.

Первый гром

Когда встают из-за стола,
Бросая дом,
По ком звонят колокола
Тогда, по ком?
Что это - погребальный звон
Иль благовест
Доносится со всех сторон,
Из разных мест?

Иль голос Божьего суда
В ушах звенит,
Или звонят они, когда
Свобода спит,
Или беда похуже той,
И бьют в набат,
Что поднимается войной
На брата брат.

А может, отнят у земли
Последний шанс,
И это крик ее измученных
Пространств?

И не осталось на беду
 Ни сил, ни слов,
 Чтоб разорвать кольцо
 Грядущих катастроф?

Нет, это первая пчела
 И первый гром.
 И вышли мы из-за стола,
 И вышли мы из-за стола,
 Покинув дом.

1981

* * *

Садится солнце, скрылось детство,
 Окончен подвиг трудовой.
 Куплю я в кассе трансгентства
 Билет до станции Покой.
 Не знаю, сколько суток ехать
 Или лететь часов туда,
 Но расстояние не помеха,
 А деньги все равно вода.
 Да что там, люди тратят тыщи
 На рейс в Манилу и Сидней,
 Чего-то ждут, кого-то ищут
 В краях за тридевять морей.
 Какие города и веси
 Зовут в объятья нас порой!
 Но как ни рыпайся — мир тесен
 И тот же свод над головой.
 Приходит час, когда спадает
 Цветная пленка с глаз твоих
 И все пространство заполняет
 Лишь ровный черно-белый штрих.

1989

* * *

Попутный ветер будет переменным
 На всем пространстве движущихся дней.
 Не объясняй поспешности ухода
 Со стадиона жизни в мир теней.

Исчезнет смысл потерь и ожиданий.
 Не будет ни сегодня, ни вчера,
 И станут ярче дни воспоминаний,
 И сказочнее сны и вечера.

Замрут века. В одном сомненья нету,
 В день Бабочки, в созвездии Жука
 Появится звезда или планета.
 Или в молитве новая отрока.

* * *

Девочка бежала за солнечной ночью, за ясным днем,
 но не забегала вперед, а ждала будущего.
 Мальчик придет и спасет мир.
 Колени в траве, волосы в облаках. Она ловит тень от
 стрекозы, пролетевшей вчера.
 Мальчик придет и спасет мир.
 Большая толпа людей прошла по бетонной поляне,
 оставив глубокие следы переживаний и гнева.
 Мальчик придет и спасет мир.
 Господи, где же наша мама? Она ушла два года назад
 за хлебом и до сих пор не вернулась домой.
 Мальчик придет и спасет мир.
 Телевизор опять не работает, и не работает
 нефтепровод на участке Бийск — Караганда. К тому же
 сегодня воскресенье.
 Мальчик придет и спасет мир.

1991

Психея

Все вернется на круги своя
 И народ, и страна, и семья.
 Все продолжит положенный путь,
 Чтобы все повторить и вернуть.

Только то, что на новом витке
Прорастет, в прошлогоднем цветке
И умрет, и отдаст семена,
И семья, и народ, и страна.

Ну а как же быть с девочкой той,
Что зовется Психеей-душой,
Что тонка, как шелковая нить,
Разве можно ее повторить?
Ведь она, только б Бог ее спас,
Существует единственный раз.
Не нужны ей ни стол, ни кровать,
Но ее так легко потерять.

* * *

Настанет ли момент (все может быть!),
Когда возникнет мысль хоть на мгновенье,
И это вот ее возникновенье
Сумеет тут же слово породить.
Как велика тогда его цена
И снайперская точность попаданья!
Оно приходит к нам из мирозданья,
Как звездный пульс, как ощущение сна.
Так, значит, настоящее создать
Нельзя земному без участия неба...
Поэтому так много ширпотреба!

1990

Желание

Хочется спросить у ветра,
Хочется потрогать воздух,
Хочется послушать камень,
На котором сам сидишь.

И успеть бы оглянуться,
И суметь бы что-то крикнуть

Или сделать жест рукою, —
Время юркнуло, как мышь.

А девица шла к колодцу,
А солдат надел пилотку,
А Шарапов улыбнулся
И с женой пошел в кино.

Потому что спорить с ветром,
Потому что щупать воздух
Или древний камень слушать
Свыше не разрешено.

1992

Памяти Мандельштама

Маленькая фигурка
Выходит на шаткий помост —
Не детектив, не урка,
Не Дон Жуан, не Пангос.
Он не похож на героя;
Острый угол лица,
Что-то в нем есть смешное
И что-то от мудреца.
Вокруг декораций куча,
Субретки и трагедии,
А он стоит, как Щелкунчик,
И роль ему надо вести.
Может, гороховый шут он,
Гороховый, может, король? —
В общем, какая-то жуткая
Выпала ему роль.
Он нищ, но по-царски вспыльчив,
Наивен, как маленький Мук.
Зачем же кричать, Эмильич,
Коль шепчутся все вокруг.
Среди героев-любовников,
Трусков, убийц и пролаз

Бант его, как шиповник,
 Бьет современнику в глаз.
 Но вот кульминация действия,
 Идет предпоследний акт —
 Герою велют раздеться,
 Поскольку он — плагиат:
 Он у Джордано Бруно
 Дрова на костер украл,
 У Муравьева — веревку,
 У Макбета — плащ и кинжал,
 Щегол, бумагомарака,
 Допрыгался — взять под конвой,
 Девятый номер барака,
 А сам — сто сорок второй.
 Bravo! На сцену просим!
 Зрители, руки по швам!
 Тело свое выносит
 Осип Мандельштам.

1988

Шахматы на балконе

В шахматы играют на балконе
 В довоенной южной стороне.
 Смуглый мальчик в новенькой матроске
 И курсант при кожаном ремне.

У перил, где листья винограда,
 Мать смеется и отец грустит.
 Брат приехал — он военный летчик,
 За балконом бабочка парит.

Мы сидим за столиком прозрачным,
 А над нами летняя пора,
 На доске расставлены фигуры —
 В шахматы последняя игра.

Мир затих, не движется время,
 Замер тополь, голову склоня,
 Тонет солнце в безмятежном море,
 До войны еще четыре дня...

Прошлое уходит без оглядки,
 Но остался голос с высоты:
 - Спи, мой мальчик, спи, мой, сладко, сладко, —
 Ведь в живых остался только ты.



Елена КРЮКОВА

РУССКАЯ РУЛЕТКА

Мать

Любила, лупила, рожала, хлестала, — устала...
Червем и золою, древком и метлою!.. — устала...

Сжав зубы подковой, по насту Голгофы! — устала...
Изюм-сохлый — груди.

Карась-дохлый — люди.
Устала.

Ребенка — в охапку да денежки — в шапку. Не дышим
Под снегом — громады. Все в дырках — наряды.
Век вышел.

Весь — вышел:
безумный, патлатый, тверезый,
поддатый, — чудесный...

Я в нем умирала. Меня бинтовали
над бездной.

Дитя вынимали.

Ребро прожигали.

Ремнями — вязали.

По стеклам — ступнями!... По углям — стопами!..

Зачем?!.. — не сказали.

И вот я, патлата, с дитем, опьяненным столицей,
В кабак, буерак, меж дворцов прибегаю — напиться.

Залить пустоту, что пылает, черна и горяча.
В широкие двери врываю угрюмую тучей.

На стол, весь заплеванный, мощный кулак водружаю.
Седая, живот мой огрузлый, — я Время рожаю.

Дитя грудь пустую сосет. Пяткой бьет меня в ребра.
На рюмки, как будто на звезды, я щурюсь недобро.

За кучу бумажных ошметок мне горе приносят.
Огромная лампа горит, как на пытке, допросе.

О век мой, кровав. Воблой сгрызла тебя.

Весь ты кончен.

Всю высосу кость и соленый хребет, ураганом источен.

И пью я и пью, пьет меня мой младенец покуда.
Я старая мать,

я в щеку себя бью,

я не верую в чудо.

Я знаю, что жить мне осталось негусто, мой Боже:
Стакан опрокину — и огненный пот выступает на коже.

Узор ледяной. Вон, на окнах такой на кабацких.
Узор кровавой. Иероглифы распрей бедняцких.

Военная клинопись. Страшные символы-знаки.
Их все прочитают: на рынке, на площади,
в трюме, в бараке.

Наверно больна. И дитенок мой болен.
Эй, водки, скорее!
По смерти прочтут. По складам. И от слез одуреют.

Прочтут, как сидела — до тьмы —
в ресторанище грязном,
дешевом,
Над хлебом нагнувшись, над шпротой златою,
парчовой;
Как век мой любила, на рынке его продавала,
Как кашу в кастрюле, завертывала его в одеяло;

Как мир целовала,
как ноги пред ним раздвигала,
Как тельце последыша в тряпки любви пеленала;

Как, пьяная, скатерть ногтями цепляя,
молилась за свечи,
Что светят во вьюге живущим и сгибшим —
далече, далече;

И как, зарыдав, я на стол, залит водкою, грудью упала...
Бежала. Рожала. Свистела. Плясала. Бесилась.
Молилась!

...Устала.

Да только дитя как заплачет. В сосок как иссохший
вопьется!
Ах, больно. Ах, томно.
Еще там живое, под левую грудью.
Там бьется.

Плакат

Впереди вас смерть —
позади вас смерть.
На холстине — вранья плакатного — звон.
Кто во брата стрелял —
тому не посметь
Царским вороном стать
в стае зимних ворон.
Черный кус металла приучен дрожать
В кулаке, где кровь превратилась в лед.
Кто в сестру стрелял —
тому не едать
За ужином рыбу
и сотовый мед.
Тому за Вечерей
не вкушать
Червонного хлеба,
чермного вина.
Кто отца убил —
тому не дышать.
Вместо воздуха в легких —
лебеда, белена.
Вы, громады домов, —
ваши зенки белы.
Что вы пялитесь на зверька
с револьвером в руке?!
Он стреляет — огонь!.. —
уста еще теплы.
Он стреляет — огонь!..
— шинель на виске.
Мы носили телогрейки, фуфайки,
обноски, срам,
Ветошь свалки,
ели с задворков отброс, —
А тут на лбу —
чертог и храм:
Кровь рубинов,
алмазы и перлы слез!

Вот они на башке воровской —
 яркий лал,
 Турмалин — кап в снег,
 кровавый гранат:
 Слаще шапки Мономаха
 брызжет кристалл,
 Эта жизнь никогда
 не придет назад!
 Вот где ужас — с оружием —
 камнем стоять
 Против всей своей,
 родной родовой:
 Ты, окстися, —
 ведь ты же стреляешь
 в Мать,
 В свет поверх ее золотой головы!
 В сноп безумный!
 В колосьев ржавый пучок!
 В пляску резких,
 слепящих как омуль снегов!
 Ты стреляешь в Родину?!..
 Целься прямо в зрачок.
 Крови вытечет, Боже,
 без берегов.
 И не будет ни святых.
 Ни царей. Ни вер.
 Ни юродивых с котомками
 близ хлебных дверей.
 И я одна превращусь
 в револьвер.
 Изогнусь чугунно.
 Вздымусь острей.
 И буду искать дулом... —
 а все мертво.
 И буду искать дулом
 грудь... свою... —
 Но тяжелой черной стали
 шитво
 Не согнется ни в Аду,
 ни в запечном Раю.

Мне в себя не выстрелить.
 Волком вой.
 На ветру собачье горло дери.

 И свистит моя пуля
 над головой
 Живой земли,
 сверкающей изнутри.

 Это я — чугун!
 Я — красная медь!
 Я — железные пули
 нижу на нить!

 Впереди вас смерть.
 Позади вас смерть.
 Значит, Мать убитую
 мне хоронить.

Русская рулетка

Пули — бусы!
 Пули — серьги!
 Брошки — что креветки!...

Яркой я зимой играю в русскую рулетку.

Револьвер такой тяжелый... ах, по мне поминки?!.. —
 Я стою средь мерзлой снеди на Иркутском рынке.

Пули — клячи!..
 Пули — дыры!..
 Револьвер — в охалку.
 Пот течет по скулам дядьки с-под бараньей шапки.

Револьвер — такое дело. Я стреляю метко.
 Что ж ладонь вспотела солью, русская рулетка?!..

Стынет глаз бурятки медом. Стынут глыбы сливок.
Стынет в царских ведрах омуль. Кажет ель загривок.

Янтарями — облепиха!
Кровью — помидоры!
Ах, оружие, ласка, лихо русского задора!

Гомонят подтало бабы, щелкая орешки.
Я для публики — монетка: орел или решка?..

Жму костями плоть железа. Руку тянет холод.
«Ну, стреляй!..» — вопят мальчишки. Крик стучит
как молот!

И, к виску подбросив руку, пред вратами Рая
Я на вечную разлуку так курок спускаю,

Как целую зиму в губы! В яблоко вгрызаюсь!
Как — из бани — в снег — нагая — Солнцем умываюсь!

Жизнь ли, смерть — мне все едино!.. Молода, безум-
на!..
Упаду на снег родимый — ракушкой-беззубкой...

Это — выстрел?!..
Я — живая?!..
Дайте омуль-рыбу!..
Дайте откусить от сливок, от округлой глыбы!..

Дайте, бабы, облепихи, — ягодой забью я
Рот!..

Как звонко. Страшно. Тихо.
Шепот: «Молодую...»

На снегу лежу искристом, молнией слепящем.
Умерла я, молодая, смертью настоящей.

Из виска текут потоки. Чистый снег пятнают.
Револьвер лежит жестокий. Настоящий, знаю.

А душа моя, под небом в плаче сотрясаясь,
Видит все, летит воздушно, чуть крылом касаясь

Тела мертвого и раны, баб с мешком орехов,
Мужиков, от горя пьяных — в ватнике прореха,

С запахом машинных масел пьяного шофера,
С запахом лисы и волка пьяного Простора... —

Вот так девка поигралась! Вот так угостилась!..
Наклонитесь над ней, жалость, радость, юность,
МИЛОСТЬ...

Наклонись, дедок с сушеной рыбкой-чебаками:
На твою похожа внучку — волосом, руками...

Гомон! Визг вонзают в небо! Голосят, кликуши!
Я играла с револьвером — а попала в душу.

И кто все это содеял, весь дрожит и плачет,
На руки меня хватает во бреду горячем,

Рвет шубейку, в грудь целует, — а ему на руки
Сыплются с виска рубины несказанной муки;

Градом сыплются — брусника, Боже, облепиха —
На снега мои родные, на родное лихо,

Да на револьвер тяжелый, на слепое дуло,
Что с улыбкою веселой я к виску тянула.

Это смерть моя выходит, буйной кровью бьется,
Это жизнь моя — в народе — кровью остается.



Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ШАГАХ ОТ ВОЛИ

* * *

Ищу повсюду честь России,
Зову к ответу.
Проходит горечь и бессилье,
А чести нету.
Неужто мы ее спалили,
Как мышь в соломе,
В какой тюрьме ее растлили,
В каком Содоме?!

Орфей

Смысл испытанья слишком прям,
В нем нету никакой загадки:
Доверить всю тебя богам
Без размышленья, без оглядки.
Души неудержимый бег

В ЧЕТЫРЕХ ШАГАХ ОТ ВОЛИ

135

Сдержать, остановить, умерить.
Мое стремление к тебе
Незримым призракам доверить.
Ни разу взор не повернуть
К тебе, не дать свободу глазу,
Едва вступив на этот путь,
И до скончания. Ни разу.
Ту, в чьих глазах я жизни свет
Зажег в аидовом чертоге,
Беречь — не смей, любить — не смей.
Как это выполнить, о боги?!
В пути, где каждый шаг ползком,
В пути, где тропка нитью рваной,
Мне быть нельзя твоим мостком,
Щитом, защитой, охраной.
Где неизвестность щерит рот
И ждет на каждом повороте,
Освободили от забот —
Вы много на себя берете!

Краткая информация о ситуации в поэзии

Александр Еременко

Посреди пустынной залы
Александр сидел, скучал.
Слышит, путник запоздалый
Вдруг в окошко застучал.
Пушкин счастлив. Рысью к двери.
Говорит: — За честь сочту,
Я сейчас вам про Сальери
И про Моцарта прочту.
Мы с Наташей гостю рады,
Чай вам с сахаром иль без?
— На фига все это надо, —
Отвечал ему Дантес.

* * *

Одуванчик желторотый
 Не живи моей заботой
 Лучше спрячься, ляг в траву,
 Я пройду и не сорву.
 Спи в траве, мой одуванчик,
 Солнечный застывший зайчик.
 Ветер дует, гнется ель,
 Над тобой колдует шмель,
 Рассыпая по лицу
 Золотистую пыльцу.

* * *

Где плещет море голубое,
 За тоном изменяя тон,
 Постигнуть вечность тщатся трое
 Мыслителей — Кант, Маркс, Платон.
 Они исполнены значенья
 И думами отягчены,
 Ужасным времени вращеньем
 Они в коров превращены.
 И глядя на закат багровый
 И на прилива пенный кант,
 Стоят у моря три коровы —
 Карл Маркс, Платон и мудрый Кант.
 Хозяйки крик нетерпеливый,
 Платон и Кант пошли назад,
 И лишь один Карл Маркс бодливый
 Упрямо смотрит на закат.

* * *

Оказалось, что не воин, что не волен,
 Бледной немочью четвертый месяц болен.
 Вот иду за суетою, не за делом
 Предо мной покрыто поле снегом белым.
 Все покрыто пеленою снеговою,
 И такие же снега над головою.
 Мне б споткнуться, да остаться в этом поле,
 Затеряться в четырех шагах от воли.

* * *

Я в том бою, где не убьют,
 В сраженье, где детей наивней
 Ручьи по Тютчеву поют
 Победу над блокадой зимней.
 Снега чернеют там и сям,
 Но вражье лопнуло кольцо их —
 Уже весна в лицо лесам
 Зеленой дунула пыльцою.

* * *

Вот здесь, мы говорим уверенно,
 Вот здесь сошлись два рукава.
 До этих пор четыре берега,
 От этих пор их только два.
 Слиянье вод не схватишь взорами:
 Двух разных вод в одной реке.
 Сие есть действие, которому
 Нет слова в русском языке.
 Страсть узнают по очертаниям
 Того, что есть вокруг нее,
 По наслаждениям, страданиям,
 Нанизанным на острие,
 Вневременное, изначальное,
 Похожее на пустоту.
 Не зря колечко обручальное
 Внутри имеет пустоту
 И ночи в памяти стираются
 Все те, что были и случились
 И навсегда запоминаются
 Лишь те, которые не сбылись.

* * *

Нигде не написано ад,
 В разладе своем с небесами
 То место мы все наугад
 Находим без вывески сами.

Когда ночную темь итожа,
 Чуть-чуть затеплилась заря,
 Как оказались мы похожи —
 Два одиноких фонаря.
 За нами спал огромный город,
 Звала нас даль одних дорог,
 И одинаково был дорог
 Нас раскачавший ветерок.
 Одни в нас лампочки горели,
 Одною искрой нас зажгли,
 Но говорить мы не умели,
 Прийти друг к другу не могли.

* * *

Я жил, покуда не угробился,
 Желания не утоля.
 Спираль двойная, лента Мебиуса —
 Магнитофонная петля.
 Вот здесь конец с началом клеены,
 И дальше незачем кружить,
 А я-то, человек рассеянный,
 Лишь только собирался жить.
 Еще не знал, как это делают,
 Не пробовал, не начинал.
 Лишь только брал бумагу белую
 И карандашик очинял.

* * *

Он их встречал в морозном дыме
 Лет двадцать каждый день подряд.
 И был он замордован ими,
 И замурован был в квадрат.
 Он думал, что они навеки,
 А оказалось, думал зря:
 Нет улицы и нет аптеки,
 Канала нет и фонаря.

Маленькая поэма без названия

1

Хочу хоть раз постигнуть мир,
 А там весь век лежать в падучей,
 Хочу уверовать на миг
 В единственность своих созвучий.
 Но стих не передаст мечты,
 Быть может, смысл в напрасном тщеньи.
 Чем тоньше схвачены черты,
 Тем отдаленней воплощенье.

2

Я был в Зазеркалье,
 Я видел его —
 Холодная плоскость,
 Где нет ничего.
 И я это понял,
 И стал я нищей,
 Ведь мир это поле,
 Где нету вещей.
 Лишь поле, лишь плато,
 Лишь плоскость скольженья,
 Где время есть плата
 За воображенье.

3

Проклятье богу Эдисону
 За то, что он в избытке сил
 Свет животворный, свет зеленый
 В холодный мертвый превратил.
 Тот факт, что сплошь по белу свету,
 На каждые полета шагов
 Мы ставим виселицу свету,
 Лежит на совести богов.
 И богу Врубелю проклятье
 За то, что давши жизнь холсту,
 В восторге поиска он спятил
 И уничтожил красоту.

Но трижды проклят Иегова.
И если на земле суровой
Живут Изольда и Тристан —
Распните на Голгофе снова
За вивисекцию Христа.

4

Конечно наш Господь безбожник,
Поскольку Бога нет над ним.
Он беспощаден, как художник,
К произведениям своим.
И одержимый, словно Врубель,
Он сам не знает, что творит:
Нечаянно шедевр погубит
И вновь уже не повторит.

5

Не повторяются мгновенья,
И не научена рука
Запоминать прикосновенья,
Куда уносит нас река —
Недолговечных, как растенья,
Бесформенных, как облака.

6

Любовью мы ослеплены,
Но, если мыслить без пристрастья,
Нет времени и нет пространства,
И нечто, и ничто равны.
И танец бабочки живой,
Ребенка смех, людская бойня,
И сжатие объектов Хойла
Пустой покажутся игрой.
Вот жизнь тебе, бери, люби ее.
Но если нет в душе Христа,
Ученый скажет, энтропия.
Экклезиаст сказал, тщета.

7

Пусть ваш суд меня минует,
Здесь игра не стоит свеч,
Мою голову дрянную
Лучше так снимите с плеч.
Чтоб я сам скатился боком
За тюремный частокол.
А не то пустите с Богом,
Запишите в протокол:
— Из людей такой-то вы был.
Искупление грехов
В том, что он рабочий-кибер
Для создания стихов.

Анатолий Якобсон в Вене

К земле прижмет колеса,
И он уже не раб,
Он раньше стюардессы
Становится на трап.
И пальцами огромный,
свой раздирая рот,
В простор аэродромный
Он, как в трубу орет.
Через ступеньки смаху
Он прыгает, как бес
И посылает на хуй
Вождя КПСС.
Ах, Вена. Вена. Вена.
Свободная страна.
И воздухом свободы
Душа напоена
Па-рам, па-рам, па-рам...
Танцуют все евреи,
Пора. Пора, пора
По-Венски ставить время.
Потом его заполнит

Иная маята,
 Чтоб навсегда запомнить
 Вальс аэропорта.
 Всего одно мгновенье,
 Когда исчез разлад,
 И он был счастлив Вене
 И не хотел назад.
 Ах, Вена. Вена. Вена.
 Веселая земля.
 Разрезанная вена,
 Пеньковая петля.

Рецепт спагетти

Предельно прост рецепт спагетти —
 Сварить спагетти могут дети,
 Лишь знай о правиле таком:
 Не промывать сырой водою,
 Положено перед едою
 Обдать спагетти кипятком!
 Куда сложнее выбор сыра,
 Ведь сыр нам шлют все страны мира.
 Я как-то стал считать сорта
 Здесь за углом у нас в молочной,
 Хотел реестр составить точный
 И сбился, сосчитав до ста.
 Случалось мне в Универсаме
 Идти сквозь сырный ряд часами.
 Но как бы ни был ряд велик —
 От сыра ломаются прилавки,
 Сыры друг друга душат в давке,
 Как мы в троллейбусе в час пик.
 Здесь все цвета, все формы, виды,
 Шары, цилиндры, пирамиды...
 О, этот сырный коридор!
 Дали здесь нужен Сальвадор!
 Головок сыра окружение —

Причина головокружения,
 Но бьющий в ноздри аммиак
 Не означает в сыре брак,
 Рассольный, мягкий или твердый
 Пикантный, плавленый и тертый,
 Иль пахнущий, как шампиньон,
 Какой избрать для макарон?
 Ты любишь качио кавалло?
 Да, этот сыр у нас в чести,
 Его везде у нас навалом,
 И могут на дом принести.
 Пока пишу я эти строчки,
 Рассыльные из пищетошки
 Мальчишки, на манер галчат,
 — Берите качио! — кричат.
 Кавалло варят итальянки
 То в виде рыбки и баранки,
 То в виде головы быка.
 Ты не бери его пока.
 В его шафранно-желтом цвете
 Предательское что-то есть,
 И не годится он в спагетти,
 Сыр этот с пиццей надо есть.
 Не вздумай принести с Арбата
 Старофранцузский марали,
 Который любят аксельраты,
 А раньше ели короли.
 Он мшистой зеленью пронизан,
 Он жаждет быть тобой облизан,
 Он будет нужен позарез
 С кок-вен под соус борделез.
 Не вздумай также брать в азарте
 С рокфором схожий докаблю.
 Вонючий датский сыр хаварти
 Я просто с детства не люблю.
 Тебе предложат сыр риккота,
 Отказывайся наотрез —
 У женщин от него икота,
 А у блондинок — диатез.

Эдамский сыр и сыр зеленый
 Принять могли бы макароны,
 Но вряд ли станет есть любой
 Сыр с тригонеллой голубой.
 Вот, кстати, маленькая справка
 Про тригонеллу. Это травка,
 В зеленый сыр ее кладут,
 Чем сыру запах придают...
 Как всем известно, Мамонт Дальский —
 Друг Мельпомены, враг корон,
 Собственноручно эментальский
 Сыр натирал для макарон.
 Артист, противник власти царской,
 Так полюбивший сыр швейцарский
 Был, говорят, красив, как бог,
 Да сыр пошел ему не впрок.
 Он стал бандитом, кончил плохо —
 Виновна, видимо, эпоха —
 Так обстоятельства стеклись...
 Но мы от темы отвлеклись
 Пора прийти на помощь даме.
 Ты заблудилась в сырном храме,
 Где от сыров в глазах рябит...
 Что братъ — чешир или тильзит?
 Дать предпочтение мюцелле?
 Бакштейн? Мольбо? — Все мимо цели...
 Попасть в десятку — вот в чем соль.
 Я подскажу тебе, изволь.
 Известно всех земель гурманам,
 Запомни — это твой «сезам»:
 Дружны спагетти с пармезаном,
 Друг макаронам — пармезан!
 Спешите же срезать с сыра корки
 И натереть него на терке,
 Над теплым блюдом потрясти,
 И дух услышать пармезана,
 И в честь его поднять стаканы,
 Стаканы пенного асти!



Дмитрий БЫКОВ

ВЫКРЕСТЫ

еврейские олигархи и их обличители

Последнее время в центре внимания прессы, комментаторов, парламентариев и иностранных корреспондентов находится еврейский вопрос.

Собственно, находится он в центре внимания всех перечисленных категорий населения как минимум два тысячелетия, а то и больше, но теперь как бы все проблемы России отступили на задний план все перед той же пресловутой коллизией русских и евреев. Будущему историку небезынтересно будет знать, с чего все началось.

А началось все вовсе не с генерала Макашова, который усилиями Иосифа Кобзона вошел-таки в пятерку наиболее популярных политиков в стране, — а с обращения Эдуарда Тополя к Борису Березовскому «Возлюбите Россию, Борис Абрамович!» Этот причудливый текст был впоследствии совершенно забыт из-за макашовских высказываний, хотя именно он послужил своего рода стартовым выстрелом во всей этой двухмесячной баталии.

В России надо лишь в последнюю очередь задумываться о том, что написано в публицистическом материале. В первую надо спросить себя, кто это пишет и где публикует.

Послание Тополя появилось в «Аргументах и фактах», самой тиражной, читаемой и самой обывательской российской газете — обывательской, разумеется, не в смысле обилия пошлостей и общих мест, а по причине установки на обывателя как главного потребителя.

Особенностью же обывателя является отыскивание повсюду следов мирового заговора и страх ближайшей зимы. На этих двух вещах сыграл и Тополь.

Вопрос "кто" значительно интересней. С Макашовым все понятно. Тополь — фигура далеко не столь однозначная, но и далеко не столь последовательная.

В конфликте, скажем, Макашова и отдельных его обвинителей Макашов мне даже как-то симпатичнее, поскольку он человек с убеждениями (другой вопрос — какими). Тополь родился, вырос и сформировался в России, был вполне преуспевающим советским сценаристом и за свои патриотичные сценарии получал достаточно, чтобы вести жизнь веселую и праздную. Однако свободы ему не хватало, и он эмигрировал в США (после чего на полку лег праввернейший фильм "Юнга северного флота"). Там он открыл в себе политического романиста — а по всей вероятности, просто прочел Ладлэма и понял, что золотая жила находится тут.

Как все советские кинематографисты, Тополь был в курсе придворных сплетен. Это позволило ему накатать несколько политических детективов (первые — в соавторстве с другим беглецом, в прошлом следователем, Ф. Незнанским, а дальше он трудился уже самостоятельно).

Повторяемость сюжетных мотивов дала себя знать очень скоро, дважды Тополь под разными названиями и с незначительными добавлениями выпускал одну и ту же книгу, но одного у него не отнять: пишет он живо и увлекательно, ибо прошел хорошую школу сценарной, динамичной прозы.

Иногда он в своих романах предсказывал довольно очевидные вещи вроде августовского путча, иногда попадал совсем мимо реальности, но факт: именно Тополь может считаться основоположником жанра российского карманного политического романа (романы не карманные, к тому же в основном на зарубежном материале, у нас производил Юлиан Семенов).

Разумеется, в книгах Тополя страшное количество пошлостей и дешевки.

Разумеется, он один из откровеннейших поставщиков паралитературы, и даже на фоне всех наших Пашковых и Марининых он далеко не Лев Толстой, а скорее один из середнячков в этом мощном потоке.

Но несомненно также и то, что загадочные писатели вроде Льва Гурского (пером которого водит критик Роман Арбитман) вышли из Тополиного пуха, как из гоголевской «Шинели».

Этот-то поставщик довольно дешевого, но очень увлекательного чтения обращается с письмом к Борису Абрамовичу Березовскому. Он, видите ли, весной этого года собирал материал для романа об олигархах и под это дело встретился с Борисом Абрамовичем Березовским. И показалось Тополю, что Борис Абрамович не любит Россию, хотя и владеет ею, по строгому счету. Усмотрев тут противоречие, Тополь призывает БАБа Россию полюбить.

То есть с нею поделиться.

Раз уж вышло так, что сегодня — в который уж раз! — Россия оказалась в еврейских руках, нам надо сделать все, чтобы не случился новый холокост. То есть питаться этой страной нам следует так, чтобы ее не особенно разозлить.

Надо срочно отстегнуть ей — старикам и детям в первую очередь — от своих олигархических сверхприбылей. Вот с какими словами обратился Тополь к Березовскому, Гусинскому, Ходорковскому, Смоленскому и прочим ...ским, которые все, по его убеждению, евреи.

Когда еврей — сторона слабейшая и часто страдавшая — заговаривает об еврейском вопросе, от него

требуется двойная осторожность, чтобы не впасть ни в мазохистскую истерику типа «бедные мы, бедные», ни в страдальческую гордыню, ни в расчесывание язв; ни в предъявление бессмысленных претензий к русскому народу и его ментальности.

Если же речь заходит о еврейской вине, тут осторожность должна учетверяться, поскольку считается провинностями — дело совершенно безнадежное. А вы нашего Ленина... — а вы нашего Переца... — а вы у нас рассказывание... — а вы нам погромы... — а вы нам сделали революцию! — а храмы ваши тоже мы рушили?! —

нет, но вы нашего Христа...

Только рассмотрение вопроса в широком, действительно метафизическом контексте, как делается это у Розанова и Синявского, позволит обсуждать проблему без озлобленности, дилетантства, а главное — без очередных «окончательных решений еврейского вопроса».

Ибо при нормальном рассмотрении выясняется, что русские и евреи как таковые (а тем более конкретные русские и евреи, то есть старики, женщины, дети и пр.) ни в чем не виноваты, поскольку являются лишь подневольной персонификацией двух из века в век конфликтующих идей: русскую можно условно обозначить как соборную и государственническую, еврейскую — как индивидуалистическую и космополитическую.

Это до такой степени ясно и старо, что не требует долгих доказательств: человек либо не боится это признать, либо боится и прячется в казуистику. Тут все просто, — гораздо интереснее тополевские подмены.

Первая и главная подмена — мысль о том, что «мы опять владеем этой страной».

Вот уж не мы!

Нас тут осталось-то с гулькин хер, к тому же обрезанный. Другое дело — почему в России так много банкиров еврейского происхождения.

Как будто в той же России нету Таранцева или Евтушенкова, Новицкого или Сергея Михайлова, он же Михась!

Но допустим даже, что все банкиры, как и все шахматисты, — действительно евреи. А.Мелихов, отличный

питерский прозаик и социолог, вполне прав в своей статье «Накажите нас беспечностью» («Вечерний клуб» от 5 декабря 1998 г.), когда доказывает, что относительно новые профессии (адвокатская, ростовщическая, банковская) осваивались прежде всего безродным, космополитическим меньшинством.

Потому что профессии, связанные с ремеслами и с работой на земле, наследовались из рода в род и были собственностью клана, будь то клан стекольщиков или клан обувщиков. А вот часовщиками сделались уже евреи — с появлением в Европе механических часов.

Банкир — действительно еврейская профессия; во всяком случае, была таковой при своем зарождении.

Но сказать, что «сегодня вся власть в России принадлежит банкирам», — провокация куда опаснее макашевской.

У нас есть долгий и плодотворный опыт демонизации олигархов, которые действительно являют собою наиболее устойчивый миф послеперестроечной России. По всей видимости, прочность мифа связана с тем, что больше винить некого.

Раньше во всем виноваты были евреи и капиталистическое окружение.

Евреи либо разъехались, либо переквалифицировались в олигархи.

Олигархи — вообще самое заметное явление в сегодняшней российской действительности. Правительство, собранное по принципу лебедя, рака и щуки, не желает ссор внутри кабинета и потому не тянет вовсе никуда, то есть похвально бездействует; президент вот уже два года вообще как бы не существует; остаются богатые — ибо сделать в России деньги и удержать их способна действительно пассионарная и вдобавок умная личность, от моральных оценок которой я здесь намеренно воздержусь.

Наличие денег сегодня предполагает аморализм — хотя бы потому, что некриминальных способов их зарабатывания не осталось, тут уж государство постаралось.

Помните, как раньше, годы в семидесятые, принято было взваливать на интеллигенцию ответственность за то, се, пятое, десятое, — то есть громоздить на нее непропорционально огромный комплекс вины?

Один талантливый критик объяснил этот синдром весьма просто: раньше у нас были пролетариат, крестьянство и интеллигенция. Пролетариат и крестьянство сегодня в самом что ни на есть ничтожестве — остались управленцы и интеллигенция. А кто ж вам даст критиковать управленцев?

Правда, в середине восьмидесятых виноватой оказалась в очередной раз именно власть.

Пролетариату и крестьянству опять ничего не досталось.

Строго говоря, в России так и чередуются эти периоды: с двенадцати до двух виновата интеллигенция, с двух до четырех — власть, и так далее, пока не закроется лавочка.

Создается видимость истории и даже, как это называется по-умному, смены парадигм.

Виноват тот, кого удастся обвинить.

В сегодняшней России обвинить удастся только олигархов.

Они самая незащищенная категория населения — ибо самая заметная.

Мафия, например, защищена стопроцентно, поскольку ее практически не видно: срослась с теми, кто призван ее искоренять.

А олигарх — то есть крупный бизнесмен, пошедший в политику, — в силу своей социальной роли виден отовсюду. И оттого плодятся бесчисленные мифы о нем как о движущей пружине российской истории. Вернее, на миф о еврейском заговоре накладывается миф о том, что за деньги все можно.

В результате Березовский (весьма посредственный математик, как сказали мне профессионалы-коллеги, и весьма недалеким политик, как показывает вся российская история) вырастает у нас до главного действующего лица отечественной политики. Может, в бук-

вальном смысле так оно и есть: он — одно из самых действующих, то есть что-то делающих, лиц.

Но усматривать в его (или Гусинского, или Смоленского) действиях причину всех причин — значит не просто раздувать их масштаб, это бы еще полбеды, но и снова отводить глаза и стрелки от целого ряда истинных виновников. Именно этой цели служит (быть может — подспудно и бессознательно) материал Тополя.

Лично я получаю немалое удовольствие, читая современную политическую аналитику, которая давно существует в двух основных жанрах: «гадание на кофейном цвета гуще» (ибо достоверная информация просачивается в прессу лишь путем тщательно организованного слива) и «вы дайте деньги, я вам все устрою!».

Гадания гораздо интереснее, потому что в девяноста материалах из ста все события российской политической жизни выводятся из фигуры Березовского, его предпочтений и интересов.

Суперключевая фигура, зеркало времени, знак эпохи! Не защищаю его, но просто стараюсь низвести с пьедестала: он не все просчитывает, не все учитывает, не занимается круглые сутки интригой, дождь идет без его участия... (Интересно, что этот же тип мифологического сознания часто демонстрирует Лужков, замыкающий на себя весь остальной мир: продукты в Москве — благодаря ему, спорт, чистота, строительство — благодаря ему, хорошая погода — и то его рук дело!).

За последнее время делом рук Березовского называли: отставку Черномырдина, отставку Кириенко, возвращение Черномырдина, победу Примакова, гибель Старовойтовой (!!!), увольнение Юмашева...

Хорошо, когда есть в России человек, на которого можно спихнуть все. Раньше это был Чубайс, который в силу своей работы в РАО ЕЭС перестал быть сегодня «мелькающей» фигурой.

Березовского теперь можно называть главным, а может, и единственным мастером интриги; спонсором кремлевской семьи; фактическим хозяином нефти, Чечни, России...

Аналогичные версии регулярно озвучивает Коржаков, любящий евреев не меньше, а может, и больше Макашова.

И Тополь как автор, ориентированный на обывательское сознание, исходит именно из этого расклада: Березовский — мифологический персонаж, в ранге примерно Соловья-разбойника, и может быть как исчадием ада, так и союзником добра (пускай невольным). Естественно, никакой позитивной программы за призывом «Возлюбите Россию» не стоит: Тополь предлагает Березовскому и иным олигархам щедрее благотворительствовать и меньше светиться.

Его бы воля, он бы предложил евреям вообще не показываться, чтобы никого не раздражать.

О том, как может раздражать он сам своей книгой «Россия в постели», мелким тщеславием и более чем характерной внешностью, — основоположник покет-жанра не задумывается.

Поскольку призыв перестать светиться вряд ли окажет действие на Березовского (и даже сам Тополь вряд ли думает, что, прочитав его статью, все олигархи пойдут раздавать капиталы неимущим), — смысл у статьи остается один: переводческий.

В смысле перевода стрелок и навязывания стране дискуссии по национальному вопросу. Троцкий, помнится, всё партии их навязывал, откуда и пошло выражение «п..., как Троцкий».

Очень может быть, что окажись Россия действительно в руках олигархов — и в ней стало бы меньше тупых, неимущих и неприкаянных людей: как-никак, олигархи люди неглупые и позаботились бы о том, чтобы мирно договориться с Чечней и вообще не озлоблять электрот до последней точки.

Но увы — реальные масштабы собственности и влияния олигархов куда меньше, чем мечтается беднейшим слоям российского населения. В сегодняшней России полно сил и кланов, куда более могущественных, чем Березовский, — но вышло так, что эти силы как раз стоят на противоположных идейных позициях.

Как тот же Таранцев, например, заказывающий Александру Дугину геополитические проекты развития России в XXI веке.

Кто такой Дугин — объяснить мудрено: в принципе это эклектичный и на мой взгляд дурновкусный последователь Юнгера, начитавшийся книг по оккультизму и вообразивший себя крупнейшим геополитиком Старого и Нового света, чтоб не сказать: того и этого.

Он охотно манипулирует словами «ось», «блок», «цикл», рисует диаграммы, предрекает новую эру титанов...

Весь этот дешевый магизм пользуется огромным успехом у писателей типа Проханова и читателей типа Таранцева. Большими патриотами являются и Евтушенков, и Лисовский — ныне союзник московского мэра.

Исторически сложилось так, что разбогатели в России именно носители либеральной идеологии. Вся жизнь тут были богаты чиновники, имперская номенклатура, сторонники жесткой государственности, даже и капиталисты в массе своей были надежными столпами престола, — но вышло так, что в какой-то момент возобладали оттепельные ценности.

Либералы и те, кто их поддерживал, озолотились молниеносно. Так банальный передел собственности обрел идеологические, а потом и национальные черты: тем, кого оттеснили от корыта, ничего не оставалось, как выступить под лозунгами православия, народолюбия, истинной духовности... Плевать им на самом деле, еврей Березовский или нет. Просто его вознесла перестройка, а других не вознесла. Но признать, что борьба с Березовским имеет столь прозаический, беспредельно-переделский характер, — никто не осмелится.

Срочно рисуется схема: олигархи грабят народ, к тому же они евреи (как будто русские олигархи не грабили бы). Если бы Березовский был беден, никто и не вспомнил бы, что он еврей.

Статья Тополя (и дискуссия вокруг нее) как раз этим оттесненным и служит, их интересы выражает. Национальный вопрос для сегодняшней России абсолютно

неактуален, как неактуален и спор о либеральной или государственной экономике.

Лишь прихотью истории можно объяснить тот факт, что новая номенклатура воспользовалась для воцарения лозунгами либерализма, свободы печати и прав человека.

На самом деле за власть, как обычно, борются равно преступные и равно циничные люди, — но свобода оказалась в заложницах у одной из группировок. Ею прикрываются в перестрелке.

На этом фоне Березовский является еще далеко не худшим вариантом, ибо некоторыми убеждениями он все же обладает.

Права человека не пустой звук для него. И уж если выбирать меж двумя «отрядами бандитов» — я все-таки выберу тех «бандитов», которые разделяют мои убеждения.

Обидно только, что — не дай Бог, конечно, — в случае всероссийского погрома и раскулачивания мне за них тоже достанется, хотя мне очень мало накопили строчки. Это трагедия наша, что мы вынуждены быть союзниками олигархов. Но эти олигархи думают, как мы.

И мы — вынужденно — с ними. Потому что их противники много хуже.

Есть в статье Тополя еще один нюанс, о котором я не побоюсь сказать особо: с какой бы, собственно, стати Борис Абрамович должен возлюбить Россию?

Кто сказал, что он ее не любит больше, нежели сам Тополь?

Судя по действиям Березовского, он Россию именно любит, потому и пытается укрепить и расширить в ней свое влияние. Ему представляется, что Россия, в которой будут меньше кичиться собственной дикостью и перестанут кивать на Лукашенко как на пример удачливого хозяйственника, только выиграет.

Так что его деятельность и есть до некоторой степени проявление любви к Родине — не то б давно плюнул он на российскую политику и наживал себе капиталец по-другому и тихо.

И возлюбить Россию в его случае — значит не раздать имущество и не уйти в монастырь, а именно продолжать в том же духе.

Что до грядущего развешивания на фонарях, которое нам так часто обещают и погромщики, и перепуганная интеллигенция, — спешу успокоить: евреев будут развешивать и так.

Вне зависимости от того, были они олигархами или не были. Лучше уж помирать за дело — все не так обидно.

Как видим, хваленая смелость тополевской статьи — смелость человека, подтвердившего общеизвестное и сыгравшего на больном вопросе.

И само муссирование этого вопроса — сначала Тополем, потом Макашовым, потом Кобзоном, потом всеми СМИ — преследует все ту же цель: отвлечь страну от реальных опасностей, которыми она сегодня окружена.

Конкретные цели у каждого свои: НТВ, например, постоянно тиражируя и раздувая макашовские высказывания (а он такие перлы выдает на гора раз в две недели), решает конкретную задачу вбивания клина между коммунистами и Лужковым, который негласно, но вполне твердо готовился блокироваться с Зюгановым.

Личные задачи Тополя не в пример скромнее. Он либо делает себе паблисити, либо всерьез напуган полеванием нашего общества и отмазывается на случай гипотетического погрома.

Это стандартное поведение выкреста, а выкресты ни у кого восторга не вызывают.

Остается понять последнее: почему еврейская тема так живуча?

Да потому, видимо, что вопрос об отношениях государства и личности (к которому, собственно, и сводится русско-еврейская коллизия) надо заново решать на каждом новом этапе российской истории.

Советская власть решала его по-своему, застойная — опять-таки по-своему, перестройка было сняла, новый застой вернул, а сегодня доказать свою лояльность к

евреям (и к Западу) спешит отечественный криминалитет — единственная реальная сила в стране.

От нее-то и отвлекают наше внимание бесчисленные сторонники и противники генерала Макашова.

Криминалитет к еврейскому вопросу безразличен, как и к коммунизму, и к фашизму: преступность интернациональна и внеидеологична.

Это-то и есть самое страшное, что мы вступаем в мир, где ни наши убеждения, ни наши принципы, ни даже национальность — последнее прибежище личности — не имеет значения.

Но чтобы сказать об этом, зафиксировать этот новый слом времен и посильно противостоять ему, — надо быть не Тополем.



Андрей НУЙКИН

К ЗИЯЮЩИМ ВЕРШИНАМ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Об истоках тирании уходящего века

Надоело писать про болезни Ельцина, наглость Жириновского, самодовольство Зюганова и красноречие Явлинского. Хватит описывать детали фасада, пора задуматься, чем в доме люди живут! Право слово, ностальгия овладевает по брежневскому застою, когда мы, гнилые интеллигенты, передавали друг другу из-под полы Солженицына и Сахарова, спорили до хрипоты об Эйнштейне и Хайдеггере, мучительно пытались понять, что происходит с миром по Джиласу и Расселу... Дураками были! Надо-то было изучать принципы построения финансовых пирамид, способы ухода от уплаты налогов, каналы подкупа должностных лиц и прочие жизненные вопросы. Как это делает, по примеру новых русских, новая интеллигенция.

Выросло уже несколько поколений молодежи, в руки ни разу не взявших книг Солженицына, которым не

интересен Гроссман, которых «Отгадай мелодию» трогает куда больше, чем «Реквием» Ахматовой. Думаете, интеллектуальная жизнь от этого затухла? Ни в коем случае! О вышеупомянутых рептилиях, правда, речь и заводить смешно. Бытие новых поколений помогают осмысливать новые властители умов — Минкин, Комиссаров, Елена Ханга. Пытливая мысль и раскрепощенный дух безусловно пытаются при этом подняться на новые высоты, одолеть неведомые прежде рубежи. Недавно генерал Гуров, исследовав эти мысли и этот дух, обнаружил: «Сегодня мы отмечаем, что практически все поддерживают введение самых жестких, чрезвычайных мер. Другими словами, народ-обыватель голосует за диктатуру...»

Чтобы не отставать от такого рода новейших веяний и исканий, я решил представить читателям статью, полную устаревших забот и отсылок к вышедшим из моды авторитетам. Отдавая себе отчет, что если кто и прочтет ее до конца, то это будут отжившие свое старички с трехсотрублевой пенсией на банковском счету. Правда, могу пообещать, что со временем выскажусь и по нашей «текущей политике». Течет ведь любая политика в конкретном времени и реальном пространстве, так что если попробовать ее осмыслить на фоне более широких мировых процессов, то, глядишь, и происходящее сегодня куда более понятнее станет.

Болезненные прозрения

За последние годы былой героико-трагический ореол XX века полинял очень сильно, обнажив его ранее мало замечаемые глупость, балаганность, фарсовость. Один за другим народы мира стряхивают с себя непонятное наваждение, под воздействием которого они десятилетиями беспрекословно подчинялись жалким злым ничтожествам. И не только подчинялись, но боготворили их, преклонялись перед ними. Мы удивляемся сами себе: где были наши глаза? Куда девался наш разум? Зато теперь, наконец, мы во всем разобрались,

теперь нам абсолютно все ясно: и с прошлым, и с настоящим, и с будущим! И со Сталиным все ясно, и с Марксом, и с Кашпировским...

А по стране маршируют со свастиками на рукавах и знаменах, обучаются рукопашному бою, составляют расстрельные списки. А «аграрии» требуют вернуть Дзержинского на постамент и в души чекистов. А избиратели почти две трети мест в парламенте отдают наследникам Ленина-Сталина-Макашова. А...

Нет, рано уверять себя, что мы разобрались со своими недавними безумиями, возвысились над прошлым, покончили с ним. На мой взгляд, мы еще только-только приступаем к его осмыслению, и давайте делать это без глупой самоуверенности, внимательно вдумываясь в факты, свидетельства и аргументы тех, кто жил, страдал и думал в ходе этого самого «прошлого», то есть до нас, и только поэтому кажется нам менее умным.

Мне, шестидесятнику, тоже хотелось бы высказать несколько соображений, связанных с обозначенной темой. Соображений не о национальном своеобразии тиранов (советский вождь Сталин, немецкий фюрер Гитлер, итальянский дуче Муссолини, китайский кормчий Мао, африканский людоед Додо...), и не об индивидуальной неповторимости каждого из них, и не о технологии захвата или удержания диктаторской власти... Век завершается и требует эпитафий более всеобъемлющего характера. Ведь если просто описать все, что происходило в нашем веке, то он невольно станет смотреться как некоторый конечный продукт предыдущего развития человечества, и тогда ничего другого не останется, как стать безнадежным пессимистом и мизантропом.

Оказалось, например, что почти все революции, мятежи и перевороты века — это не акты народного волеизъявления, утверждения свободы, равенства, братства, во имя которых приносились неисчислимые жертвы, рекой лилась кровь, совершались подвиги и преступления, а лишь результат грубого жульничества и наглой узурпации.

Выяснилось к тому же, что если даже незначительная кучка политиков и генералов во главе с нахальным лидером, манипулируя классовыми или национальными лозунгами, умело выберет заговорщическую тактику, она почти наверняка сумеет захватить власть. А если будет потом достаточно цинична и беспощадна к народу, то и надолго удержит ее в руках. Важно только самим вождям не поверить в те наивные, благородные лозунги и принципы, которые сочинялись ими для доверчивой публики или мирового общественного мнения.

«Учение всесильно, потому что верно...» Смешно и грустно читать такие гордые заявления после знакомства с историей XX века. Вот как итальянские политологи Курцио Малапарте и Иньянцио Силоне объясняют победы Сталина над всеми соперниками, которые тоже не боялись крови и не были дилетантами в политических интригах, но... слишком уж сами себя стреножили все-сильными учениями: «Он был терпелив и скрупулезен, лишен иллюзий и скуп на слова, его сила крылась в его презрении к индивидууму, в отсутствии принципов и угрызений совести... Он не смог бы внушить уважение, не обладай определенным чутьем, прирожденным умением плести интриги и создавать энергично и хладнокровно действовавшие шайки. Он с легкостью откладывал принятие неприятных решений, разъединял опасных врагов и обходил препятствия, когда же появлялась возможность быстро нанести удар и уничтожить, его ничто не могло остановить...»

А мы все про идеи, которые становятся все-сильными, овладев массами. Массами же овладевают, как показал XX век, пройдохи, ловкие манипуляторы лживыми словами, а все-сильными при этом становятся не идеи, а ГПУ, гестапо и прочие виртуозы ночной политики. Оказалось, демократические институты, гуманистические идеологии, структуры интеллектуального обеспечения общества при столкновении с циничными захватчиками власти (путчистами и т.д.) жалко пасуют, теряются, проигрывают по всем статьям и с постыдной легкостью идут в услужение тиранам и узурпаторам.

Оказалось, что и у самих народов, запас нравственной и интеллектуальной прочности, способность к самоорганизации и умение защищать свои высшие интересы поразительно мизерны. Так легко, получается, народ обдурить, разобщить, запугать, растлить, купить за стеклянные бусы и зеркальца, что одно это способно вогнать философов в меланхолию навсегда. И что особенно оскорбительно — чем глупее, невежественнее, циничнее и кровожаднее тиран, тем легче он приходит к власти, тем больше у него шансов стать объектом обожествления, бескорыстного (даже жертвенного) преклонения со стороны масс. Притом это начинает выглядеть как некое извечное и неистребимое свойство человеческой природы вообще, как природная порочность психики, в которой жажда тиранства неотделима от стремления к рабству и покорности, а потребность унижать и мучить соседствует с умением находить сладость в собственной униженности и холуйстве.

Факты жизни и исторические документы века, увы, способны укрепить в подобной безнадежной трактовке человеческой природы, законов бытия, вопреки гуманистической традиции винить всегда и во всем сильных мира сего и непременно жалеть, проявлять снисходительность к слабостям простого маленького человека. Снисходительность к глупости всегда дорого обходится умным. И жалеть бериевского чекиста, мочившегося на седую голову подследственного поэта или профессора только потому, что чекист этот малограмотен, как-то не хочется. То, чему мы были свидетелями в XX веке, к сентиментальной расслабленности не располагает и дает вполне достаточно оснований для пессимистической оценки понятий: человек, история, прогресс, интеллигенция... Вполне достаточно! И все же что-то мешает окончательно примириться с этой очевидностью. Говорят: с фактами не поспоришь. Но очень хочется поспорить. Вот только получится ли? Шансов, конечно, не много, тем не менее рискнем. А для начала задумаемся над некоторыми глобальными загадками нашего много-страдального века.

Рецидив озверения

Век этот, как никакой другой, вправе именоваться кровавым. Вместо библейского «не убий!» на скрижалях его крупно начертано именно «убий!». И убивали все, кому не лень, десятками миллионов, без колебаний, со спортивным азартом. Как такое понять? Ведь XX век, вроде бы, — вполне законный преемник и наследник всех гуманистических открытий Возрождения, всех интеллектуальных высот Просвещения; его учителями и наставниками были гениальные философы и писатели XIX века, пламенно и, казалось бы, успешно, проповедовавшие добро, милосердие, терпимость, любовь... Разве одно только появление Льва Толстого не свидетельствовало, что человечество совершило переход в какое-то новое качество, новое состояние, из которого нет пути назад — к бессмысленной жестокости, к дикости, озверению, тиранству?.. А научный и технический гений сделал людей этого века к тому же очень сильными. Сильным же полагается быть добрыми... И вроде бы вступили люди в наш век более цивилизованными, более милосердными, чем их предки. Повсеместно росло самосознание масс, организованность, грамотность... Что же отбросило их на рубежи нового одичания?

Идеи радикального социального переустройства, утопические мечтания о рае на земле, о всеобщем равенстве, справедливости, изобилии, торжестве законности, порядка? В последнее время модно стало обосновывать главные беды века увлеченностью красивыми утопиями. Но почему вдруг красивая мечта, без которой люди, как известно, жить не могут, да и не жили ни в одной эпохе, именно в XX веке оказалась способной обрести столь негативный, даже роковой характер? Добрыми намерениями, конечно, дорога в ад вымощена. Но разве в рай чем-то другим? Так может быть, то, куда мы направляем ноги, важнее того, чем вымощены мостовые?

Что же все-таки вызвало взрыв жестокости в XX веке, своеобразие его тиранов и диктатур? В одном из ком-

ментариев к работам Камю вина за ужасы века возлагалась на первую мировую войну: «Тоталитарные режимы появились в Европе в итоге первой мировой войны, которую ни в малейшей мере не подготавливали ни Маркс, ни все перечисленные Камю метафизические бунтари, поэты, анархисты. Моральные и политические принципы европейской цивилизации рухнули в траншеи войны. Не будь этой войны, Гитлер остался бы неудачливым художником-копиистом. Муссолини редактировал бы газеты, о Троцком и Сталине можно было бы прочитать лишь в примечаниях к какому-то чрезвычайно дотошному труду по истории рабочего движения».

Что и говорить, войны и революции расцвету добродетелей не способствуют! Многое в нашей истории могло быть иным, если бы Европе удалось избежать той войны. Но избежав ее, как бы не втянулась она в другую, ничем не лучшую! И можем ли мы быть уверенными, что если бы Гитлер остался мелким копиистом, его место не занял бы мелкий музыкант? И какой-нибудь Чугунов-Булатов тоже мог оказаться маньяком, ничуть не менее кровожадным, чем Сталин...

И еще. Тираны Китая, Кампучии, Ирака к первой мировой войне имеют весьма отдаленное касательство. Отчего же их тирании столь похожи на те, что сформировались в результате войны?

Человечество, насколько глубоко ни загляни в историю, только тем и занято, что воюет, и моральные его принципы для того в частности и формировались, чтобы люди не впадали за подобные периоды в полное озверение. А вот в XX веке почему-то все эти принципы (и в Европе, и в Азии, и в Африке) оказались попранными с легкостью невероятной. Может быть, и сами-то войны века — плод более глубоких, чем обычно, процессов, сделавших массы людей, целые народы (а не просто правителей и военных) столь агрессивными, а мораль столь хлипкой?

В этом отношении вряд ли было бы разумным не воспользоваться исследованиями истории общественного сознания (философские искания, психология бун-

тарства, революционные теории и т.д.), проведенными Альбером Камю в книге «Человек бунтующий». Вывод его — праведное, жертвенное, революционное бунтарство, бывшее поначалу законным ответом на угнетение, жестокость и несправедливости правителей, постепенно переродилось в «шигалевщину», оправдывавшую любую подлость, любой террор, любое циничное использование реально живущих людей во имя счастья и свободы будущих абстрактных поколений.

Думается, человечество, подводя итоги подлового XX века, обязано рассмотреть эту концепцию, произвести тщательную ревизию многих дорогих сердцу философских и социальных учений, теорий, убеждений. Даже самых отвлеченных и оторванных от социальной практики. Могут ли Маркс или Ницше отвечать за невежество и наглость Гитлера и Сталина, шулерски воспользовавшихся их идеями? В принципе, конечно, не могут, иначе мы сами скатимся к логике Вышинского с его знаменитым принципом «идейного соучастия» как основания для расстрельного приговора. Но мы ведь не трибунал готовим для неугодных мыслителей, а дальние связи явлений улавливаем. С правовой точки зрения судить физика, неумышленно вооружившего агрессора оружием массового уничтожения, мы не вправе. А с нравственной? Разве не обязан он был подумать, приближаясь с молотком и зубилом к атому, к каким кретинам и вурдалакам с неизбежностью попадет в руки его изобретение и чем может обернуться для ничего не подозревающих жителей многочисленных Хиросим? То же и социальными учениями. Тут я полностью присоединяюсь к позиции А. Камю: «Ни Маркс, ни Ницше не одобрили бы деяний своих «учеников», но из их теорий можно было сделать пригодные для новых цезарей выводы, тогда как из этики Канта или Толстого, политических теорий Локка или Монтескье необходимость массовых убийств не вывести».

В мысль эту стоит вдуматься. Автор любого социального учения обязан сам заранее позаботиться, чтобы не позволить спекулянтам и негодям превратно или хотя

бы неточно интерпретировать его во вред человечеству. Каким образом этого могут и должны достигать революционные учения? Отторгать безусловно, в принципе насилие, как это стало почти обязательным в нынешнем общественном мнении? Но это значит отвергать в принципе любое бунтарство, всякие мятежи против насилия и революционность как таковую, независимо от условий, где они проявляются. А ведь хотим мы того или нет, но необходимость в насильственном свержении диктаторов и тиранов будет, судя по всему, существовать еще долго... Впрочем, если присмотреться, ни одна серьезная социальная система пока что насилия как такового отвергать не берется, правовые системы — тоже. Попытки строить общественные отношения на основе только лишь благих сентиментальных дамских мечтаний — это подарок тиранам. Но, думается, между такими, в общем-то бесспорными теоретическими постулатами о неизбежности в обществе насилия и практическими рекомендациями всякий раз должен вставать надежный нравственный фильтр, не позволяющий серьезным теориям становиться удобной ширмой для любых Шигалевых (напомним — «Бесы» Достоевского) и Нечаевых. В трудах Камю тонко прослежено на историческом материале, как настроения праведного гнева, жажда заслуженного возмездия, мечта о справедливом устройстве общества, готовность пожертвовать своей жизнью ради счастья других породили революционную теорию, объясняющую вполне убедительно, что насилие покорностью не одолеть, что добровольно от власти и неправедного богатства никто не откажется, что угнетенному люду нужно сплачиваться, организовываться, вооружаться и силой утверждать свободу, равенство, братство. Борьба эта суровая, беспощадная, трудная, но цели ее столь благородны, величественны и святы, что ради достижения их стоит идти на любые жертвы. Конечная неизбежная победа окупит их сторицею.

На любые?! Вот где и должен вставать мощный фильтр совести, попытки обойти который с неотвратимостью рано или поздно перерождают любые возвышенные цели

в свою противоположность. Ни в марксизме, ни в ленинизме такого фильтра не оказалось. Более того, революционная «целесообразность» открыто, без колебаний была поставлена во всех случаях выше совести.

Вначале — иносказательно, в форме абстрактного философствования о релятивности, исторической и классовой обусловленности критериев нравственности: «У республиканца иная совесть, чем у роялиста, у имущего иная, чем у неимущего, и у мыслящего — иная, чем у того, кто неспособен мыслить». (К. Маркс); потом — напрямую, как требование наплевать на этот буржуазный предрассудок, только мешающий пролетариату отстаивать свои законные права: «Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем... Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата» (В. Ленин).

Ну, а если так, то в условиях жестокой классовой борьбы (ведущейся военными методами, когда смысл происходящего и от врагов, и от публики должен держаться в тайне) определить, что нравственно, а что нет, способен только командир, руководитель, вождь, располагающий всей информацией, а потому он и вправе снимать нравственную ответственность с рядовых членов организации за их поступки. И чего тогда упрекать Нечаева за бесчеловечность его «Катехизиса революционера»?

«Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни даже имени. Все в нем поглощено единым, исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью... Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, любви, благодарности должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела... Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что мешает ее достижению». В этом вот

отказе от нравственности и состоит нравственность революционера, его высший долг перед обществом.

Предложение Петра Ткачева уничтожить в ходе революционных преобразований России все ее население старше двадцатипятилетнего возраста (ввиду неспособности уже сформированных нехорошим строем людей к восприятию новых социалистических убеждений и привычек) тоже придется признать с этих позиций вполне «нравственным». Действительно, ведь воспитать легче, чем перевоспитывать.

Не этой ли моралью руководствовался Сталин, уничтожая целые классы, мешавшие своей косностью планам быстрого перехода ко всеобщему счастью? Так — путем несложных опосредований из невинного (вполне соответствовавшего великому научному лозунгу «подвергай все сомнению!») предположения, что единой общечеловеческой нравственности нет, можно вывести и сталинизм, и маоизм, и полпотовщину, и хусейновщину, и что хотите...

Стало быть, все-таки не Первая мировая война вызвала к жизни преступные, тоталитарные режимы XX века, а революционные теории (в частности — марксизм), взятые на вооружение людьми, которые вложили преступный смысл в понятие «революционной целесообразности»?

Эти противные подростки!

На этой формуле можно было бы и завершить наше маленькое исследование, если бы не главная особенность тиранических режимов XX века, не объясняемая ею. Злодеев-правителей, кровавых тиранов, вакханалий жестокости было вполне достаточно в любом из предшествующих веков. Сплошь и рядом опорой и орудием тиранов становятся не эксплуататорские классы, как учил марксизм, а люмпены, деклассированные элементы, плебс. «Я считаю демократической глупостью предположение, что тирания всегда является результатом заговора высших классов общества против народа.

Напротив, античные тираны, даже если сами и не были плебейского происхождения, всегда опирались на плебс... Также, как и любая другая авторитарная власть», — говорит персонаж книги бывшего итальянского коммуниста И. Силоне «Школа диктаторов». С ним трудно не согласиться, но... Откуда же в Италии, Германии, России, Китае, Камбодже, Ираке и т.д. появилось сразу столько люмпенов и деклассированных элементов?

Страны эти на 99 процентов состояли из вполне «классированных» — трудолюбивых, нравственно здоровых, занятых своим делом — людей. И вдруг... В tomto и дело, что в XX веке кровавые антинародные тираны не на кучки плебса опирались, а на сам народ: на крестьян, рабочих, предпринимателей, интеллигентов! Что же за психоз на всех на них напал? Все (почти все) население целого ряда стран стало неизвестно почему вдруг жестоким, глупым, трусливым, горячо влюбилось в вождей и палачей, на лицах которых невооруженным глазом легко заметить отчетливые приметы дебильности и вырождения. Философы и идеологи социализма так их оболванили? Но толпа философов и идеологов не читает. Она слушает лишь примитивный бред полуграмотных проповедников, которые и без Маркса ни застенчивее, ни умнее не стали бы. Почему же трудящиеся, за многие тысячелетия истории выработавшие свои стойкие представления о добре и зле, о дельных людях и зловердных болтунах, смутьянах, не раскусили, как это бывало обычно до того, этих провокаторов, не отгородились от опасных проповедей спасительной стеной неприятия, подозрительности, враждебности? Откуда у народа взялся самоистребительный политический фанатизм?

«Как объяснить, что фашизм и большевизм сохраняют миллионы последователей, несмотря на то, что они пролили столько крови: этот вопрос означает, что тайные запросы народной души просто не поняты», — вот вопрос, который давно мучает социологов. Объяснения, откуда у народной души появились столь странные запросы, найти не так-то просто, хотя, думается, сегод-

ня для выработки ответов жизнь накопила более, чем достаточно.

«Писарев, теоретик русского нигилизма, считал, что самые ярые фанатики — это дети и юноши». Любопытное наблюдение, не правда ли? Только при чем тут все-таки дети, юноши и подростки? Однако, если хорошо подумать, то очень даже при чем. И не только в их собственном поведении тут дело. Важна сама модель подросткового поведения, подростковой психологии.

Философ Э. Соловьев в одной из статей писал: «Особенностью первой мировой войны (ее отличием от войны, которую гитлеровская Германия начала в 1939 году) было то, что капитализм развязал ее, еще не выносив «человека войны», равнодушного насильника и убийцу».

Увы, «равнодушных насильников и убийц» во все времена встречалось более чем достаточно. Так что загадка в другом — как Гитлеру удалось почти всех сделать в своей стране такими? Тут сравнение двух мировых войн дает для раздумья богатую пищу. Основную массу солдат первой мировой составляли представители «традиционной культуры», то есть темные, забытые, патриархальные крестьяне, из-за политической индифферентности не способные испытывать героическое воодушевление к «прогрессу», «цивилизации», «отечеству» и прочим абстракциям, несколько позже взятым на вооружение шовинистами разных мастей и народов. Оторванные от земли, они чувствовали себя чужими в этом безумном мире, находясь в состоянии спасительной (пассивной) оппозиционности ко всякой идеологической шумихе. В жизненной позиции они предпочитали полагаться на свой житейский здравый смысл, на древнейшие нравственные инстинкты, такие, как сострадание, отвращение к убийству, недоверие к новому, чужому, не проверенному опытом предков.

Окончание первой мировой войны связано в Европе и Америке не только с промышленным бумом. Растут благосостояние, комфорт, увеличивается свободное время. Но не стоит упускать из виду еще один «бум». В эти годы быстро ликвидируется неграмотность, становятся дос-

тупными и популярными кино, театры, дансинги, клубы, быстро растет аудитория у газет, журналов, радио.

На смену неграмотности приходит *полуобразованность, недокультурность*. Несерьезно было бы начать на этом основании поэтизировать невежество или обреченные жизнью консервативные формы быта. Просто надо осознать, что путь народа от традиционной культуры к «развитой» не так прост и благостен. Переходная стадия полукulturности таит в себе бездну опасностей и катастроф. Это «подростковый» возраст народа. Возраст, как известно, весьма противный, чреватый всякими непредсказуемыми взбрыками. Пробуждение самосознания и активности, сочетающееся с полной неопытностью, легковёрностью, отсутствием здорового скептицизма по отношению к легким решениям трудных задач, исчезновением доверия, даже проявлением высокомерия и презрения к традициям и опыту предков... Все это позволяет ловким «взрослым» с одинаковой легкостью превращать подростка и в самоотверженного, благородного альтруиста, и в фанатика-изувера (вспомним слова Писарева), и в циничного, бессердечного делягу.

Давно установлено: учеба — великое благо, но недочка гораздо опаснее просто неученого. Приобщение к элементарным научным знаниям переворачивает сознание неграмотного человека. Оказывается, что почти все раньше он понимал «неправильно», доверие к бесценному житейскому здравому смыслу, к опыту и традициям предков у него становятся подорванными. Проверить полученные в готовом виде выводы и советы ему не позволяет малый багаж знаний, опыта и аналитических навыков. Это рождает фанатичную веру в кого-то, кто все знает, все умеет, все может: среди таких фантомов оказываются ученые, гении, религиозные пророки, вожди, мудрые машины и вообще — кто угодно.

Пробуждается интерес к политике, стремление принять личное участие в ней. Все это закономерно и отраднo само по себе. Придет подлинная культура — появится на новом уровне, кроме знаний как таковых, и

уважение к здравому смыслу, к опыту предков, к собственной социальной и нравственной интуиции. Но беда в том, что вожди, политики, а особенно — политики меньше всего заинтересованы в глубокой, настоящей культуре народа, всеми средствами они растягивают стадию народной инфантильности. Для правящих классов, кланов и хунт она ведь самая удобная. Для тиранов — самая любимая.

Полуграмотное население очень внушаемо. Именно поэтому школа, пропаганда) газеты, радио, телевидение...), реклама и искусство оказываются способными творить с ним чудеса. У цивилизованного дикаря изделия политического и культурного ширпотреба вызывают восторг ничуть не меньший, чем вызывали стеклянные бусы у дикаря нецивилизованного. И он из кожи лезет, чтобы быть на современном уровне, то есть, не хуже других.

При этом, если простой, неграмотный народ, как правило, не лезет ни в учителя, ни в судьи, ни в искусствоведы, то полуобразованный невежда, будучи марионеткой в руках политиков или законодателей массовых вкусов, очень самоуверен и в пределах разрешенного околоточным, гестапо или КГБ очень активен. Он пишет в редакции по вопросам, в которых не разбирается, он поучает великих писателей, композиторов и ученых, следит за нравственностью и благонадежностью соседей, сочиняет доносы, а будучи уличенным в клевете и подлости, смотрит на мир ясными глазами ребенка — ему не стыдно, ибо он клеветал из коммунистических, патриотических, эстетических или еще каких-нибудь столь же одобряемых начальством побуждений!

Народолюбцы обычно говорят о пошлой массовой культуре, что надо уважать вкус народа, не смотреть на него свысока и т.д. Может быть, «массовая культура» действительно стала культурой масс, но тогда это уже не культура народа, это культура публики, народонаселения, графоманский этап мировой культуры, конец которой пока не просматривается, а расцвет выпадает, увы, на наш XX век.

Возникает вопрос: какая связь между описанным выше ничтожным, послушненько-подловатым представителем массовой культуры и исполненным мрачной значительности кровожадным «человеком войны»? В том-то и дело, что никакого особенного «человека войны» не было. А вот человек массовой полукультуры был и долго еще будет. И пока он есть, любой мелкий филер, любой недоучившийся семинарист имеют серьезные шансы увидеть мир, лежащим у его ефрейторских сапог, любая гнусная идея может собрать легионы ревностных крестоносцев. И они будут послушно, а главное — без каких бы то ни было угрызений совести делать все, что велит.

Говоря о тиранах XX века, мы должны твердо усвоить, что главное их отличие и главная причина планетарных выступавших злодеяния в том и состоит, что народ тут выступает не только как жертва, но и как палач! «Вождь, пользующийся народной поддержкой, может делать все или почти все», — заявляет властитель только что покончившей с колониализмом африканской страны Даунга Ламин Додо, герой известного памфлета Бориса Асояна «Принципы Додо», и он может делать все. И всевластия своего Додо добился отнюдь не только казнями и пытками, как это было бы в XVIII или XIX веках, нет, именно своей близостью к народу, такому, какой он есть. «Я чувствую настроение толпы с точностью до градуса», — Додо имеет право говорить так: ведь толпа ему доверяет абсолютно, так как «простые люди видели во мне такого же простого крестьянина, пусть и не очень умного, но зато сметливого, с природным чувством юмора, гордого, беззаветно любящего свой народ и отдающего всего себя ради защиты своей страны от чужеземного ига. Ну, а пытки, расстрелы и так далее в народе обычно прощают, потому что понимают: иначе, как железной рукой, править нельзя, не получится. Уверен, что многие даже одобряют такие действия».

Итог массированного оболванивания дезинформацией и пропагандой? Оболванивание конечно имеет место. Но в том-то и дело, что этот народ хочет, чтобы

его оболванивали. И именно такой вождь ему желателен. Свой. Той же самой — дешевой массовой культуры, как и он сам.

Назад — в средневековье!

Но такое подростковое состояние населения, согласитесь, не может не потребовать и соответствующего ему общего устройства и состояния общества. Во всех тиранических обществах XX века, сколь бы капиталистическими или социалистическими они себя не объявляли, начинают выпирать, лезть в глаза детали феодального быта, феодальных порядков, средневековой психологии. Это тем более загадочно, что практически все диктаторы XX века пытались преодолеть капитализм и, обогнав его на базе самой прогрессивной теории, оказаться в недостижимом будущем. Тут и формы правления, и структуры власти, и ожившие древние родовые связи, и преданность сюзерену как главная государственная добродетель, и полное бесправие масс, и унижительное раболепие, пронизывающее все этажи общества, и средневековые пытки, казни — как привычный антураж общественной жизни, и суеверия, мистицизм, и дворцовые интриги как вернейшее орудие карьеры, и...

Додо, у которого в холодильнике лежат головы наиболее неугодных ему людей, поскольку людоедство он считает национальным обычаем, осуждаемым европейцами из расистских побуждений, очень ценил своего личного колдуна за то, что тот «работал хорошо», то есть тонко разбирался, у кого что полагается обрезать: «у кого — только ногти, у другого — уши или нос, у третьего обязательно надо вырвать волосы, чтобы дух поверженных не тревожил по ночам!» Так вот этот самый Додо не сомневался, что он у себя социализм давно уже построил. Ибо что такое социализм? «Это когда все бесплатно работают на полях и едят из одной посуды. Если же ты берешь свою тарелку и ешь не со всеми, то ты уже не социалист». «С незапамятных времен, —

объясняет Додо, — у нас существовала система очень развитого социализма: все, кто этого заслуживали, были равны, остальные работали на вождя и старейшин, олицетворявших нашу историю, память и национальную гордость. Детей и жен мы воспитывали вместе, доходы распределял вождь и делал это очень справедливо. Во всяком случае жалоб никогда не бывало, а если и случалось легкое недовольство, то оно быстро усмиралось нашими мобильными и пользующимися всенародной поддержкой силами безопасности».

Пародия? Сатира? Но ведь многие свидетельства очевидцев, описавших быт Гитлера, Сталина, Муссолини и Мао (даже когда они воспринимались авторами без всякой иронии) удивительно напоминают то, о чем идет речь в памфлете. Может, не случайно? Может, сквозь подобное загадочное сходство всех тиранов проглядывает еще одна (весьма обескураживающая!) «тайна века»?

Согласно «единственно верному учению», коммунизм — это *высшая* стадия общественного развития, идущая *на смену* капитализму, за ним, *после* после него. Но... странное дело! Ни одна из достигших высот капитализма (а потому вроде бы ближе всего подошедшая к вожделенному коммунизму) стран почему-то не сделала добровольной попытки подняться на эту высшую стадию. Почему-то за социализм всегда яростно боролись лишь те, что настоящего капитализма в глаза не видели. И все норовили не просто побыстрее преодолеть этот досадный этап развития, но пробовали совсем миновать его, перескочить через него, как через гнилую ступеньку лестницы. Добровольно в лагерь социализма вступали только самые социально и экономически недоразвитые, полуфеодальные и полуколониальные страны Азии, Африки и Латинской Америки. Только! Говорят, дело в том, что их трудящихся пугали ужасы капиталистической эксплуатации. А трудящихся стран, где ужасы капитализма расцвели в полном объеме, эти ужасы почему-то уже не пугали. Как прикажете понять такой парадокс?

В одном из фельетонов я однажды (в целях сугубо сатирических) попробовал высказать на этот счет некую издевательскую гипотезу и вдруг с удивлением осознал, что совершаю серьезное научное открытие, против истинности которого, ручаюсь, никто не сможет найти ни одного убедительного аргумента. Суть гипотезы: никаких социалистических стран нет, не было и в обозримом будущем не предвидится! Никто социализм реально не строил (хотя миллиарды людей были убеждены, что они заняты именно этим). А захлестнувшие нашу планету в XX веке «социалистические революции», национал-социалистические путчи, диктатуры всех видов и череда межнациональных побоищ — есть не что иное как растянутая во времени попытка остановить наступление свободного предпринимательства и демократии, организуемая терпящим поражение, но не желающим уходить со сцены *феодализм*! Дающим таким образом капитализму свой «последний и решительный бой». Социализм, получается, вовсе не модель радужного будущего, а призрак (ой, не случайно это слово вырвалось в «Манифесте компартии») цепляющегося за полы человечества покойника!

Стоит ли в таком случае удивляться и его поведению, и тому, что он все время неизбежно терпит поражение? Это вещь естественная, но, конечно, обидная для тысяч и тысяч честных, убежденных социалистов и коммунистов, твердо веривших, что они борются за нечто куда более далекое и прогрессивное, чем капитализм. Из поколения в поколение они развивали теорию, сплывали ряды, просвещали массы, вели в бой, убивали, гибли сами (чисто героически), а оказывается — бой-то они вели и гибли вовсе не за будущее, не за коммунизм, а за отжившее прошлое — за победу феодализма и средневековья. И временами весьма многого добивались в их реанимации. Отсюда и средневековый антураж, окружавший практически всех тиранов XX века, при иной трактовке происходящего на земном шаре просто необъяснимый!



СПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

СЕРДЦЕ ЕЛЬЦИНА

Плата президента за происходящее в России

Недавно по телевидению показали фильм «Сердце Ельцина». Несмотря на столь обещающее название, *сердца Ельцина* мы не увидели. Мы увидели операционную и реанимационную, увидели врачей, которые рассказывали, как готовилась и шла операция, увидели новейшие приборы, при этом использовавшиеся. И сюжет фильма крутился вокруг двух тем: операция и секретность операции. О самом сердце говорилось, как о неисправном насосе, который плохо качает и перекачивает кровь. Часто при этом повторялось слово «шунтирование», придававшее действию на экране сугубо медицинский привкус.

И лишь один раз мелькнули кадры, которые стали исключением из правила. Это были кадры, снятые, по видимому любительской камерой и запечатлевшие первые минуты после воскрешения Ельцина. И о чем же, как вы думаете, спрашивает едва очнувшийся от наркоза,

исхудавший, бледный, с прерывающимся голосом человек? Он просит вернуть ему «ядерный чемоданчик».

Этот почти детский жест — верните мне мои игрушки (а в подтексте более жесткое: верните мне мою власть) — и комичен и трагичен одновременно. А главное, он прозрачно простодушен, что разоружает зрителя.

Я думаю, именно сейчас, когда наступил последний и, как многим кажется, фарсовый период правления президента, нам впору вспомнить обо всем, что заставило его осенью 1996 года, перенесши не один инфаркт, лечь под нож хирурга.

Думая о Ельцине, сравниваю его с Горбачевым. Взгляните на их лица: разрушенный, трудно соединяющий фразы Ельцин и крепкий, круглый, бойко стрекочущий Горбачев. Горбачев интуитивно отделяет то, что происходит в России (и происходило еще несколько лет назад по его воле) от себя. Ельцин, как громоотвод, принимает удары молнии на себя.

Перый удар — пленум ЦК отлучает его от власти. Ельцин попадает в больницу. По всей видимости, это и первый инфаркт.

Выход из КПСС — удар второй. Для человека карьеры это поступок безумца, с точки зрения здравого смысла — авантюризм, с точки зрения незамутненного чувства — веление сердца.

За которое, впрочем, сердцу же и платить.

Все последующее у нас на виду и у нас на слуху. Путч 91-го, противостояние с Верховным Советом, расстрел Белого дома и чеченская война.

При Горбачеве убивают армян в Сумгаите, пылают Карабах, погибают люди в Тбилиси и Вильнюсе, и — ни одного слова раскаяния с его стороны.

Чувство вины и Горбачев — две вещи несовместные.

Для Ельцина — по крайней мере, в то время — это сосущая сердце змея. Его стремительное старение, метания от одного окружения к другому, метания житейские, метания политические — все это рубцы, рубцы и рубцы.

В русском языке слова «вина» и «война» одного

корня. Вина — это война с собой, с собственным сердцем, его потери, его износ.

Накануне выборов 96-го года в газетах была напечатана ксерокопия рукописного заявления Ельцина, дающего согласие баллотироваться в президенты. Я тогда долго рассматривал этот документ. Полное отсутствие намека на *устоявшийся* почерк. Буквы, следуя одна за другой, не идут в одном наклоне, не вяжутся цельной вязкой, а как бы существуют каждая сама по себе, и строки — вместо соблюдения строгости ряда, в конце погибают книзу: кажется, что пишет не взрослый человек, а ребенок.

Даже ликует Ельцин, одерживая свои победы над аппаратом, по-детски, не скрывая того, что обязан скрывать политик, — своего торжества.

Мне скажут, что это отнюдь не детский восторг, а ликование льва, только что задравшего очередную жертву. Что это сладострастие самолюбия и властолюбия. И да, и нет. Ибо есть тут и порыв, есть выезд на деревянном коне, в буденовке и с криком «ура» на устах.

Ельцин жесток, смешон и трогателен. Он коварен и он наивен. Наверное, не зря на этом изломе нашей судьбы история выбрала именно Ельцина. Он и советский и антисоветский, он и самодур и дитя.

Ельцин, безусловно, *человек хаоса, а не порядка*. Но хаос — это стихия, это взорванный мир, в котором кружатся обломки, и их движение непредсказуемо, как метания стрелки компаса, потерявшей ориентир.

Сколько проклятий, сколько плевков летело в сторону Ельцина еще с трибуны Верховного Совета (и сейчас летит), каким только оскорблениям не подвергался он, сидя в президиуме и молча переживая все в себе. И, несмотря на это, ни один из его хулителей не понес наказания. Никакой мести со стороны главы государства не последовало.

Но уже до открытого столкновения в октябре 93-го года Ельцин был седой и отекший. Его распинали коммунисты, его распинали демократы. Коммунисты и сейчас живут только за счет того, что поедают здоровье

Ельцина. Они и сейчас в порядке, без всяких признаков ветхости. Во весь голос кричат они, что отвечать за то, что случилось с Россией, должен *только один* человек, а не они, сидящие в Думе, проводящие свои съезды и раскатывающие на «мерседесах».

Сидя в депутатских креслах, они за свою власть не платят. Они только получают. Россия в обвале, но где трагедия Зюганова, Лукьянова, Илюхина и иже с ними?

У них с сердцем все в порядке.

Страшные дни октября 93-го года окончательно пустили под откос здоровье Ельцина. Здоровья уже не оставалось, оставалась одна воля. И, может быть, упорство.

С этого момента находиться у власти и быть *чистым* делалось невозможным. Ельцин подошел к той роковой черте, за которой «добрые намерения» оборачиваются кровью. Как мы знаем из истории, всякий правитель, рано или поздно, пересекает эту черту. И если он при этом «остаётся в форме» — значит, у него нет сердца.

У Ельцина так не получилось. С этого времени его существование становится существованием трагическим.

Если в августе 91-го он просил прощения у народа и у матерей, потерявших своих сыновей, то в 93-м он этого не сделал. Стрельба в центре Москвы из пушек была крахом легенды Ельцина, крахом его харизмы. И, не побоюсь этого сказать, его чистоты. Уже власть брала над ним власть, уже сладкая ее отравка проникла в душу, и не показал он никому, как стыдно ему за эту мясорубку в Москве.

Загнав внутрь свои чувства, он только усилил их разрушительный потенциал. Остаться один на один с ними при таком позоре — прямой путь на больничную койку.

То же самое с Чечней.

Вспомним Ельцина 1996-го года. Это уже добитый Ельцин. Он уже почти лежит, тяжело дышит. Лопаются сосуды в сердце, оно начинает стучать, как негодный к работе мотор.

Но Ельцин поднимается и еще несколькими рубцами платит за то, чтоб коммунисты не вошли в Кремль.

Жажда власти? Страх расстаться с ней? Но и бесстрашие мужчины, поднимающегося из окопа во весь рост.

Пляшущий на предвыборных митингах Ельцин — тоже Ельцин. Ельцин, братающийся с народом, отщипывающий кусочек от каравая, как делали это в советское время великие мира сего, — тоже он. Но он, уже находящийся в двух шагах от операционного стола.

Коммунисты не прошли — Ельцин лег на этот стол.

И вот они снова идут на приступ. По оголтелым их речам, требующим для Ельцина чуть ли не смертного приговора, а для евреев — исхода из России, мы видим, что было бы, если б три года назад кто-то из них прыгнул в президентское кресло.

Ельцин заплатил за то, чтобы этого не случилось, остатками своего здоровья.

Его странная жестикуляция, его уже осмеянная во всех СМИ мимика, его замашки щедринского градоначальника, кричащего на реку: «Уйму я ее! Уйму!» — все это правда. Но все это только то, что мы видим по телевизору. А что происходит в его душе — для нас тайна.

Человек хаоса, Ельцин и сам умножает хаос, но все же, все же:

1. Мы избежали гражданской войны.
2. Мы кривым, уродливым путем, но уходим от 70-миллионной большевистской Ходынки.
3. Мы не во вражде со всем миром и не заложники войны.
4. Мы нищие, мы униженные, но мы живы.

Слом коры, покрывавшей нашу жизнь в XX веке, прошел и через сердце Ельцина. Пожалеем его, хотя бы как человека, скажем ему при жизни что-то доброе. Не сделай мы этого сейчас — пожалеем потом.

Даже Коржаков, мстящий Ельцину, как только слуга, освободившись от барина, может мстить барину, признает, что Ельцин никогда не позволял себе материться — незначущая мелочь, но мелочь, которая говорит больше, чем то, что крупно бросается в глаза.

Мужик почти двухметрового роста, секретарь обкома, наделенный безмерной властью, привыкший к закону казармы (где командир кричит, а все слушают командира) — и не признает мата? Не усиливает страха, наводимого им, ругательствами?

Такого в советской практике я не знаю.

Может, он нравственный человек, Ельцин?

Проклинаемый повсеместно сегодня, он, может быть, завтра покажется нашим потомкам не жалкой копией Угрюм-Бурчеева, а тем жертвенным лицом истории, каким стал, например, после своей гибели непутевый Николай II — уж совсем не строитель государства, а его разрушитель, у которого за спиной и расстрел 1905-го, и Лена, и две проигранные войны.

«История злопамятней народа» — говорил Карамзин. Но она — и справедливей.



Светлана АЛЛИЛУЕВА

О ЗАПАДЕ, О РОССИИ, О СЕБЕ

Интервью Александра Гранта

В свои 72 года Светлана Иосифовна Аллилуева выглядит и ведет себя идеально для знаменитости, за которой гоняются журналисты: не отмахивается от объектива и микрофона, на вопросы отвечает четко, а неизбежные для преклонного возраста путешествия во времени продельвает без ущерба для увлекательного рассказа. Шутка ли: Светлана, дочь Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой, человек-легенда.

Решив начать интервью с чего-нибудь пострашнее, я спросил, знала ли Светлана Иосифовна о планах КГБ расправиться с ней после бегства на Запад. Это бегство стоило карьеры двум высшим чекистам тогдашнего СССР — председателю комитета Владимиру Семичастному и его покровителю, секретарю ЦК Александру Шелепину. Для перехвата и похищения Аллилуевой по приказу Семичастного в Нью-Йорк был направлен Василий Санько, который бездарно засветился, а другой специалист-

контрразведчик, Аркадий Гак, даже представил начальству план физической ликвидации беглой дочери Сталина.

— Я этих людей столько на своем веку перевидала, — отвечает мне Светлана Иосифовна. — НКВД, МГБ, КГБ, потом все эти нынешние. Я их одинаково называю, как выражалась моя бабушка, — «гестапо».

От советских спецслужб она отличает американскую — cereушники сыграли в жизни Аллилуевой важную роль и всегда считались ее друзьями. Сотрудник ЦРУ доставил ее из Индии в Италию, из Италии в Швейцарию, из Швейцарии в США. Cереушники помогли ей обособиться на первых порах, что, кстати, входило тогда в их обязанности работы с ценными перебежчиками. ЦРУ заботилось о ней на первых порах, пока не поступили гонорары за «Двадцать писем к другу».

Рукопись этой книги, созданной за 35 дней летом 1963 года в подмосковной Жуковке, Светлана переслала в Индию со своими друзьями-индусами еще до поездки туда. С этой рукописью она и явилась в американское посольство в Дели. Аллилуеву еще не пускали в Америку, а «Двадцать писем к другу» уже были в Вашингтоне. Рукопись быстро перевели на английский, и раздали на ознакомление и анализ в ЦРУ, Госдепартамент и так далее.

«Доверяй, но проверяй», — по-русски сказал Рональд Рейган много позже и по другому поводу. Тогда, в марте 1967-го года, американцы сначала не поверили, что к ним явилась дочь Сталина. Время было сложное, дипломатам не хотелось ссориться с Кремлем, а разведчики, вне зависимости от высшей дипломатии, боялись провокации — на Западе один за другим «горели» советские шпионы, и КГБ вполне мог в качестве отыгрыша подсунуть американцам «пустышку». Сейчас, через 30 лет, можно сказать, что затяжка с предоставлением Светлане Аллилуевой права на въезд в США была по сути карантинном, сроком идентификации ее личности. Кстати, уточнила Светлана Иосифовна, до поездки в Индию на похороны мужа она не бывала за границей, если не

считать двух дней в Германии, где после войны служил брат Василий.

Летом 1967 года Аллилуева оказалась в Нью-Йорке. Позже там появился тогдашний советский премьер Алексей Косыгин, участвовавший в работе очередной Ассамблеи ООН. На одной из пресс-конференций Косыгин объявил Светлану психически нездоровой и добавил, что «у них это семейное».

— Косыгин, конечно, представлял «дорогую» партию убийц и обманщиков, — говорит Светлана Иосифовна. — А когда он заявил это... У меня была племянница, сейчас она уже умерла, ее тоже звали Светлана Сталина, это была дочь моего брата Василия. Она действительно родилась больной в 1947 году. Она действительно была в доме для душевнобольных, а умерла она лет в 30-35.

И я все ждала, должен же он сослаться, вытащить хотя бы ее историю болезни. Нет, он этого не сделал. Тогда на что же он ссылался — ведь надо было предъявить какое-то медицинское свидетельство. Ведь того, что я ему не нравилась, недостаточно, он мне тоже очень не нравился. Когда он приезжал в Англию, ему прохожие на улице кричали: «Smile old fruit!», такое у него было лицо...

Поначалу Госдепартамент выдал Светлане Иосифовне Аллилуевой туристскую визу на 6 месяцев, потом ее продлили на год, потом появилось то, что сейчас называется гринкартой, а гражданкой США она стала лет через десять. Сначала она поселилась в Локаст-Вэлли на Лонг-Айленде, а потом в Принстоне, штат Нью-Джерси. Поселилась по настоятельному совету, который граничил с приказом. В этом тихом университетском городке, где жил и работал сам Эйнштейн, Светлана купила свой первый дом. «Там вам будет удобнее», — сказали ей, но оказалось, что это был плохой совет. Помимо университетских профессоров в Принстоне жили люди, мягко говоря, не симпатизировавшие дочери Сталина.

В издательство «Харпер энд Роу» книга Аллилуевой

попала случайно. Вслед за английским изданием «Двадцать писем к другу» вышли на немецком, французском, итальянском и прочих языках. «Иностранные издания этой книги занимают у меня целую полку», — сказала Светлана Иосифовна. Появились деньги — и немалые, — но Аллилуева ими не распорядилась. Право на управление своим капиталом она передала крупной юридической фирме «Копекс», тогда, в 1967-м году, совершенно не понимая и не зная, что такое авторские права, недвижимость и прочие премудрости свободного мира.

Адвокаты «Копекса» выдавали Аллилуевой деньги, когда она просила их об этом, — на одежду, на питание, на прочие покупки. Адвокаты владели авторскими правами на ее книги. Будучи человеком совершенно непрактичным, Светлана никогда не знала, сколько у нее денег. Заключенный 31 год назад договор был бессрочным, и расторгнуть его удалось только в минувшем феврале, когда в дело вмешался иммигрант Александр Невский, до недавних пор литературный агент Аллилуевой. «Они воспользовались ее незнанием американских законов, которые ей никто не разъяснил, — сказал мне Невский. — И это дало им возможность распоряжаться ее средствами совершенно бесконтрольно. Практически невозможно установить, куда и как эти средства уходили. Но судиться с ними не пришлось, все было решено в результате юридических переговоров».

Светлана Аллилуева поселилась в Принстоне и вскоре взялась за вторую книгу, «Только один год», в центре которой, по ее словам, «стояли политические проблемы и объяснение необъяснимого: как это случилось, что я решила бежать из России». Эта книга вышла в 1969-м году, а на английский язык ее перевели князь Давид Чавчавадзе и его жена Нина Романова. Выпустило книгу все то же издательство «Харпер энд Роу» на двух языках. Русское издание американцам совсем не было нужно, но таково было требование автора — Светлана хотела, чтобы ее книги читали на родине, куда и «Двад-

цать писем к другу», и «Только один год» попадали нелегально.

Из-за своего хорошего отношения к дочери Сталина князь Чавчавадзе потерял больше половины великокняжеских друзей. Аллилуева вспоминает, что разноликая русскоязычная община Америки тех лет встретила ее одинаково враждебно: ни белая эмиграция, ни «DP» (перемещенные лица), ни редкие перебежчики не симпатизировали дочери Сталина; диссидентов-шестидесятников на Запад еще не пускали, а советских евреев еще не меняли на американскую пшеницу. Ее не приняла даже Зарубежная Православная Церковь за рубежом — прихожане заявили, что если она появится в храме, они уйдут.

Свой статус в Америке Светлана Аллилуева определяет вполне четко — «defector», то есть перебежчик, и не стыдится этого слова. Тогда, в 60-х и 70-х годах перебежчиков было мало, с ними считались и их окружали вниманием (по крайней мере, на первых порах), и термин ЦРУ «defector» в американском обществе звучал весомо и уважительно. Светлана Иосифовна подчеркивает, что из России она не уехала, а сбежала.

— *Вы считаете себя авантюристкой?* — спросил я ее. — *В хорошем, конечно, смысле этого слова?*

— Авантюристкой я никогда не была, — ответила Аллилуева. — Мне моя жизнь, которой я никому не пожелаю, предоставляла какие-то выборы. Вы учтите, что я не бежала в Америку, а хотела остаться жить в Индии. Так вот, когда я была в Индии, был один такой момент, когда можно было сделать выбор — вон отсюда! И я этот выбор сделала. Позже тоже были моменты, когда требовалось делать выбор.

— *Человек попадает в конфликтную ситуацию, когда он должен, как вы говорите, сделать выбор. Но выбор делают по-разному: можно разрубить узел, сделать волевое усилие, а можно попытаться что-то починить, исправить...*

— А еще можно застрелиться, как сделала моя мама. Она не захотела принять то, что у нее было. Есть и такой путь.

— *А вы предпочитаете волевые усилия?*

— Это не волевые усилия. Просто был какой-то момент, когда представилась возможность, что называется, прыгнуть с поезда.

— *Но чтобы прыгнуть с поезда и остаться живым, нужен трезвый расчет.*

— Это очень долго объяснять, в моей второй книге все написано. Идею мне подали сами индийцы. Я же просила правительство Индии, чтобы мне разрешили остаться. Нет, Боже мой, они так испугались, что вы, что вы, уезжайте обратно. А потом вокруг меня появились очень доброжелательные индийцы, эти советовали пойти в американское посольство, уехать в Америку, получить американский паспорт и уже с ним вернуться в Индию. Это ведь все от них пошло.

— *А если бы они предложили вам пойти в английское посольство?*

— Я говорю то, что было. Если бы у советских была лучше поставлена разведка, они бы знали, что я два месяца сижу в индийской деревне, и мне все дают советы, все принимают участие. А им это даже в голову не приходило.

— *На каком уровне вам давались эти советы?*

— Правительство сказал: нет-нет-нет, уезжайте как можно скорее. А это были просто знакомые...

Вскоре в Принстон пришло письмо из Аризоны. К Светлане обратилась некая «миссис Райт», черногорка с российскими связями, руководившая там «коммуной архитекторов». Члены коммуны жили общим хозяйством, получали мизерную зарплату, а все свои заработки вносили в общий котел. Аллилуеву это заинтересовало, и она перебралась в Аризону. В коммуне Светлана Иосифовна познакомилась с известным архитектором Уильямом Питерсом, и в 1970-м году они поженились. Вернее, миссис Райт их поженила, интересуясь в первую очередь деньгами невесты. В том же году у Светланы Иосифовны родилась дочь Ольга. Питерс потребовал у адвокатов «Копекса», чтобы оставшиеся деньги Аллилуевой — примерно 1,5 млн долларов — были пере-

ведены на ее счет, и добрая половина этих денег ушла на погашение его долгов.

Когда Светлана забеременела, с коммуной пришлось расстаться, и семья Питерс перебралась дальше на Средний Запад (место по желанию Аллилуевой не уточняется), где Уильям — опять же на деньги жены — купил ферму. В начале 70-х годов они развелись в штате Аризона, и вся недвижимость осталась у Питерса. Светлана с маленькой Ольгой вернулись в Принстон, и через несколько лет, как выразилась Аллилуева, она послушалась самого плохого совета в своей жизни. «Умные люди» из университетских кругов посоветовали ей переехать в Англию, чтобы дать дочери достойное британское образование.

Образование в Англии оказалось очень дорогим, но у Светланы еще оставалось около 400 тыс. долларов. В Англию она с Олей прибыла в 1982 году как гражданка США, поселилась в маленьком городке, купила квартиру, и 12-летняя Оля, которая в Принстоне училась в католической школе, поступила в квакерскую. «Школа была жуткая, — рассказывает Аллилуева, — все было ужасно. Это и подготовило нашу поездку в Советский Союз, потому что все было плохо».

В 1984-м году в жизни Светланы Аллилуевой неожиданно снова возник ее сын Иосиф, всякая связь с которым прервалась после ее бегства. После стольких лет молчания, после официальных заявлений, что он не одобряет поступка матери, московский врач Иосиф Мороз, названный когда-то в честь деда, начал звонить Светлане Иосифовне, писать Ольге и звать мать с сестрой в гости. «Сыну сейчас 53, дочери 47, — ответила мне Аллилуева на вопрос о ее советских детях. — Тут я тоже должна сказать, что с самого начала история была очень искажена. Когда я уехала, сын был женат, а дочка закончила школу и в тот же год поступила на физический факультет Московского университета. Будь она разбита горем, она просто не смогла бы это сделать. Она окончила университет и уехала из Москвы на Камчатку. Она ученая, вулканолог. Сын же вел себя совершенно иначе.

С самого начала, с 1967 года, он давал недобрые интервью, — делал то, что ему говорили делать. И так он ведет себя до сих пор — что ему велят делать власть имущие, то он и делает. У него никогда не было достаточно мужества.

Сейчас Иосиф врач-кардиолог, ему 53 года. Но и тогда они уже не были младенцами. Разговоры обо мне, что, мол, бросила детей и уехала за длинным рублем, абсолютно не соответствовали действительности. Во-первых, это были, повторяю, не младенцы, а во-вторых, я хотела остаться в Индии, где никаких денег сделать нельзя. Я могла бы там преподавать, у меня были очень хорошие отношения с индийскими друзьями, но правительству Индиры Ганди не хотелось неприятностей. К тому же правительства там менялись, несколько раз к власти приходили другие партии. Они интересовались мной, даже запрашивали, не хочу ли я вернуться. Я несколько раз с ними разговаривала, последний раз это было в Лондоне. Мы почти договорились, я хотела поехать в Индию, но это не удалось, потому что у меня уже не было денег на билеты.

— *Вы помните историю с советско-английским журналистом Виктором Луи после того, как вы остались в Индии?*

— Конечно помню. В 1967 году Виктора Луи прислали к моим детям. Причем дочь молчала, а говорил сын. Говорил то, что ему велено было говорить. В моей дочери мужества больше, она уехала к своим вулканам, и там осталась, чтобы к ней не приставали. С ней мы даже несколько раз говорили по телефону, я звонила из Кембриджа в Петропавловск-на-Камчатке. Но что скажешь по телефону после 28 лет? «Алло-алло, как живешь!» Голос у нее, слава Богу, не изменился, остался таким же, как в 17 лет. А у сына изменился.

С сыном у меня никаких контактов нет. С его сыном, моим внуком, которому сейчас 28 лет, тоже контактов нет. Не знаю, может быть, у меня уже есть правнуки. Технически это возможно, но мне об этом вряд ли сообщат — им такая прабабка не нужна.

— *Отчего эта отчужденность?*

— От давления извне и малодушия изнутри. Возьмите пример моей дочери — от давления можно убежать на Камчатку.

— *Сколько же у вас сегодня живой родни?*

— Это не имеет значения. Я не живу родственниками. У меня есть дочь Оля, которая мне почти мать...

О своей американской дочери Светлана Иосифовна отзывается с большой нежностью и теплом: «Она необыкновенная, добрая, отзывчивая. Она обо мне заботится. Все, что я ношу, это она мне покупает. У нее какая-то необыкновенно материнская душа. Очень талантливая девочка, с призванием к сцене, к живописи. Художник-самоучка... Сначала, конечно, я дала ей все, что могла. В принципе, у нее было чудное детство, потом эта не очень хорошая английская школа, из которой она сбежала. С 18 лет она работает, зарабатывает себе на жизнь. Колледжа у нее никакого не было, потому что к тому времени все наши деньги кончились. Я жила в Англии на милосердие, потом на социальное обеспечение, а она работала с 18 лет. Сейчас ей 28, и год назад она пригласила меня жить с ней. Пригласила потому, что она очень добрая, хорошая девочка. Кстати, в России и в Грузии она видела, что старая мама всегда где-то за перегородкой все-таки сидит. Теперь я живу на ее иждивении. У меня есть какая-то там пенсия 'social security', чего мне вполне хватает».

Разочаровавшись в Англии, в 1984 году Аллилуева решила съездить в Россию. Въездные документы в СССР ей, американке, сделали в Лондоне неожиданно быстро. По словам Светланы Иосифовны, она явилась в советское посольство и попросила визу. «Обращайтесь в установленном порядке», — ответили ей. Тогда она назвалась, ее вежливо попросили прийти на следующий день. Когда она пришла, гостевая виза на нее и на Ольгу была готова. Когда в октябре они прилетели в Москву, там, как вспоминает Аллилуева, «оказался тот же самый Советский Союз».

— Английских школ уже не было, — пояснила она. — Я

спросила, где они, а мне сказали: «Oh, that was Khrushchev's follies», мол это все хрущевские штучки, с ними покончено. Даже учебников на английском языке нет. Но есть русские школы, ваша девочка будет там учиться. У нас учатся вьетнамские ребята, так они через 6 месяцев уже говорят по-русски. Так вьетнамские ребята, наверное, могут и не то делать...

— *Где вы жили в Москве?*

— Мы довольно быстро из Москвы уехали. Когда нас хотели поселить в огромной квартире, мы быстренько собрались и бросились в Грузию, именно чтобы убежать от жизни в центре Москвы. Дочь ни за что не хотела идти в эту русскую школу. В общем, мы бежали в Грузию. Бежали буквально чтобы скрыться, потому что эти республики всегда были более или менее независимыми.

— *Во время всех этих переездов вы были гражданкой Соединенных Штатов?*

— Я гражданка Соединенных Штатов с 1978 года, но в Москве у нас с Олей тут же отобрали американские паспорта. Мидовцы вернули их в американское посольство, бросили их там на стол. И с этого момента началась свистопляска в прессе вокруг того, что же происходит. Но я-то знаю, что американское гражданство таким образом не теряешь — нужно идти и давать аффидавит-заявление, что больше не хочу быть гражданкой США. Но мы этого делать не собирались. Так что у нас было двойное гражданство.

...Советского гражданства меня лишили в 1969 году, а когда нас туда вовлекли второй раз в 1984 году, то очень милостиво предоставили его вторично. Но американское гражданство у нас оставалось, и американские власти очень содействовали мне в получении визы — срок действия моего американского паспорта в это время, к сожалению, истек, и его нужно было продлить. Вернее, получить заново, чтобы с ним выехать. Мне очень пошла навстречу и консул, и все... Тайно встречались, нужно было устроить, чтобы встретиться с представителем консульства — в посольство меня не пропустили.

— *Вас, американскую гражданку, не пустили в американское посольство?*

— Меня схватил милиционер на улице. Поймал меня, я ему говорю, что американка, а он: «Какая американка? Где ваш паспорт?» Я говорю, что там, там, у них, в посольстве... Нет, не пустил. Ну, в общем, масса была всяких происшествий...

Все происходившее с Аллилуевой и ее дочкой отчетливо отдавало большой игрой, в которой Иосифу Морозу была предоставлена роль «подставленной» шашки. Странные перепады в его поведении говорили за то, что ему было поручено заманить мать с сестрой в Москву — и не больше. Обращались с ними там «по высшему разряду» — Светлане Иосифовне предложили постоянно поселиться в квартире, раньше принадлежавшей члену Политбюро Арвиду Пельше. Она отказалась, зная, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и жила с Ольгой в предоставленном им номере гостиницы «Советская».

Из Москвы Аллилуева с дочерью поехали в Грузию, на родину отца. От встречи с Эдуардом Шеварднадзе, отбывавшего последний год на посту лидера грузинских коммунистов перед выходом на большую орбиту, у Светланы Иосифовны осталось впечатление как о «человеке с маской на лице». Она даже сравнила его с Берия, в свое время качавшего ее на коленях.

Светлана попробовала жить в Тбилиси. Ольга начала учиться, педагоги приходили к ним домой. Ольге преподавали математику, грузинский язык, верховую езду... У девочки начиналась складываться нормальная жизнь. Отношение грузин к Светлане Аллилуевой было двойственным. Одни при встрече целовали в плечо, что в Грузии означает высшую степень уважения. Другие избегали общения.

Внезапно приставленные к матери и дочери гебешники велели им возвращаться в Москву. «Как это велели? — не выдержал я. — Все-таки это Светлана Аллилуева. Дочь Сталина на родине Сталина». При всем своем бунтарстве и прямолинейности Светлана понимала, что

она в плену и протестовать бесполезно. Выхода не было: она подчинилась всем указаниям «гестаповцев из МИДа». Снова возник сын Иосиф, который тоже стал звать мать в Москву.

Скорее всего, это была игра Шеварднадзе, которому лучше кремлевских мудрецов была видна ситуация на месте. Эдуарду Амвросиевичу на дух не нужна была дочь Сталина, из которой местные националисты могли сделать символ веры и знамя борьбы. Сама Светлана Иосифовна на эту тему не высказывалась, но факт остается фактом: из Тбилиси ее выжили назад, в Москву.

Их снова поселили в «Советской». Шел 1985-й год. Аллилуева написала письмо только что пришедшему к власти Горбачеву. В письме говорилось, что советское гражданство ей не нужно и она хочет вернуться в Америку. Письмо было отправлено с уведомлением о вручении, но никакого уведомления Аллилуева не получила. Тогда Светлана отправила в Кремль телеграмму с просьбой подтвердить получение письма. Ей ответили, что телеграмма получена, а про письмо не упомянули ни словом

За Аллилуевой началась неприкрытая слежка, ее корреспонденция проверялась, ее явно подозревали в попытке выйти на контакт с американскими дипломатами. И нужно отдать должное американцам — они вышли на контакт со Светланой сами. Сотрудница консульского отдела посольства приехала в «Советскую» и встретила с Аллилуевой чуть ли не под видом горничной. На этой конспиративной встрече Светлана написала заявление в Госдепартамент, что она не отказывалась и не отказывается от гражданства США. Оказалось, что именно в этот период истек срок действия американского паспорта Аллилуевой, и ей требовался новый, что в обычных условиях простая формальность.

Заявление уехало в посольство — и осталось без ответа. Светлана с Ольгой пытались пройти в американское посольство на Садовом кольце, но их не пропустили. «Мы же американцы, — говорили они, — наши документы там, внутри». «Да какие вы американцы, — добро-

душно отвечал им постовой милиционер в будке. — Валите отсюда». Морской пехотинец, охранявший вход в американское посольство в Дели в 1967 году, был куда душевнее. Аллилуева продолжала писать письма, и тогда «гестаповцы из МИДа» пригрозили, что ее просьбу могут удовлетворить частично: дочь отправят назад в Лондон, а ее оставят в Москве.

Вода камень точит, тем более что на Западе уже начали беспокоиться о судьбе Светланы Аллилуевой. В ответ на очередное заявление с просьбой о выезде и выходе из негостеприимного советского гражданства Светлану Иосифовну вызвали на Старую площадь, и ее принял член Политбюро Лигачев. «И куда же вы собираетесь?» — прикинувшись дурачком, спросил Егор Кузьмич, а услышав, что в Америку, сказал: «Ну ладно, в Америку так в Америку, но смотрите, не балуйтесь, ведите там себя хорошо». Аллилуева говорит, что это напутствие Лигачева она поняла, как запрещение писать и высказываться.

Визит в СССР занял полтора года. В 1985 году Светлана Аллилуева с дочерью вернулись на Запад, но не в США, а снова в Англию, где 15-летняя Ольга продолжала учиться. Они поселились в том же городе, в той же квартире. Ольга выросла, вышла замуж, развелась, стала искать работу и в ее поисках улетела в Америку. Мать осталась в Англии, где в результате угодила в Дом престарелых, еще раз убедившись, какую ошибку она совершила, в свое время послушавшись доброжелатель в Принстоне.

Все эти годы Светлана Аллилуева жила на средства, полученные за свои книги. По возвращении из Москвы эти деньги подошли к концу. За это время у нее появилось еще два произведения: «Далекая музыка» о жизни в Америке и «Книга для внушек, или история о возвращении на родину» о поездке в Россию. Новые книги нужно было издать, и Аллилуева прилетела из Англии в Америку.

В нью-йоркском издательстве «Харпер энд Роу», где вышли две ее первые книги, Светлане отказали. Редак-

торы, которые знали Аллилуеву по «20 письмам к другу», либо уже умерли, либо ушли на пенсию. Две литературных агентши взялись подыскать издателя, но через какое-то время вернули ей рукописи. «Мы ничего не можем сделать, — сказали они. — И ничего не понимаем: повсюду мы мгновенно натываемся на стену равнодушия».

И тут в жизни Светланы Иосифовны возник владелец нью-йоркского издательства «Либерти» Илья Левков. Позвонил, отрекомендовался и предложил издать ее книги. Аллилуева нуждалась в деньгах и согласилась. Они встретились, и тогда же был составлен договор, о котором Светлана в нашей беседе отозвалась, как о бумажке, не имеющей никакой юридической силы. «Там не были определены ни права, ни обязанности сторон, — сказала она. — Ни срока действия, ни тиража. За 13 тысяч долларов Левков получил право издавать и продавать обе мои книги — за 7 тысяч на русском языке и за 6 на иврите».

Левков полностью рассчитался с Аллилуевой. Книги были им изданы неизвестным автору тиражом, а когда Светлана Иосифовна пыталась выяснить это у Ильи Левкова, владелец манхэттенского издательства «Либерти», по ее словам, ответил, что кладет несколько книг Аллилуевой в чемоданчик и ездит на Брайтон, где сам пытается продавать их. На вопросы автора, как идет реализация книг, Левков невнятно отвечал, что был у мамы, летал в Израиль, вел переговоры, а также странно рассуждал о русской литературе.

«Что, не расходились книги?» — спросил я и услышал, что, по мнению Аллилуевой, издатель Левков явно «был заинтересован в нераспространении» ее книг. Но ведь издатель это прежде всего бизнесмен, удивился я, и какой же смысл за 13 тысяч долларов хоронить хорошую книгу известного — да еще как известного — автора? Ответом была аксиома «слово серебро — молчание золото», а затем гипотеза, что иногда за нераспространение платят больше, чем за распространение, но развивать эту опасную тему мы не стали. Как же так,

продолжал удивляться я, Левков всегда дружил с любящим Аллилуеву ЦРУ и вдруг попал к ней в такую немилость? Но в решениях и выводах Светлана Иосифовна показалась мне крутой и бескомпромиссной, что в ней, наверное, от отца. Помните интеллигентскую присказку времен культа личности: ох и тяжело спорить со Сталиным — ты ему цитату, а он тебе ссылку... Так что Илье Левкову повезло, Иосиф Виссарионович обошелся бы с ним поостроже.

В ноябре 1997 года Светлана Аллилуева вернулась из Англии в США, и с тех пор живет с дочерью Ольгой в одном из штатов Среднего Запада — меня просили не уточнять адрес. «Сейчас на Западе вообще и в Америке в частности оказалось множество потомков бывших советских лидеров, — заметил я в нашей с ней беседе. — Скажем, Сергей Никитович Хрущев стал профессором Брауновского университета в Род-Айленде. Нет ли между всеми вами тяги к объединению в некий Орден кремлевских детей?»

— Когда мы жили ТАМ, я их всех знала довольно неплохо, — ответила Аллилуева. — Что они сейчас делают и где они сейчас, меня мало волнует. Но должна вам сказать, что те, кто получил хорошее образование, сумели в итоге найти дорогу на Запад. Сергея Хрущева я не знала, там был другой сын, старше меня... Он погиб на фронте. Я никого не хочу объединять, у каждого из них, наверное, был свой путь, но я вообще не люблю профсоюзов. И в профсоюз кремлевских детей я тоже не хочу.

У меня есть старинная подруга, которую я знаю с 1942 года. Сейчас ей 72, как и мне, живет она в Москве, редактор в отставке. И с ней мы до сих пор понимаем друг друга очень хорошо. А с другими контактов нет.

— *Чувствуете ли вы духовное родство с матерью?*

— Когда мама умерла, мне было 6 лет, и я мало что могла понять. Много позже, когда я стала смотреть на нее, как на молодую женщину, она с каждым днем становилась мне дороже и дороже. Это она заложила основы нашего с братом воспитания и образования. То,

что потом все это было пресечено и буквально вытравлялось, сломало моего брата, он начал пить.

Мама заложила очень глубокие основы, и я стараюсь быть к ней все ближе и ближе. Ей я посвятила свою первую книгу «20 писем к другу» и хотела, чтобы там был ее портрет, но американские издатели «Харпер энд Роу» забыли, а потом сказали, что не так меня поняли. Они вообще хотели только снимки отца, как будто у меня был только один родитель. Партия обошлась с моей мамой, как гестапо — ее вычеркнули из истории, объявили сумасшедшей, истеричной...

Я напомнил Светлане Иосифовне о фильме «Сталин», снятом по заказу нашего кабельного канала «Эйч-Би-О», где Джулия Ормонд сыграла Надежду Аллилуеву куда лучше, чем Роберт Дюваль — Иосифа Сталина. Я напомнил ей о книге Волкогонова... «Никаких таких биографий и всего прочего я не читаю, — ответила она. — Первое время мне здесь постоянно приносили какие-то новые и новые биографии отца. Заберите все это от меня вон, говорила им я, пишите что хотите. У вас свои мнения, а у меня свое. Мое мнение в моей книге.

— Мне очень повезло, — продолжала Светлана Иосифовна, — что в 72 года я все-таки дожила до момента, когда можно, наконец, реабилитироваться, сказать, что ты не была шпионкой, не поехала за длинным рублем, не была гулящей..., настал момент рассказать подлинную историю.

— *Почему вы постоянно отсылаете собеседника к своим книгам? Потому что там все уже сказано или потому что в разговоре вы не хотите сказать лишнего?*

— В своих четырех книгах я старалась рассказать о времени и о себе. Это не автобиография, не исторический труд, а личные книги, назовите их лирическими. В каждой из них очень много людей, настоящих живых людей, и в России, и в Америке, и в Индии, и в Англии, и в Грузии... Вы видите картину, сцену. Я не сочиняю, я пишу как журналист. Когда мне было 17 лет, учительница литературы в школе говорила: «Пишите только то, что знаете. Не пишите романов».

— У реальных героев ваших книг их реальные фамилии?

— Нет, фамилии я иногда меняла. Приходилось менять, потому что это были друзья, а шло время холодной войны. Но Синявский, например, у меня всегда фигурировал как Синявский.

— Кто-нибудь из героев ваших книг предъявлял вам претензии за это?

— Пока я такого не слышала. Может быть, когда все издадим, появятся претензии. У меня, например, есть описание встречи с Эдуардом Шеварднадзе...

— А Ельцина вы когда-нибудь видели?

— Нет. Я хорошо помню Хрущева, потому что в политическую жизнь его ввела моя мама. Они вместе учились в Промакадемии, были в одной ячейке, и мама сказала о нем отцу, с чего и началась карьера Хрущева. Он напомнил мне об этом в шестидесятые годы, когда уже был премьером. Хрущев относился ко мне очень хорошо, и пока его не свергли и в стране не воцарились Косыгин с Брежневым, мне жилось довольно неплохо. И бежать, вроде, было незачем.

P.S.

Владелец издательства «Либерти» Илья Левков сказал мне, что со Светланой Аллилуевой он рассчитался тютелька в тютельку. «Я сдал ей абсолютный контроль над изданием ее книг, — пояснил Левков, — пригласил ее в Нью-Йорк, и она проверяла каждую запятую. Такого издания у нее никогда не было, потому что она всегда обвиняла других. А потом могу сказать, что мои издания ее книг — самые красивые. Права на ее издания были куплены мной навсегда, но она по каким-то причинам взяла и расторгла этот договор».

В начале года у Светланы Аллилуевой появился новый литературный агент Александр Невский, при активном содействии которого был расторгнут договор Аллилуевой с издательством «Либерти». Невский сказал мне, что договорился с Артемом Боровиком и его газетой «Совершенно секретно» о целой серии публикаций о дочери Сталина и об издании четырех ее книг. А в августе Светлана Иосифовна прислала письмо следующего содержания:

«Спешу уведомить Вас... о том, что А.Невский (псевдоним А. Дардыкина) с 24 июля не является моим литературным аген-

том и все сделки с ним расторгнуты. Мой адвокат направил ему соответствующее письмо, заявляющее обо всем вышесказанном.

Я... оказалась жертвой авантюриста, методами которого являются кавалерийская атака, грубый нажим, хорошо обдуманная ложь, нахальство и неопишная самоуверенность. Поскольку я отказалась от гонораров за книги с первых же своих слов, вся его деятельность направлена только на самообогащение. Я в этом принимать участие не собираюсь и прошу Вас... предупредить других. Еще раз простите меня за этот неслыханный цирк, — мы наткнулись на современного Остапа Бендера, приходится только сожалеть.

С уважением, Светлана Аллилуева.

24 июля 1998 года висконтский адвокат Аллан Пэкхем официально известил Александра Невского-Дардыкина о расторжении договора, заключенного между ним и Ланой Питерс (она же Светлана Аллилуева) 26 июня сего года. Адвокат мотивировал расторжение тем, что договор был подписан его клиенткой «по принуждению и под давлением и не был ее свободным и добровольным отказом», к тому же, отметил Аллан Пэкхем, его клиентка «удручена недостатком знаний Невского А.Г. о литературе и об издании литературных произведений».

Я связался с Невским и попросил его прокомментировать письмо Светланы Иосифовны.

«Несколько дней назад, — подтвердил он ответным письмом, — я получил от Аллилуевой письмо аналогичного содержания.

На сегодняшний день Аллилуева представлена жителям России и всего мира, как нормальный дееспособный человек, — наперекор всему, что писалось и говорилось о ней на протяжении последних десятилетий. Более того, подписано несколько соглашений с российскими издательствами на публикацию ее книг в России на русском языке. Собственно, это была мечта всей ее жизни и цель наших отношений.

Далось это нелегко. Месяцы самоотверженной работы всего моего коллектива, бесконечные переговоры с издателями и, конечно, огромные финансовые затраты, которые несопоставимы с планируемой прибылью от публикации ее книг в России. С. Аллилуева обратилась ко мне с просьбой издать ее книги, я понимал, что это будет непросто из-за юридических проблем, связанных с ее авторскими правами. Но ее просьбы, письма, телефонные звонки убедили меня в искренности отношения ко мне. Ошибки, которые она совершала ранее, объяснились незнанием ею законов и ситуации в стране.

В результате мы заключили несколько соглашений, которые были оформлены должным юридическим образом. Главное в этих договорах, что у автора нет денег и все финансовые

затраты несу я, а в дальнейшем автор погашает их из причитающейся ей части гонорара.

Хочу разъяснить вопрос о гонораре. В договорах действительно отмечено, что С. Аллилуева благородно отказывается от денег, так как понимает, что ее гонорара не хватит для погашения моих расходов по возвращению ее авторских прав, которые она давно продала другим издателям. Ну и, конечно, других расходов, которые исчисляются десятками тысяч долларов. Все наши договоры подписаны и составлены должным порядком и абсолютно все проблемы могут и будут решаться в суде, к чему сейчас готовятся мои адвокаты. Решить, являюсь ли я литературным агентом Аллилуевой или нет, может только суд...»

ИЗ ПРОШЛОГО
И НАСТОЯЩЕГО



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ЭМИГРАНТСКАЯ ОДИССЕЯ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

Нет повести печальнее на свете

Пророк в своем отечестве

9 января 1975 года я уезжал из Москвы в Израиль. Я с порога отметал всякие сомнения, пребывая в твердой уверенности, что, как бы ни повернулась судьба, на Западе меня ждет будущее, как оно ждет каждого, кто избрал подобный путь.

К тому времени я уже хлебнул все, что мне положено было хлебнуть как бывшему коммунисту, бывшему члену Союза журналистов, бывшему зав отделом «Литературной газеты» Прошел через ночные допросы в КГБ, через голодовки протеста, через Коломенский следственный изолятор. И даже напечатал первую свою статью в газете «Нью-Йорк Таймс»: «Размышления перед аукционом», из нее следовало, что в советском бюджете появилась новая статья дохода — от торговли

живыми людьми, обязанными платить государству выкуп за свой отъезд.

Все это, впрочем, сделало меня в глазах отъезжающих не столько фигурой героической, сколько экспертом по делам отъезда, способным едва ли не перед каждым колеблющимся обрисовать его будущее там, в другой жизни. Притом сделать это так убедительно и оптимистично, что для человека переставал существовать вопрос «Ехать — не ехать?»

До отъезда оставались считанные дни. В доме моем не смолкал телефон. Звонил Вениамин Григорьевич Левич: не буду ли я возражать, если на мои проводы он приведет с собой Сахарова. Звонил тогда еще совсем молодой Хедрик Смит — хотел взять интервью о моей будущей журналистской деятельности. Планы свои я ничуть не скрывал — международная еврейская газета на трех языках: на русском, английском и иврите.

Каждый входящий в мой дом прежде чем произнести слово, красноречиво вскидывал палец к потолку: «Что, подслушивают? Ясное дело, подслушивают!» «Да, пусть их, говори, что хочешь». Тема была всегда одна и та же — чтобы не забыть я в своей будущей газете про такого-то и такого-то. И вот однажды, в этой предотъездной суете (время уже шло к вечеру) позвонила Ануля Габай, дочь знаменитого актера Мартинсона и жена кинорежиссера Генриха Габая. На утро Габай улетали в Израиль, и Ануля хотела напомнить мне про их вечерние проводы в кооперативной квартире на улице Черняховского. Но не только про это.

— Понимаешь, почему важно? — продолжала она. — С тобой жаждет встретиться один очень хороший человек. Что именно за человек, по телефону уточнять не стала. — Обязательно приходи, человек мечется, не знает, что делать...

Уже из коридора я услышал голос поющего под гитару Галича — я и сейчас уверен, что этот голос невозможно спутать ни с каким другим — то ли благодаря особому тембру, то ли благодаря его особому шарму.

Поджав под себя по-турецки ноги, Галич расположил-

ся с гитарой на роскошном персидском ковре, в тесном кругу провожающих — кто-то сидел рядом или полулежал на этом ковре (ковер вот-вот собиравшись уложить в чемодан). Многие теснились на широченном диване, единственно оставшемся изо всей Габаевской мебели.

Да и Галича самого, а я перед тем его никогда не видел, невозможно было не узнать. Может быть, оттого, что была в нем какая-то нездешняя, библейская красота? И при этом в облике что-то неуловимо детское и беспомощное. Но как ни описывай — хоть библейскую красоту, хоть детски беспомощное — все равно Галич другой. Живой Галич не получится. Бывает же такое в жизни.

Я вошел, когда Галич, видно, давно уже здесь находившийся, припал усталым лицом к гитаре и негромко допевал свою любимую «Тум-балу — Тум-балу — Тум-балалаайку...» Другого я в тот вечер не услышал — наверное просто опоздал — да и чем другим он мог заключить тот вечер, как не этой мелодично-грустной и такой бесшабашно веселой еврейской «Тум-балы»? Где еще встретимся? Когда еще встретимся? И не в последний ли раз в жизни, вообще, видимся?

В коридоре нас представили друг другу, и Галич сразу же, притом очень деловито перешел к интересующему его вопросу.

— Понимаете, Виктор, в чем моя проблема? Я не хочу уезжать из России. Не хочу! Да и что я там буду делать? Кому я там нужен? Это они хотят, чтобы я уехал. Что ж, на здоровье! Пусть тогда и выдворяют силой, в наручниках. — Он грустно взглянул на меня, желая получить от меня, эксперта, подтверждение своим мыслям. — Нет, в самом деле, что мы там будем с вами делать? Что? Вот вы, например, что собираетесь делать? — Я уж было приготовился раскрыть перед ним свои карты про международную еврейскую газету на трех языках. Что-то меня остановило — наверное, его смятенное, горестное состояние. Я, в отличие от него был, железным. И в ответ на все его излияния уверенно проскандировал:

— Саша, хотите знать мое мнение? Надо ехать, вот и все! — И чувствуя, что следует его хоть как-то успокоить, добавил: — Вы думали когда-нибудь о том, что вы там нужны и что вас там ждут. В свободном мире! И как еще ждут. Поймите же, вас ждет весь свободный мир...

— Вы так думаете? — чужим, неуверенным голосом переспросил он и подал мне свою мягкую, влажную руку.

Позже, когда уже на Западе я встречал его, я почему-то всякий раз вспоминал этот наш предъотъездный диалог. К тому времени я уже начал кое-как разбираться в этом лучшем из миров и во всяком случае понимал, что в роли столь мудрого эксперта по отъездным делам мог бы дать выдающемуся русскому поэту совет и помудрее, чем, закусив удила, рваться в любвеобильные объятия Запада. Вот уж истинно нет пророка в своем отечестве, а всякой попытке пророчествовать, если таковая делается, не должно остаться безнаказанной.

Дорогой мой, учите иврит!

Наказание последовало еще на моих проводах, когда сквозь взвинченный гул голосов все время долетал до меня горестный плач Маши Слепак — какую по счету семью они с Володей провожают, а сами все сидят и сидят. Естественно, я не был виноват в том, что они уже четвертый год в отказе — это факт. Но факт ведь и то, что я-то уезжаю, а они, Слепаки, сидят...

В пьяных висках все сильнее стучала мысль о газете: кто-кто, а я-то знал, что буду делать на Западе. О ней, о моей будущей газете, были все мои мысли, когда с женой и дочерью летел в комфортабельном «Боинге» в Вену, и рассевшись в мягком, великолепном кресле, ошалевши от счастья, глазел в иллюминатор. Наушники транслировали о моем передвижении по миру: «сегодня утром семья Виктора Перельмана по пути в Израиль отбыла из Москвы. В полдень Виктор Перельман с семьей приземлится в венском аэропорту и на несколько дней поселится в замке перемещенных лиц в Шинау. В Вене Виктора Перельмана встречает специальный

посланник Голды Меир по делам русских репатриантов Нехемия Леванон».

Так вот, специальный посланник Голды и будет первый, кому я изложу свой план международной еврейской газеты. Я уже придумал основные рубрики и даже заголовок передовицы. «Пока существует Кремль, евреи не могут спокойно спать!»

Нехемия оказался медлительным, лобастым, уже в летах израильтянином, поджидавшим меня в кафе и тотчас поднявшимся мне навстречу. Когда я приблизился, мы по-братски обнялись, и Нехемия крепко расцеловал меня.

— Ну что, Виктор, как там ребята? Как они? — забрасывал он меня вопросами. На что тут же последовал мой лишенный даже намека на возможный компромисс ответ: «Ребята, Нехемия, будут стоять насмерть! Пока существует Кремль евреи не могут спокойно спать!» «При чем тут насмерть, Виктор? Израиль — маленькая страна и хочет жить в мире со всеми, в том числе с Советским Союзом». Но я уже не слушал его.

— Понимаете, Нехемия, срочно нужна газета, международная еврейская газета на трех языках. — Он изучающе оглядывал меня, согласно кивал головой: да, именно газета на трех языках. На английском, русском и иврите! Совсем не плохая мысль! Потом, отхлебнув глоток кофе, поманил меня пальцем поближе (будто хотел еще раз расцеловать), но вместо этого припал к моему уху и как превеликую тайну, как высшее откровение жизни, проскандировал: «Дорогой мой, учите иврит!» Вот так встретил меня свободный мир.

На Рю де Мадам

Перед Галичем этот мир распростер свои объятия в русском эмигрантском клубе, размещавшемся в небольшом подвале на улице Рю де Мадам. Кто-то, не знаю уж почему, называл это помещение «масонским клубом», что ничуть не меняло того обстоятельства, что зал его мог от силы вместить человек сто — сто двадцать.

Мы с женой, оказавшись в те дни в Париже, пришли заранее, сели поближе к сцене. Я рассматривал этот зал и зрителей и никак не мог взять в толк, кто же осмелился устроить концерт Галича в такой шараге?

Сейчас, когда я все это вспоминаю, мне кажется, что я не встретил в этом зале ни одного знакомого лица, все места заняли сплошь какие-то божьи одуванчики, выходцы из прошлого века, в большинстве своем старенькие, седые, с моноклями и слуховыми аппаратами...

В подвале стояла страшная духота, одуванчики обмахивались веерами. Впрочем, в проходах сгрудился совсем другой, шумный и в чем попало одетый люд — то ли какие-то свежие эмигранты, то ли, вообще, неизвестно кто, прибившиеся на шум, несшийся из дверей «масонского клуба».

На сцене восседали патриархи: Архиепископ Иоанн Сан-Францисский, княгиня Шаховская, главный редактор «Русской мысли»...

Последним вошел в зал с иголки одетый и тогда еще совсем молодежавый Виктор Платонович Некрасов. Наконец решили начинать. Поднялся на сцену Максимов и стал долго и неловко (словно заранее предвидя, что вряд ли его поймут) представлять Галича, который, стоя на сцене, явно не знал куда деть свои большие руки и все время стирал со лба пот.

В этом зале, полном седых одуванчиков, на этой маленькой, ветхой сцене, которая то и дело поскрипывала под тяжестью переминавшегося с ноги на ногу Галича, начавшееся здесь действие про советскую жизнь казалось чьей-то злой, неизвестно зачем придуманной шуткой.

Картину эту по-своему дорисовывал и бодрячок Максимов, не спускавший влюбленных глаз с Галича. Не в силах оправится от несуразности происходящего, он, видно, так и не мог придумать, что же ему все-таки сказать, чтобы возбудить у зала интерес к Галичу. Он пытался говорить о его поэзии, разоблачающей советский режим, и о том, как его любят в СССР, и еще о чем-то, а потом, словно почувствовав, что все это пустое,

вдруг вскинул в сторону Галича руки и воскликнул: «Да вы посмотрите, господа, какой это красивый человек!»

Седые, молодящиеся дамы, сидевшие позади меня, словно по команде, наставили на Галича монокли. В зале раздались жидкие аплодисменты. В проходах захолопал прорвавшийся в зал безбилетный плебс. И после наступившей тишины началось, наконец, представление, много позже названное Андреем Синявским «Театром Галича», который на глазах у зрителей перевоплощался то в Клима Петровича Коломийцева, то в товарищ Парамонову, то в билетершу Тонечку... И все это сопровождалось не менее странными, чем само действие, стихами. «Ты ж советский, ты же чистый как кристалл, начал делать, так уж делай, чтоб не встал» — «Духу нашему спортивному, цвесьть везде! Я отвечу по-партийному — Будет сде...» «И в моральном моем, говорю, облике есть растленное влияние Запада» — « Не смотри, что я гулял с этой падлюю, ты прости меня, товарищ Парамонова...»

В зале наступила тишина, впрочем, то и дело прерываемая нетерпеливым говорком зрителей. «Господи! Что там ни говорите, а ведь слушают! — вот что значит Галич!» — успокаивал я себя. И вдруг услышал голос одной из моих молодящихся соседок с моноклями: та, что сидела подальше, была постарше и на протяжении всего концерта упорно не прекращала любопытствовать:

— Послушай, милочка, скажи мне, ты что-нибудь понимаешь в этих стихах — кто у них эта товарищ Парамонова? Пассия Хрущева, что ли?

— Да что ты дорогая? — последовало недоумение. — Пассия Хрущева — эта мадам Фурцева!

— А мадам Парамонова, кто такая?

— А мадам Парамонова — это, видно, из ихних профсоюзов!

— И ты слышала, что они вытворяют? Ужас! Сплошной адюльтер, — кто бы мог представить, и когда они только на службу ходят?

(Собственно, было у меня в тот прекрасно-чудный

вечер два театра: один — «Театр Галича», другой — не знаю уж как его назвать, исполнявшийся за моей спиной.)

— А как тебе нравится этот шедевр: «Как мать говорю и как женщина!» Ты поняла, кто это, в конце концов, говорит, мужчина или женщина? Чуть какая-то! А салака? С чем у них там едят эту салаку? Ты когда-нибудь слышала это слово?

Я смотрел то на Галича, лицедействующего на сцене, то на моих дам, прекрасных во всех отношениях, и силился постичь происходящее. Умом я все понимал — разные поколения, разные эпохи — чего же еще было ждать, но от этого понимания не было легче. Это как больной, долго подозревавший о наступавшем на него недуге и наконец достигнутый, мог бы, казалось, испытать что-то похожее на удовлетворение, но ничего подобного я не испытывал при виде этой трагикомедии, героем которой стал большой поэт, обретший свободу... Но что? Что ему от этой свободы, ударенному обухом непонимания?

Вот этот удар, как мне показалось, я тогда и почувствовал. Как ни странно в тот первый вечер он словно миновал сознание Галича (со стократной силой он все это почувствует позже), а тогда, верно, была эйфория, был Париж и вся эта пусть и нафталиновая, но все же необыкновенная реальность, открывшаяся глазам неопита. Другое дело я — циник, израильтянин, уже хлебнувший исторической родины, уже успевший кое-чего понять и навидаться. Ах! Ах! Газета, на трех языках? Так не будет у тебя газеты на трех языках — аглицын паровоз! — как любила говорить моя старая мама, доживавшая свой век в Доме престарелых в Натании.

Тут, в Париже, происходило совсем другое — быть или погибнуть большому русскому поэту? Вот ведь как повернулась история, так невинно начавшаяся с тогдашнего моего монолога у Габаев (монолога этакого домощенного эмигрантского Менахем — Мэндла) на вечную еврейскую тему «Ехать — не ехать!»

Мелодрама в Мюнхене и комедия в Неве Шарете

Я, кажется, ушел от темы... Я всегда от нее ухожу, когда начинаю вспоминать Галича — может быть, от того, что она слишком печальна и широка — всех она обнимает: и Галича, и Максимова, и Синявского, а с ними, уже ушедшими в мир иной, обнимает она и жизнь автора этих строк, который, боюсь, взялся за непосильную задачу — рассказать, как все это было. А, может быть, и не было, может, все это мой бред и фантазия, а были и есть самодеятельные перестроечные театрики и заводские кружки, нет, нет, да и вспомнят они некогда жившего поэта Галича, которому сегодня исполнилось бы 80 лет и на мемориальную доску которому, говорят, так и не нашлось средств у московской мэрии.

Легко и привольно плести вязь мемуаров о человеке, судьба которого слилась с твоей собственной судьбой. Да еще если все было на Родине, если среди своих, если событие за событием, а если в эмиграции, где даже слово «свой» наделено особым смыслом и где на все воля Божья: и на вознесение, и на счастье, и на любовь, да просто на встречу с близким человеком, когда все раскиданы и брошены на произвол судьбы: когда расположит Всевышний, тогда и встретитесь, как, собственно, и происходило у нас с Галичем: то в Париже, на улице Рю Мадам, то в Израиле в отеле Шератон, то в Западном Берлине, в Грюневальде, то снова в Париже, где, сбросив плащи и шурясь от парижского солнышка, бродили мы по берегам Сены, не зная, что Всевышний уже положил быть нашей встрече последней.

Снисходительный читатель простит мне этот сюрреализм и что так мало в моем повествовании логики, а если оглянуться в ретроспективу, то еще меньше щедрости чувств: живя вдали от Родины, мы всегда делали какое-то «историческое дело» и вечно куда-то спешили, и никогда не хватало времени сказать друг другу пару человеческих слов.

Так вот и получилось, что, вернувшись из Парижа в Израиль и погрузившись в дела только что созданного журнала, я в суете жизни словно забыл о Галиче. Приезжавшие из Европы рассказывали, что он работает на радиостанции «Свобода», куда его приняли как будто старшим редактором русских программ. Говорили, что оказался он на станции не очень ко двору, оно и понятно, какой там из него старший редактор! Так что не приходилось удивляться, что шли по начальству доносы, что де старший редактор Гинзбург систематически опаздывает на службу и плохо работает с рукописями авторов. К тому же доброжелатели информировали, что Ангелина, жена его, по-черному запила, угодив в одну из самых дорогих психбольниц Мюнхена, а он в дополнение ко всему связался с какой-то «лярвой» из машбюро «Либерти», и муж последней носится по Станции и размахивает пистолетом.

Конечно, сплетни! Хотите верьте, хотите нет, но чего невозможно было представить, — так это, что Галич собственной персоной, в сопровождении новой своей подружки явится в Израиль. Притом в своем былом величии, как любимый поэт и бард, чтобы за какой-то месяц покорить весь русский эмигрантский Израиль. Можно было бы это назвать воздаянием Божиим за муку мученическую среди божьих одуванчиков в клубе на Рю де Мадам. А заодно и за доносы на радиостанции «Либерти» и даже за психушку, в которую угодила страдальница-Ангелина, — за все пришло воздаяние, настолько вознесла его на Святой земле любовь и восторг соотечественников.

Виновником триумфа стал некто Витя Фрейлих, по характеру — славный малый и оптимист, по призванию — бизнесмен, а по карьере — незадолго перед этим администратор журнала «Время и мы». Его можно было бы назвать добрым гением Галича, если бы... Ах, если бы, если бы... если бы знал он в жизни чувство меры! То, как рассказывали, не рыдал бы после случившегося приятелям в жилетку, повторяя столь горькую во все времена поговорку — пословицу: «Жадность фраера сгубила!»

Но не станем забегать вперед — ведь началось-то куда как счастливо, когда израильский антрепренер Фрейлих предложил поэту и барду Галичу заключить договор на цикл его выступлений во всех крупных концертных залах страны. Предвкушая барыши, Фрейлих звонил мне в редакцию, и выразительно шурша в телефонную трубку купюрами, сгорая от счастья, блеющим голосом напевал: «Ах, доллары, ах доллары, как вы хороши, любим мы вас ото всей души!» Все отмеряно. Все подсчитано — переходил он тут же на прозу: 30 тысяч долларов на кон и столько же — Саше Галичу.

И в тот же примерно день Александр Галич стал героем другого монолога, на этот раз одной из рижских пациенток моей жены, которая пришла к ней на прием, в поликлинику бывших рижан, в поселке Неве Шарет. Вначале тихо-мирно попросила выписать рецепт и вдруг задала вопрос, не имеющий к ее здоровью ровно никакого отношения.

Поверьте, не стал бы я с такими подробностями расписывать эту историю, не имей она прямого отношения к появлению на сцене уже настоящей героини этой повести (которая на другой день после смерти Галича назвала себя во французских газетах его морганатической женой).

Что ж, смешное и трагическое всегда переплетаются в жизни. Так и на этот раз. По крайней мере, если верить словам жены, которая, вернувшись из Неве Шарета, красочно рассказывала о том, что за причина побудила явиться к ней эту не лишнюю шарма экзотическую рижанку:

— Вы только ради бога извините меня, доктор Перельман, но мне говорили, что ваш муж писатель. Это правда? — начала свой монолог упомянутая пациентка, заполучив совершенно не нужный ей рецепт. — Так вот, какой я хотела задать вам вопрос: может быть, вы слышали такую фамилию Галич? Вы не подумайте, что я желаю ему чего-нибудь плохого, пусть этот Галич живет себе на здоровье, хотя мне писали, что Миррочкин муж собирается ему сделать что-то нехорошее...

— О чем вы? Какая еще Миррочка? — ничего не понимала жена.

— Ах, если бы вы знали, что для меня значит моя Миррочка. У нее прекрасная семья, муж имеет мясной магазин. В Мюнхене ей только птичьего молока не хватает. Сын у нее Робик, мой внук. Чудный мальчик. В шестом классе. Так вот, моя приятельница — одесситка — Римма Лазаревна, сын у нее работает на радиостанции «Свобода», написала мне открытым текстом, что этот Галич неровно дышит к Миррочке. Будто она даже жаловалась, как ей опротивел ее мясник, целый день деньги считает, а ей хочется другого — хочется поэзии, слушать стихи. Я бы вам не стала всего этого рассказывать, если бы дело не дошло до того, что папа Робика собирается этого Галича застрелить. И он это сделает, он же сам стал психическим на почве любви к Миррочке. Ну и скажите теперь, как вам нравится вся эта история?

— Но чем же я вам могу помочь? — недоумевала жена

— Доктор Перельман, я вам верю, как родной... Может быть, ваш муж может что-нибудь разузнать? Скажите мне хоть одно слово. Кто этот Галич? Он хотя бы порядочный человек? Я слышала, что он крестился. Неужели это правда?

Ах, если бы только одну Миррочкину маму занимал этот вопрос: что представлял собой приглашенный в Израиль поэт Галич? В аэропорту имени Бен Гуриона его встречал чуть ли не весь журналистский корпус Тель-Авива. В специально отведенной комнате он давал интервью, которое поначалу, впрочем, шло довольно долго и скучно. Пока корреспондент газеты «Маарив» не задал вопроса, ради которого, кажется, и собралась сюда вся журналистская братия.

— А что, Адон Галич, это правда, что пишут о вас западные газеты?

— Не понимаю, о чем вы, — насторожился в свою очередь Галич.

— Ведь вы еврей? И насколько я понимаю, вы приехали в Израиль как еврей, чтобы выступить перед новыми

олим из СССР. И наверное, собираетесь иметь хорошие деньги, не правда ли, Адон Галич? Но ходят упорные слухи, что перед выездом — а ведь вы выехали по израильской визе — так вот, перед выездом в Израиль вы приняли православие. Не считаете ли вы это предательством своего народа? Да, да, предательством, не удивляйтесь, Адон Галич! Мы, израильтяне, любим называть вещи своими именами.

Я видел, как на рыхлом лице Галича появилась болезненная гримаса. И, верно, от этого, он стал опять похож на большого, стареющего ребенка.

На нем была шелковая рубаша с открытым воротом, он расстегнул ее еще больше, я чувствовал, как он тяжело дышит. Наконец, он извлек откуда-то, из кармана брюк большой батистовый платок и стал утирать им свой влажный лоб

— Видите ли, мой дорогой, — наконец сказал он, обливаясь от духоты потом, — вероисповедание — это ведь дело совести каждого человека.

— Ну и что вы хотите этим сказать?

— Все, что я хотел сказать, я уже сказал, может быть у кого-то еще есть ко мне вопросы?

Вопросов не было, и хотя гул не смолкал, все стали постепенно расходиться. Галич белый, как бумага, поднялся тоже и своей тяжелой, шаркающей походкой отправился к выходу, где его ждала машина. Я хотел было нагнать его и даже ускорил шаг. Мне надо было ему что-то срочно сказать, но я не знал, что именно, и когда я почти сравнялся с ним и увидел перед собой его потную, усталую спину и мокрую, вылезающую из-под брюк рубашу, я остановился и передумал. Позже! — решил я — будет еще время.

Час воздаяния

Вечером, в день приезда, Галич вместе со своей подружкой Миррой, про которую ходило столько сплетен, пожаловали к нам в гости. Была у нас уже давно обжитая квартира с большим салоном и современной,

обитой кафелем кухней. Жена приглашала в салон, но, как часто бывало в Москве, наша маленькая компания решила расположиться в кухне.

Мирра была типичная молодая рижанка, с фигуркой балерины, высокая, тонкая и беловолосая. Она была совершенно не в «пандан» барственному и артистичному Галичу. Одета в строгий рижский костюм, с портфельчиком в руках, временами она вытаскивала авторучку и раз даже что-то записала в изящный блокнотик. К тому же, она не выговаривала буквы «р» и почти незаметно для окружающих грассировала — словом рядом с Галичем сидела его личный секретарь, поверенная в делах, референт — кто хотите, но только не овеванная сплетнями Дездемона со станции «Свобода», из-за которой вот-вот должна была пролиться кровь.

Беседа не клеилась. Ничего даже близкого к тому, что происходило когда-то в квартире Габаев. Галич пришел без гитары. Как всегда, много пил и, как всегда, не пьянел, только становился все более грузным и медлительным. Был он отчего-то грустен. Судя по его отрывочным репликам, его Ангелина, видно, уже никогда не оправится и не выйдет из своего заведения, которое, по словам Галича, обходилось ему в копейку — 600 марок в месяц, а что тут, друзья, поделаешь? — не уставал он наливать себе коньяку. Такова, мои дорогие, жизнь.

Разошлись рано, так мы с Галичем ничего и не сказали друг другу, а с другой стороны, что было говорить? Мирра не переставала посматривать на часы, и бросать на него выразительные взгляды, один раз до меня даже донесся ее низкий грассирующий басок: «Сашенька, не забудь, что у тебя будет завт-г-а, нам пора, до-го-гой!» — нежно водила она пальцами по его большой, влажной руке и энергично тянула к выходу.

Назавтра состоялся первый концерт Галича. В самом большом тель-авивском зале Гейхал Атарбут, куда не в пример клубу на Рю де Мадам, собрались три тысячи зрителей. Вот и наступил час воздаяния за все его мытарства в эмиграции. Как писала израильская «Маарив» — это был успех, которого не знал ни один из заезжих

гостей. Газеты констатировали факт: журналистам было недосуг копаться в тонкостях того, что произошло в самом престижном зале Израиля. Сказать, что это был триумф, — значило не сказать ничего, а может быть, даже противоположное тому, что имело на самом деле место в этот вечер. Триумфы переживают победители, триумфаторы, александры македонские, наполеоны, Шаляпины... Галич не был ни триумфатором, ни победителем, а, в сущности, горестной жертвой советского режима, превратившего его, выдающегося поэта и барда, в простого еврейского эмигранта Александра Гинзбурга, которого, дабы не умер с голода и не слонялся без приюта по миру, пристроили на Мюнхенской радиостанции «Свобода», чтобы занимался, как сотни других неприкаянных, антисоветской пропагандой в эфире. Возможно, что все сказанное здесь звучит жестоко. Но думаю, что жизнь в чужой Германии оказалась еще более жестокой, если, конечно, не лицемерить и называть вещи своими именами.

Я уж не говорю о том, что судьба одновременно полоснула и по некогда любимой Ангелине, рожденной в стенах ВГИКА московской звезды и красавицы, угондившей в алкогольной горячке в одну из психушек Мюнхена. Я уже писал о доносах на Галича, а еще надо сказать о «тепле», которым его окружили на станции. Помню, как случилось мне однажды оказаться в печально знаменитой кантине* «Либерти». По обыкновению до ночи забивавшие козла доминошники уже успели прилично набраться и давно не стеснялись в выражениях. «А что мне Галич, положил я на этого Галича! — донеслось до моего стола. — Кому он на хер этот еврей нужен со своими придурками — Коломийцовыми? Спасибо сказал бы, что приютили, а он еще залуцается, блядей заводит!»

Вот ведь какая жизнь подпирала из Мюнхена триумф Галича, вышедшего с гитарой в тот вечер на сцену зала «Гейхал Атарбут». Нет, не триумфатору в течение десяти минут аплодировали три тысячи еврейских беглецов

* Кафе.

из брежневской России. Галич еще и слова не произнес, он просто вышел своей неспешной, болезненной походкой на сцену, тяжело дыша от волнения и большого сердца. Вышел и встал, ожидая всего на свете. И зал взорвался овацией. В течение десяти минут аплодировали ему три тысячи еврейских беглецов. Начисто забыв, что приехали в Израиль из национальных побуждений, стоя они приветствовали ушедшего от еврейства Галича. А когда успокоились, он низко, по-русски, поклонился залу и сказал: «Спасибо, мои дорогие! Большое спасибо!»

Итак, воздаяние за что? За то, что ушел от своего народа? От еврейского Бога? От еврейской судьбы? Как же трудно отвечать на вопросы, которые то и дело подсовывает мне жизнь. Можно воздавать за героизм, за заслуги перед родиной, перед народом, за службу вождю, черту, дьяволу — наподобие вручения сталинских орденов, которыми приторговывают нынче на всех европейских толкучках. А если без красивых слов, то не было ли это воздаяние за совсем другое: за общность судьбы, за покинутую Родину, — Россию, за всю нашу русско-еврейскую трагедию, которой и сегодня конца не видно и которую разделил со всеми нами поэт Александр Галич?

И снова провал

Поставить бы мне тут точку, хоть и временную, чтобы передохнуть читателю, но тянет меня вперед, поведать, вырвать из себя, чем же закончилось то, что вполне можно было назвать «Взлетом Александра Галича».

Вряд ли кто-то мог предположить, что подбиваемый своим антрепренером Галич очень скоро еще раз приедет в Израиль, чтобы дать дополнительную серию концертов. Это ведь так по жизни — по крайней мере по жизни актера — когда достигнутый успех не дает покоя. А если еще и деньги, которых всем нам всегда не хватает. Признаться, обо всем остальном, то есть об этом несчастном втором «явлении», мне даже неохота

рассказывать — как именно все это произошло, как в один прекрасный день позвонила нам с женой Мирра и, не в силах скрыть рыданий, стала настаивать, чтобы мы срочно брали машину и ехали к ней в Шератон.

Плача и схватившись за голову, она стала говорить, что Саша рехнулся, напился и не хочет идти к зрителям. Понимаете, вчера на концерт к нему пришло всего одиннадцать человек. «Ах, — что же делать? Что делать? Он погубит себя и всех нас, он совсем г-ехнулся». На этот раз Мирра, не в пример нашей первой встрече, была непричесанна, в каком-то непостижимо заношенном халате — заплаканная и несчастная подружка Галича, которая не знала, куда себя деть от постигшего ее несчастья.

Чувствую, никак мне не собрать цельной и хоть немного счастливой истории о моем герое, да хоть бы один приличный кусок из его эмигрантской жизни, то одно мешает, то другое, то третье, как слышал я с детства: коли счастья нет, так это надолго.

Кажется, в тот же вечер я позвонил Фрейлиху, чтоб выяснить подробности случившегося. Как я и ждал, он оказался в куда более веселом настроении, чем Галич и Мирра: «Что тут, Виктор, скажешь, жадность фраера сгубила. Вот и все». И в утешение кажется, добавил: «А с другой стороны, такова жизнь артиста, селя — ви, как говорят французы! Судьба играет человеком, а человек играет на трубе».

Жить бы просто у моря

Нет, не хотел я этого, а забежал вперед. Вместо того, чтобы двигаться не спеша, как положено, по стежке сюжета. Все из-за моего, самому мне ненавистного еврейского нетерпения («всему свое место и время» — явно не для меня), вечно рвусь свести воедино все несчастья и горести и выставить эту чудную картинку перед читателем. А уж потом вязать воедино концы с концами сюжета. Вот и следует мне, в связи со сказанным, вернуться назад, когда Галич впервые приехал в

Израиль и после счастливого вечера в Гейхал Атарбуте пригласил меня к себе в номер, в гостиницу Шератон, чтобы отдать для журнала стихи. «Знаешь, совсем новые, не поверишь, когда написаны — позавчера ночью. Хочешь послушать? Слушай». И грузно расхаживая в одной пижме и одних носках по ковру, стал читать свою «Притчу», вскоре напечатанную в третьем номере журнала «Время и мы» за январь 1976 года.

Мне все чаще кажется, что «Притча» эта была его собственной судьбой, если угодно, его прозрением своей скорой гибели. Вот ее текст, прочитанный в то утро самим Галичем.

По замоскворецкой Галилее
 Шел он, как по выжженной земле,
 Мимо белых окон «Бакалеи»,
 Мимо черных окон ателье,
 Мимо, мимо булочных, молочных,
 Позабывших веру в чудеса.
 И гудели в трубах водосточных
 Всех ночных печалей голоса
 Всех тревог, сомнений, всех печалей
 Старческие вздохи, детский плач
 И осенний ветер за плечами
 Поднимал, как крылья, темный плащ,
 Мелкий дождик падал с небосвода
 Светом фар внезапных озарен,
 И уже он видел как с восхода
 Через юго-западный район
 Мимо показательной аптеки
 Мимо гастронома на углу
 Потекут к нему людские реки
 Понесут признание и хвалу...

...Он читал, грузно расхаживая по номеру. За окном гостиницы ласково плескалось море. Свежий ветерок полоскал занавески и, прорываясь в номер, мягко развевал изрядно поседевшие волосы на его большой голове. Ни до, ни после, никогда в жизни я не видел, чтобы он был в таком идиллическом настроении, как в это

израильское утро, в своем номере гостиницы Шератон...

...И не ветошь века. Не обноски
 Он им даст начало всех начал
 И стоял слепой на перекрестке
 Осторожно палочкой стучал
 И не зная, что пророку мнилось,
 Что кипело у него в груди,
 Он сказал негромко: сделай милость!
 Удружи дружок, переведи!..
 Пролетали фары снова, снова,
 А в груди пророка все ясней
 Билось то — несказанное — слово
 В несказанной прелести своей.
 Много ль их на свете, этих истин,
 Что способны потрясти сердца?!
 И прошел пророк по мертвым листьям,
 Не услышав голоса слепца.
 Было все отныне и вовеки,
 Свет зари прорезал ночи мглу,
 Потекли к нему людские реки,
 Понесли признание и хвалу.
 Над вселенской суетной мышью
 Засияли истины лучи...
 Но слепого сбитого машиной,
 Не сумели выходить врачи.

Галич замолчал, распахнул окно и взглянул на море.

— Хорошо, а? Взять бы и остаться на всю жизнь на этом израильском море. Кстати, знаешь, у меня идея — предложить мюнхенскому начальству создать в Израиле бюро радио «Свободы». А что такого? Во Франции бюро есть. В Англии есть. В Америке есть, а почему бы ему не быть в Израиле, в Тель-Авиве. Как ты думаешь, поддержат? Вот приеду и напишу меморандум — и сам же возглавлю это бюро. Как ты думаешь, поддержат? — снова остановил он на мне долгий взгляд, точно и от меня тоже зависела судьба его идеи. Немного помолчал, походил по номеру и сам же себе ответил: Ни черта

не поддержат! Что им я? Что им Израиль? Кому в этом мире что нужно? А меморандум я все-таки напишу, приеду в субботу в Мюнхен и сразу же засяду. Хочу я здесь жить. Как когда-то в Одессе, без радио «Свободы», без политики, просто жить у моря, как Хэмингвей-евский старик.

Никакого меморандума от Галича так и не поступило. Правда, в Израиль он, как помним, еще раз приехал, и чем это кончилось, читатель уже знает: он снова уехал в Мюнхен, правда, на этот раз ненадолго, жизнь его скоро круто переменялась. Господь снова располагал как хотел, и, как всегда, не в пользу Галича.

«Ненавижу этого ирода!»

Между тем его «театр» все чаще выходил за границы сценического действия, сценой все больше становилась сама жизнь — вначале жизнь станции «Свобода», затем города Мюнхена, по которому в поисках ускользающей жены метался готовый на все владелец мясной лавки Мирник. И уж затем на сцене появляется Париж, куда в один прекрасный день съезжаются герои моего повествования. Зачем съезжаются? Не слишком ли часто, вы ищите смысла во всем происходящем?

Началось с того, что Дирекция радио «Свобода», явно не желая дожидаться, чтобы Мирник учинил кровавую баню, решила перевести Галича на работу в Париж. Наконец-то! — торжествовала замученная двойственностью своей жизни Мирра, — счастье готово было улыбнуться и ей. Теперь они с Галичем могли покинуть ненавистный Мюнхен с психушкой, заточенной туда Ангелиной и вечно размахивающим пистолетом ревнивцем-мужем. Теперь влюбленных ждали свобода и Париж, где они могли свить себе тихое гнездышко и где Мирра могла дать Робику французское воспитание. Она даже купила ему красочный путеводитель по Парижу и французский учебник для иностранных студентов.казалось, после стольких треволнений в ее жизни и впрямь подул попутный ветер. И возможно все так бы и было,

если бы не упомянутый Господь. Из заведения Ангелины поступило на имя Галича письмо, авторы которого, желая порадовать одинокого поэта-эмигранта, сообщали, что его супруга — на удивление всему свету! — вдруг круто пошла на поправку и в теперешнем состоянии может безо всякого ущерба для здоровья жить подле любимого мужа.

Теперь и на Станции могли успокоиться — в Париж отправляли не беспутного Дон Жуана, а здоровую и воссоединившуюся наконец семью.

Но планам Станции не дано было осуществиться, а семье Галичей в покое и мире прибыть в Париж, то есть в Париж они прибыли, притом почти с целым вагоном мебели. Но следом за ними, со скоростью ветра и сыном Робином, с одним-единственным чемоданом в руках, туда устремилась Мирра, поклявшаяся сама себе, что вот так просто, за здорово живешь, не отдаст своего Галича этой сумасшедшей алкоголичке.

Воссоединившаяся семья сняла квартиру на одной из аристократических улиц, поблизости от Трокадеро, и параллельно с ними, в маленьком тупиковом переулке поселились Мирра и Робик.

О происшедшем я узнал от самой Мирры, когда встретил ее, великолепно одетую, в сверхмодной французской шляпке в Булонском лесу, где она выгуливала своего любимца, испанского терьера, имя которого я никак не мог запомнить.

Какими судьбами я очутился в это утро в Булонском лесу, мне вряд ли за давностью лет вспомнить — скорее всего в очередной раз (я проделывал эту операцию каждые полгода) привез журналы в русский книжный магазин на Сэнт Жевеньеву.

Завидев меня, Мирра страшно обрадовалась, велела завтра же приходиться на обед — ей необходимо срочно со мной посоветоваться.

Обитель, в которую я явился, с большой натяжкой можно было назвать нормальным жильем. Была она без лифта и располагалась на верхотуре какого-то ветхого строения. Мне показалось, что когда-то здесь была

даже не комната, а огромная ванная, переделанная в жилье таким образом, чтобы можно было уместить кровать (на которой спали Мирра с Робиком), а в противоположном углу, за занавеской, оборудовать другой закуток для случайных гостей, куда Мирра гостеприимно пригласила меня ночевать в любое время, когда мне вздумается.

Сама она снова была другой. И уж во всяком случае совсем не такой, какой была юная очаровательная француженка, увиденная мной в Булонском лесу. Явно был у нее дар к перевоплощению — то в неприступного референта и секретаря своего босса Галича, то в парижскую куртизанку, встреченную мной в Булонском лесу. Теперь она снова стала похожа на ту самую, несчастную подружку Галича, которая билась в истерике, пытаясь его, мертвецки пьяного и преданного зрителями, вытащить на сцену полупустого зала.

Усадив меня обедать, она долго извинялась за свой вид, говорила, что с самого утра занята готовкой и постирушками. Для приличия спросила про мою израильскую жизнь, и тотчас перешла к своей коронной теме — к Галичу. Точнее даже не к нему, а к бесконечным обвинениям в его сторону — какой д-г-янной и наглой личностью он оказался. Она же мать. У нее ребенок, а он раз-г-ушил ее семью, да всю ее жизнь (в Мюнхене у нее было все на свете, кроме птичьего молока,) а теперь она нищенка, не знающая, как прокормить единственного сына. Потацил неизвестно зачем в Париж и теперь почти не заходит и ко всему прочему он еще под пятой у этой сумасшедшей алкоголички. Боже, что делать! Если бы все это увидела мама, она бы сошла с ума. Мирра требовала моего совета, она же одинокая женщина, но стоило мне хоть слово сказать в защиту Галича, как она снова обрушивалась на него с бесконечными попреками:

— Ну скажи сам, зачем мне нужен этот прохиндей, мне же только тридцать лет, что я не могу уст-г-оить свою жизнь — ты же сам видел, как в Булонском лесу зырят на меня мужики, только клики.

Я уже жалел, что дал себя втянуть в эту историю, подумывая, как бы поскорее ретироваться, как вдруг в передней раздался звонок. Мирра в мгновение стала пунцовой: «Он! явился дружок, не запылится?» Бросилась к зеркалу, стала красить губы, металась по комнате, не зная, что на себя надеть. Когда он вошел, бросилась к нему на шею, потом усадила на тахту и села к нему на колени сама. «Саша, как это так, без звонка, газве так поступает интеллигентный мужчина? А, может, у меня любовник, хорошо вот, Виктор, свой человек».

— Любовник? Любовника мы застрелим, как врага народа, — улыбнулся Галич и повесил на единственную вешалку пиджак.

— Боже мой, Робик, что же это я его не бужу, Робик, вставай сейчас же, дядя Саша пришел. Виктор, если бы ты знал, как он обожает Сашу. Сашенька, что будем пить: коньяк? Виски? Бух-г-ундское? Боже, какой праздник, Саша! — Она бросилась к нему на шею, потом прижалась к груди. — Ну что же ты молчишь, скажи что-нибудь, это же надо явился — не запылится, вот Виктор сколько тебя не видел, а ты молчишь, набравши в рот воды. Виктор, ты знаешь, Саша у нас глухонемой, интересно, А? Кто бы знал, как я ненавижу этого ирода!

После этих долгих излияний, словно даже уставши от них, Галич сказал, что он приглашает нас с Миррой в русский ресторан, где ждет его какая-то русская слависточка из Сорбонны, хотевшая с ним побеседовать о его творчестве.

— Кто? Кто? Слависточка?! — засмеялась Мирра. — Это что еще за слависточка?

Обыкновенная слависточка, как все, страшной войны, но со связями в издательстве «Альбин Мишель», нужна исключительно из деловых соображений.

Чужая тайна

Сели за уютным столиком в самом дальнем углу ресторана. Вся беседа со слависточкой была сплошным монологом Галича, сопровождаемым тостами, во-пер-

вых, за красивых женщин, во-вторых, за русскую литературу, в-третьих, за Россию, за поэзию, за Париж и еще бог весть за что.

Время шло медленно, и еще не было десяти, когда он вдруг с ужасом в глазах спохватился и сказал, что ему срочно нужен телефон-автомат. Где тут автомат? В вестибюле? На первом этаже? И с трудом волоча ноги по лестнице, нервничая и тяжело дыша, он заторопился вниз.

За столом замолчали. Слависточка, рыжая француженка в роговых очках и со школьной тетрадкой в клеточку (которую она без устали кромсала в руках) сразу же скисла, потускнела, словно потеряв всякий интерес к жизни и стала задавать Мирре какие-то дурацкие вопросы: кто она, есть ли у нее муж и семья и какое отношение она имеет к Александру Аркадьевичу.

Прошло минут пятнадцать-двадцать, Галича все не было. Загулял наш Галич, не находила себе места Мирра, пока, наконец, не отрядили меня вниз проверить, куда он все-таки запропастился. Я почти вплотную подошел к телефону-автомату, Галич сделал вид, что меня не видит, продолжая бурное объяснение с кем-то на другом конце провода. Он тщетно пытался что-то объяснить, но судя по всему, на другом конце провода ему не хотели верить.

Он стирал со лба пот, размахивал руками (я, кажется даже пару раз услышал: «Ну, полноте, дорогая, возьми себя в руки!»!), на другом конце провода не хотели ни брать себя в руки, ни давать пощады. Наконец, он в изнеможении повесил трубку и, едва передвигая ноги, зашаркал к лестнице, ведущей на второй этаж. А затем медленно побрел к нашему дальнему столику.

— Кто это так замучил нашего Сашеньку? — впилась в его усталое лицо Мирра, — да, я такой мучительнице голову све-г-ну. Скажи только, кто она? Ага, догогуша, догадываюсь.

Галич в ответ только махнул рукой — да там один мерзавец со станции...

— Ме-г-завец или ме-г-завка? — безжалостно затягивала свою удавку Мирра.

— Ну что, друзья, по коням? — не слушал ее вконец обессилевший Галич.

Когда вышли из ресторана, убитая всем происходящим слависточка со всеми распрощалась, и Саша велел таксисту ехать к Мирриному дому. А когда приехали, вежливо раскрыл перед ней дверь.

— А ты, д-г-ужок? — залилась она краской. Он молча кивнул на меня, сидевшего на заднем кресле: а этого куда девать, если они уйдут?

— Нет. Нет, господа, я еду к себе в гостиницу «Мартиньян» — у меня забронирован номер, — решительно отрезал я.

— Вот видишь, что значит интеллигентный человек! — Мирра стала решительно стягивать с него пальто. На усталом его лице появилось выражение страдания. — Сашуля, д-г-ужок ну зайти, на минуточку, давай, вылезай стагичок...

— Нет, Мируша, сегодня нет, ты же отлично знаешь, что мне всю ночь работать.

Повисши на нем, она не желала его отпускать, что-то шептала ему в ухо, пока шепот не перешел в скандал на всю улицу.

Ясно, что я был тут третий лишний.

— Подожди, Виктор, я же обязан тебя подвезти, — жалобно взмолился о спасении Галич, но я быстро распрощался и, не оглядываясь, бросился по направлению к станции метро.

О Галиче Мирра с тех пор больше не говорила, словно его вообще в этом мире не существовало. Стала она ко мне заметно холоднее, будто была у меня перед ней невыразимая вина — так, видно, всегда случается, когда оказываешься втянут в чужую тайну и еще хуже, когда в чужую интимную тайну.

Однажды, оставшись в Париже без ночлега, я все-таки решил воспользоваться гостеприимством Мирры и переночевать ночь-другую в ее заброшенной Богом обители. Встали в то утро поздно. Робика она отправила в школу. О Галиче ни слова, но где-то ближе к десяти оделась во все модное, долго крутилась перед зерка-

лом, примеряя свою любимую шляпку с пером и, крикнув мне из двери «Адью!», отправилась прогуливать своего терьера в Булонский лес. Она мне этого не сказала, но я был уверен, что именно туда.

На другой день все повторилось сначала. Я понял, что все ее утренние прогулки, среди парижского бомонда в облике парижской куртизанки — (каждый божий день с десяти до одиннадцати утра) стали частью ее жизни, своего рода ритуалом, смысла которого мне так и не удалось разгадать.

А на кладбище все спокойненько

Чем больше углубляюсь в прошлое, с тем большим постоянством ускользает от меня логика человеческих поступков, — будь то Галич, о котором пишу, будь то люди, рядом с ним проводящие жизнь, будь то, наконец, я сам, всегда гордившийся своим здравым смыслом — с упомянутой логикой, похоже, у всех все одинаково.

Несколько лет назад прочел я в парижской «Русской мысли» письмо группы русских диссидентов об угрозе, которая нависла над Россией, раздираемой коррупцией, мафиями и преступностью. И даже не смысл этого горького письма, во многом справедливый, более всего поразил меня, а два его автора, поставившие свои подписи рядом: Максимов и Синявский, в течение многих лет они были намертво разделены конфликтами и раздорами. Помните «Интернационал сопротивления», Максимовскую «Сагу о носорогах» и полные сарказма ответы Синявского-Терца? Прошло так мало времени, и уж не вспомнить мне, за что же так долго лилась кровь? Неужто все те же эмигрантские свары? Во все эпохи одинаково печальные судьбы политических изгнанных?

Но здесь я не о политике, а о все той же вздорной логике человеческого поведения. Вот подхожу я к одной из последних встреч с Галичем, на этот раз в Западном Берлине, в одном из роскошных ресторанов Грюневальда. Свели нас все те же, родные диссидентские дела. Это было время, когда уже полным ходом выходил на

Западе журнал «Время и мы», коим был я дни и ночи занят. Но ничто не помешало мне принять приглашение Максимова в Берлин, на расширенное заседание редколлегии «Континента» — так называлась та незабываемая встреча.

Съехались в Берлин на это мощное собрание борцы со всего свободного мира: энтеесовцы, сионисты, иудеохристиане. Рассказывали, что американцы вкупе с Шпрингером бросили на это мероприятие больше ста тысяч долларов. С утра ждали прессу, опять же со всего свободного мира. Не явился ни один западный корреспондент, и борцы оказались предоставленными сами себе. По коридорам метался разъяренный Максимов, только что отправивший телеграмму Акселю Шпрингеру, в которой открытым текстом писал, что в его издательстве «Ульштейна» засела «красная сволочь».

Мария Васильевна Розанова вела кулуарные переговоры с руководителями того же «Ульштейна» на неизменную тему: «Куда катится «Континент»? Далее грозное требование: «Карфаген должен быть разрушен!» Или как минимум отдан Синявскому. И только Галич, истый голубь мира, с утра еще трезвый, как стеклышко, переходил от одной группы к другой и восклицал: «Господа, попрошу соблюдать декорум» и всех зазывал в зал, чтобы начинали прения.

Чудеса начались тогда, когда съехавшиеся со всего мира диссиденты один за другим стали получать слово. Прибыли, чтобы пригвоздить к позорному столбу ненавистный режим, с чего, впрочем, каждый и начинал. А дальше...? Ах, что началось дальше? Эма Коржавин, прилично отсидевший в сталинских лагерях, стал бить в набат о бездарности американских генералов (не зря же мой монолог о логике человеческого поведения), кто-то сзади дергал разбушевавшегося Коржавина за штаны, пытался посадить на место, последнее оказалось невозможным. Затем взял слово знаменитый скульптор и автор монумента «Древо жизни», к тому же специалист по диалогам с Хрущевым Эрнст Неизвестный, который, выйдя на трибуну, принялся объяснять

залу специфику момента: пока мы ловим ворон, в окружении Брежнева зреют могильщики системы.

А потом был прием и, откуда ни возьмись, появился сам Аксель Шпрингер, высокий блестящий человек в сопровождении очаровательной и совсем юной спутницы. Шпрингер, по-видимому, настроен был произнести речь, но неугомонные диссиденты без конца отвлекали его. Первым подлетел иудео-христианин Мелик Агурский, чтобы представить известного на Западе издателя международного русского журнала «Время и мы» (Шлимазл, чего ты стесняешься, как девушка? — тихо вразумлял он меня в ухо). Шпрингер вежливо жал мне руку и кого-то упорно искал, пока, наконец, не увидел Галича и, подозвав его к себе, сказал: «Господин Буковский, ваше мнение о положении в сегодняшней России?», на что Галич, про которого уже нельзя было сказать, что он трезв, как стеклышко, криво усмехнулся и ответил: «Пока мне нечем вас порадовать, герр Шпрингер, к моему великому прискорбию, на кладбище все спокойненько!»

Облака, глыгут облака...

Но о Галиче чуть ниже, когда мы случайно окажемся с ним в одном и том же ресторане, за одним столом с директором издательства «Ульштейна», герром Зиглером, и он на чистом немецком языке произнесет перед нами речь вначале о русской свободе, а затем против немецких порядков, которую издевательски завершит немецкой фразой: «Ordnung, ofdnung, uber alles». Я увижу Галича таким, каким его никогда не видел — Галича вне себя, Галича в ударе, но все это случится позже, а пока что по залу, где встречались с Шпрингером, прошел глухой шумок — и один из устроителей, прижав ко рту мегафон, на весь зал объявил, что прием, устроенный в честь русских гостей герром Акселем Шпрингером, объявляется закрытым и начинается свободная часть вечера: так что уважаемые русские гости могут пригласить друг друга в рестораны и посидеть за

бокалом рейнского вина после дня тяжелой и напряженной работы.

Гостям подавались машины, возле одной из них Эма Коржавин устроил скандал Вике Некрасову, поскольку для него, Эмы, не осталось в машине места ехать со всеми в Грюневальд. «Прохиндеи! Ни капли уважения! Каждый только о себе и думает», — чуть не плакал Эмка, а Вика призывал его успокоиться, нежно обнимал и клялся, что, если понадобится, он верхом на себе отнесет Эмку в ресторан — так он его уважает.

Меня в Грюневальд привез наш Берлинский представитель рижанин Леня Ролл, или, как я его иногда называл, доктор Лотар Ролл, строго-настроено запретивший мне говорить по-русски в лифте его дома, если рядом в кабине окажутся немцы. Сам Леня овладел немецким еще в годы своего рижского детства и по этой причине переводил мне все происходившее в ресторане между Зиглером и Галичем. Я даже не знаю, как назвать то, что между ними случилось — оба страшно напились, длинного как жердь Зиглера два великана-кельнера отволокли без чувств в его «Мерседес». А Галич, между прочим, выпивший вдвое больше, чем директор «Ульштейна», гордой и на этот раз ничуть не шаркающей походкой вышел из ресторана сам, безо всяких кельнеров. Бросил в адрес Зиглера несколько странную в этой обстановке фразу: «Ordnung, ofdnung uber alles», затем безо всякой логики матюгнулся и, взяв под руку меня и Ролла, то ли, чтобы держаться за нас, то ли по пути нас поддерживая, уселся в Ленину машину.

За большим, украшенным бронзой столом, кроме Зиглера и нас, троих русских, сидели еще старенький, седоволосый Рихтер, помощник Зиглера, и сопровождавшая Рихтера совсем еще молодая немочка, кажется, его жена, сразу же вперившая в Галича свои голубые и огромные, как блюдца, глаза.

Стол был уставлен бутылками марочного коньяка, разными рейнскими и бургундскими винами и даже бутылками русской «Петровской», видно специально привезенной сюда по случаю приезда русских гостей.

Увидев немочку, Галич галантно привстал и нежно припал к ее утопающей в кружевах ладошке. Затем, вытянувшись во весь рост, поднял тост за хозяев, которые организовали этот чудный вечер в Грюневальде.

Зиглер, видно, уже прилично выпивший перед этим, разлил в рюмки бутылку «Курвуазье», а все что в бутылке осталось, себе и Галичу — в большие серебряные бокалы. После чего как раз и произошла весьма странная сцена. Директор «Ульштейна» повернулся к Галичу, чокнулся с ним, его пьяное лицо осклабилось и, обнявши Галича, стал игриво похлопывать его по спине. Затем, громко икнув, воскликнул, что он обожает Россию.

— Да? — повернулся к нему всем туловищем Галич. — А какую, герр Зиглер, Россию? Сталинскую, Брежневскую, коммунистическую? Прошу уточнить.

— Лублу Россию! — вдруг по-русски воскликнул пьяный Зиглер и снова весело и непринужденно потрепал Галича, теперь уже по затылку.

— Герр Зиглер, попрошу без амикошонства, — отставил его руку Галич и сказал: «А я, знаете, люблю свободу! Я по натуре бродяга и анархист. Давайте выпьем, герр Зиглер, за свободу, по-французски — *liberie!*» — И, вскинув бокал, Галич снова припал к кружевной ручке молодой немочки. Старик Рихтер поспешно придвинул ее кресло поближе к себе.

Не обращая на все это внимание, Зиглер с трудом откинулся на спинку своего мощного, все в бронзе, кресла, выпил до дна бокал и, впившись в Галича сузившимися, пьяными глазами, сказал:

— Герр Галич, я кажется правильно называю ваше имя, — позвольте задать вам один вопрос: «Почему вы, русские диссиденты, всегда всем недовольны и так ненавидите порядок?»

— Потому, герр Зиглер... что я поэт, понимаете, я хочу свободно дышать, а ваш «Ордиунг» у меня во где сидит, — полоснул он рукой по горлу. — Хотите, герр Зиглер, выпьем за поэзию, за вашего Генриха Гейне? Вы же издатель и, вероятно, любите поэтов.

И Галич снова налил себе бокал коньяку, а Зиглеру — почему-то маленькую хрустальную рюмочку.

— Вы любите, герр Зиглер, как бы вам это понятнее объяснить? В общем вы любите герр Зиглер облака? Знаете «Облака плывут облака»...

— О! Облака! с этим я как раз могу согласиться! — Зиглер выразительно вскинул в воздух длинный с намянокюрным ногтем палец. — Я, между прочим, когда-то тоже увлекался живописью и покупал краски в самом дорогом магазине Грюневальда. — И он опрокинул в себя налитую Галичем рюмку. — Но я люблю не только краски, а и порядок. Я немец и люблю порядок!

— Ах, как чудно: «*Ordnung, Ofdnung uber alles!*» — воскликнул Галич. — Значит вы, Зиглер, еще и художник? И что же вы изображали на своих полотнах? Я тоже знал в Мюнхене одного художника, исключительно светлая была личность и так же, как вы, любила порядок. — Галич снова потянулся к немочке, но Рихтер сказал, что им пора идти и, кряхтя, стал выкарабкиваться из своего мощного кресла. А Зиглер потянулся за коньяком и вдруг обессилел и повалился грудью на стол.

Галич теперь говорил в единственном числе, громко и исключительно по-немецки, так чтобы его понял весь зал (Леня гудел мне в ухо, пытаюсь переводить). Обессилевший Зиглер с упавшей на стол головой, ворочал во все стороны и громко сопел. Диалог с ним Галича превратился в монолог последнего, но неожиданно для всех он перешел на русский.

— Да что они понимают в наших делах? Филистеры! Они, видите ли, Россию любят! А что они в ней понимают? — Зал стих, никто, видно, не мог взять в толк, с чего так разошелся этот красивый господин с развевающимися в воздухе волосами. Да еще на непонятном никому русском языке?

А Галич ни с того, ни с сего снова зарядил про облака и даже прочел: «Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино, а я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило».

Я совсем не уверен, что Галич тогда прочел все эти

строки, может быть, только одну-единственную «Облака, плывут, облака...» А остальное мне привиделось только сейчас. Бывает так: западут незабываемо в память строки, а где ты их слышал, в какой обстановке, пусть совершенно фантастической, для тебя и неважно. Все стерли годы, а строчки живут. Так и сам образ Галича стирают годы, но что-то главное о нем во мне живет и теперь, видно, уже уйдет из жизни вместе со мной.

Наверное, и я был в этот вечер хорош. Совершенно не помню, как и чем все кончилось. Только засело в памяти, что мой верный гид и переводчик «Леня Ролл», пока Галич произносил свой монолог, испуганно гудел мне в ухо: «Что он, с ума сошел? Стихи свои немцам по-русски читает!» Не помню, в какой именно момент я заметил, как пьяный Зиглер стал медленно сползать со своего кресла. За столом наступила напряженная тишина. Немочка, бросив своего Рихтера, стала звать на помощь кельнеров.

— А он мне не мешает, — невозмутимо кивнул Галич в сторону уже скатившегося на пол Зиглера, — пускай хоть так слушает русского поэта. Итак, дамы и господа... — что-то еще хотел сказать Галич. — «Облака, облака, плывут облака!». Извините, что на русском языке, на немецком не получится! (С ума спятил! Его же арестуют за нарушение порядка — снова испуганно зашептал мне в ухо Леня.)

— Никто меня не арестует, poeta за стихи нельзя арестовать! Итак, дамы и господа, — невозмутимо продолжал Галич, но как только унесли Зиглера, к столу подошел метрдотель и сказал, что уже очень поздно и ресторан закрывается. Так что милости просим, милости просим, господа, к выходу...

Последняя встреча

На утро к зданию, где было диссидентское собрание, стали съезжаться со всего Берлина его участники — кто с кем пил, тот с тем и являлся: в обнимочку Вика

Некрасов с Коржавиным, оба невыспавшиеся, в помятых костюмах, где-то промелькнули лица Володи Буковского и Максимова, появился откуда-то Изя Ольшан, в прошлом кинорежиссер из Перово и Тель-Авива, а нынче вечный берлинский безработный. Увидев меня, Изя бросился обниматься и потащил к себе домой, выпить по чашке кофе и полюбоваться на чудо, поселившееся в его квартире. «Вот оно! — показал он мне на торчавшие из спальни чьи-то носки. — Входи-входи не стесняйся, тут все свои!» Я вошел в спальню и сзади никак не мог разгадать обладателя носков. На мое удивление, им оказался главный оратор и политолог вчерашнего совещания, Эрнст, он же Эрик Неизвестный, который, похозяйски разлегшись на ольшановском диване и укрывшись его российским плащом, с неослабевающим интересом изучал израильский журнал «Клуб». Поздоровавшись со мной, Неизвестный снова углубился в журнал, на передней обложке которого была изображена обнаженная старая Голда, выделяющаяся в зале израильского Кнессета стриптиз.

Не отрываясь от чтения, Неизвестный сообщил, что ему страшно некогда — у него на сегодня назначены сразу два «апойнтмента» с отцами города, изъявившими желание подумать о финансировании его «Древа жизни».

Мой самолет отлетал в Тель-Авив в полдень, я покинул Берлин, так и не повидавшись с Галичем после нашего берлинского загула.

Встретились спустя несколько месяцев в Париже, когда он мне собрался передавать для журнала свой «Блошиный рынок».

— Понимаешь, — жаловался он мне еще в Берлине, — никто его не хочет печатать, даже Володька Максимов в своем «Континенте». У меня же, понимаешь, там никакой политики — просто плутовской роман про Одессу, как одесские власти выкуривали моих героев на их историческую родину в Израиль. Вот и все. Знаешь, между прочим, с чего он начинается? На улице Малой Арнаутской стоит мой герой Семен Таратута и держит

над головой, пред всем честным народом плакат: «Свободу Лapidусу!»

Встретиться мы с Галичем договорились в Парижском отделении Радио «Свобода», где каждое утро, в одиннадцать ноль-ноль он выступал в открытом эфире. Голос его, доносившийся из студии, я услышал сразу, как оказался в коридоре Станции. Галич говорил о безвременной смерти знаменитого парижского киноактера Жана Габена. О том, как сильно любил Габена простой парижский люд, среди которого так часто видели великого артиста. И еще о том, что Жану Габену выпала счастливая доля прожить всю жизнь в родной Франции. По тому, как он волновался, я понял, что говоря о счастливой жизни Габена, он думал о собственной судьбе — судьбе изгнанника, который навечно обречен жить вдали от Родины.

Из студии он вышел усталый, опираясь на палку и время от времени извлекая из кармана пальто большой носовой платок, стирал со лба крупные капли пота.

В молчании мы побрели по берегу Сены. В небе сияло и все сильнее шпарило наши спины парижское солнце, не было над нами ни облачка, и, казалось, любое произнесенное вслух слово будет совершенно неуместным. Впрочем, изредка мы перебрасывались ничего не значащими фразами о каких-то ни меня, ни его интересующих вещах.

У входа в метро «Трокадеро» он извлек из портфеля рукопись «Блошиного рынка», отдал мне ее и сказал: «Ну, вот и все, когда напечатаешь, дай, пожалуйста знать».

Вышел «Блошиный рынок» в 24 номере журнала, в 1977 году. Но в напечатанном виде Галич его так и не увидел.

...Это было ранним тель-авивским утром, все было по обыкновению будничным. Я спешил в типографию Ури Соломона, чтобы сдать в печать 24-ый номер с романом Галича, с трудом продираясь на своем желтом «Форде» сквозь трафик по Хайфскому шоссе. Поток машин еле двигался и, чтобы хоть как-то убить время, я машиналь-

но перевел приемник на волну радиостанции «Галей Цахал» — «Волны израильской армии».

«Новости» как новости — только что открылось очередное заседание Кнессета, где голосовался вотум недоверия правительству, где-то в Восточном Иерусалиме арестовали палестинца по подозрению в подготовке террористического акта, в профсоюзном центре «Гистадрут» обсуждались итоги забастовки водителей автобусной компании «Дан». И еще что-то и еще. И вдруг среди этой прозы жизни сообщение... — я не хотел верить ушам, — что в своей парижской квартире при невыясненных обстоятельствах погиб известный русский поэт и бард Александр Галич. Сказали и перешли к очередным новостям дня.

Хозяин типографии Ури, у которого из-за некролога Галича полетел весь месячный график, все выпытывал у меня, что эта за такая важная птица, про которую нельзя дать в следующем номере — словом, жизнь шла своим чередом и не желала знать исключений.

Да и дальше все пошло как по накатанному — похороны на кладбище «Сент Жевенъеве ду буа», где хоронили русских писателей. Как рассказывали, вслед за гробом шла заплаканная Ангелина вместе с мрачным и бледным Максимовым, который, как говорили, не мог себе простить, что ехал к умирающему Саше не по окраинным улицам, а через центр, где оказалось столько пробок.

Были, как говорят, в полном составе редакции «Русской мысли» и «Континента», а в стороне от всех шла молодая женщина в модной шляпке, по словам одних, с каким-то парнишкой лет четырнадцати, по словам других — в гордом одиночестве. Когда все разошлись, она подошла к могиле и положила на нее большой букет роз.

Через несколько дней одна из французских газет (чуть ли не «Фигаро») опубликовала интервью с некой особой, которая хотя и не дала согласия называть ее имя, но заявила, что она была морганатической женой поэта Александра Галича. На вопрос корреспондента о причинах его неожиданной смерти, ответила, что у нее

на этот счет своя точка зрения, не совпадающая с той, которую высказывают русские газеты: так вот ей доподлинно известно, что Галича убили агенты КГБ, которые за ним давно охотились.

Так заявила о себе в последний раз Мирра Мирник, которой, приехав в Париж, я помог устроиться на книжный склад фирмы Каплана. Появившись во Франции в очередной раз, я Мирру здесь уже не застал. Георгий Михайлович Каплан рассказал мне, что при таинственных обстоятельствах она в один прекрасный день из Парижа исчезла, будто бы даже не отдав долга одной из своих ближайших подруг — понятно, что ручаться за достоверность этой информации я никак не могу.

Роман «Блошиный рынок», напечатанный в 24 номере «Время и мы», продолжал еще долго вызывать интерес, особенно когда встал вопрос о копирайте и между правопреемниками Галича начался судебный процесс о разделе его литературного наследства.

Журнала «Время и мы», слава Богу, этот процесс не коснулся — никто не брался опровергать того факта, что Галич подарил свой «Блошиный рынок» именно нашей редакции. Правда, с меня было взято слово, что ни на что прочее журнал не претендует и даже откажется от своих прав на роман, если он будет включен в собрание сочинений Галича.

Договариваться со мной было довольно легко — ни на какие имущественные права я не претендовал. А право на воспоминания о самом о Галиче мало кто из наследников собирался отстаивать. Наступили славные годы перестройки, и такое добро, как память о поэте, мало кого интересовало, тем более жившего и умершего где-то в эмиграции и похороненного на одном из заброшенных парижских кладбищ.

ГРИША ПОЛЯК

Умер член редколлегии журнала «Время и мы» Григорий Поляк. С годами я все чаще задумываюсь над способностью живых помнить об ушедших. Сдается мне, что далеко не всегда наши клятвы на их могилах о чем-то говорят, пускай даже эти люди запечатлелись громкими, казалось бы, незабываемыми делами. Многие годы Гриша делал свою скромную, человеческую работу, он никогда не выпячивал ни своего имени и ни своих заслуг. Иногда мы будто и не замечали его присутствия. «Звонил Гриша Поляк. Сказал, что есть новый материал о Бунине... Говорил, что собирается за чем-то в Париж... Просто звонил. Просто приходил.. Так, посидеть, поболтать о том, о сем»... Был он человек необыкновенной теплоты и обаяния, так часто не замечавшихся нами в суете будней. И вот прошли уже месяцы после его кончины, а нет никаких сил смириться с его отсутствием — саднит и саднит эта незаживающая рана. Можно объяснить это его бескорыстной любовью к книге. Можно теплотой его личности. А можно и тем и другим — цельностью его натуры. Свое издательство он назвал «Серебряный век» — литература этого давно ушедшего времени до последних Гришиных дней была его глубокой привязанностью. В поисках неизданных текстов он на собственные деньги колесил по Европе, встречался с их авторами, членами их семей и просто хранителями текстов. В журнале «Время и мы» одна за другой появлялись его публикации — неизвестного Ходасевича, Зинаиды Гиппиус, Иванова-Разумника, Александра Бахраха, Георгия Адамовича, Марка Алданова, Андрея Седых, Петра Пильского... В его более, чем скромной квартире в Квинсе уже не хватало для книг места. Но что и куда ставить, его не особенно волновало, были бы тексты, и он неустанно продолжал свои поиски. Ему принадлежит воистину крупный вклад в русскую культуру. Но, если мне будет позволено, я хочу сказать и о его чисто человеческом вкладе — может быть, последнего из могикан все более редющего племени современных идеалистов.

В.П.



Руфь ЗЕРНОВА

ПОСЛЕДНИЙ ДВОРЯНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Встречи с Виктором Некрасовым

В Париже, в восьмидесятом, кажется, году, — а может, и на годок позже — я сказала Виктору Платоновичу:

— А знаете, я пишу о вас для Истории русской литературы. Ну, той, что выходит тут. На французском языке.

Он строго сказал:

— Хвалите. Хвалите.

С ударением на «и».

— А я так и делаю.

Он, конечно, не сомневался, что буду «хвалить». Но убедиться не успел — том истории литературы с моей статьей вышел в 1990 году.

А я не успела сказать ему, что хочу назвать статью «Последний дворянский писатель». Потому и не назвала так. Согласился бы он? Не знаю и даже угадывать не берусь. А между тем впервые я определила его так еще осенью сорок шестого года.

В сдвоенном, восьмом-девятом номере «Знамени» увидела: повесть «Сталинград». Автор — Некрасов. Еще один Некрасов. Я посмотрела в конец: продолжение следует. Вдохнула и начала читать.

И сразу, с первой — ну, со второй страницы — темп, ритм, и, извините меня, современники, — интеллигентная, разговорная интонация... «Хуже нет лежать в обороне. Каждую ночь проверяющий. И у каждого свой вкус. Это уж обязательно. Тому окопы слишком узки, раненых трудно носить и пулеметы таскать. Тому — слишком широки, осколком заденет. Третьему»... Никогда не встречала раньше этого автора. Кто же это, откуда?

И вот, дошла до воспоминания о детстве — героя или автора — и появились каштаны — «аккуратненькие, лакированные»... Наши одесские каштаны, с Соборной площади! Если взять в рот — нипочем не разгрызть. Одессит? Нет, все-таки нет, не одессит. Каштаны знает — но нет, не одессит...

Только на следующей странице я прочла: Киев. Киевлянин, значит. Но я, одесситка, ему это киевлянство простила.

Вообще-то в Киеве главное не каштаны. Другое. В Киеве воздух. Совсем особенный. Забыть не могу, как я в первый раз в сорок восьмом году прилетела в Киев из Ленинграда. Вышла из самолета с легкими, полными гниловатого ленинградского тумана, и вдохнула тот неповторимо-сладостный киевский воздух. И с первого раза его запомнила и через семь лет узнала и еще через семь лет узнала опять. А уж какие то были семилетия...

Это в скобках. Воздух Киева, кажется, никем не был воспет. Они — киевляне — просто не замечали его: кто же замечает воздух. Им просто дышат. Господи, а как же там сейчас, после Чернобыля?

Но тогда, когда я читала этого неведомого автора, я ни о чем таком не думала, просто ликовала на каждой строчке, словно письмо получила от вымечтанного друга. А уж когда дошла до дивана — совершенно умилилась сердцем. «Хороший был диван — мягкий, просторный. Я

на нем спал. В нем было много клопов, но мы жили дружно, и они меня не трогали».

Клопы в литературе не существовали. Вши — другое дело: они были овеяны боевой славой. Но клопы?

Диван, каштаны — все это там, в прошлом, а они сейчас на Волге, собираются держать оборону... Остановка на длинном, длинном, длинном пути отступления. «Вот тут-то уж, думалось нам, долгонько полежим. /.../ Даже «Правда» московская стала до нас добираться /.../ И вдруг, как снег на голову, — приказ: Отступить. Немец к Воронежу подошел». Это осень сорок второго года — кто же ее не помнил!.. И вдруг — конец, не конец — обрыв: — продолжение следует.

Как мы ждали этого продолжения! Какие надежды проклевывались! Уж если такое можно печатать — значит, теперь, после войны открывается новая эпоха... Но в десятом номере «Знамени», где напечатано было окончание «Сталинграда», было напечатано и постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Мы, в Ленинграде, это постановление уже давно друг другу рассказали — в подробностях: и что говорил Жданов, и кто выступал, и кто не выступал, и что из писателя Острова сделали полуостров, и что Ахматову и Зощенко на это заседание просто не пригласили. Борис Михайлович Эйхенбаум, выступавший, говорил нам:

— Я старался сохранить «и в самой подлости оттенок благородства»: я говорил — Анна Андреевна Ахматова и Михаил Михайлович Зощенко.

Рухнули послевоенные надежды. А чего мы, собственно, ждали? Ведь еще раньше известно было: товарищ Сталин обещал, что ближайшие два года он будет заниматься только идеологией. И все-таки... Хотя Сталина непредсказуемым не назовешь.

В следующем, сорок седьмом году, автору «Сталинграда» дали сталинскую премию. По слухам впоследствии подтвердившимся, — по воле самого Сталина. Бывало и так. И Панова тоже получила премию — за свой бронепоезд. Они оба были в Москве новичками — и оба

были выбраны Сталиным. Премия Пановой кое-кого удивила. Но — Некрасову?

Кстати: Русский литературный энциклопедический словарь этого факта не подтверждает. Поскольку Виктора Некрасова не упоминает вовсе. Некрасов Николай Алексеевич — пожалуйста. А Некрасов Виктор Платонович? Нету. Пропал. Как Шамаханская царица из «Золотого петушка»: «Пропала, будто вовсе не бывало». Таково наше сказочное непредсказуемое прошлое. В пояснение — год издания словаря: тысяча девятьсот восемьдесят седьмой. Доперестроечный год. И там нет многих славных, отбывших за рубеж в предыдущие годы. Восемьдесят седьмой год — год смерти Виктора Платоновича. Десять лет прошло с того дня. В церкви на рю Дарю в Париже была отслужена панихида — русский Париж был оповещен об этом через газету «Русская мысль». Народу было немного. Что-то грустное я сказала артисту Круглому о русской общине в Париже — он даже удивился этому слову:

— Да нет ее, этой общины. И не было никогда.

Может, определение неудачное. Пусть не община. Пусть просто русские, нет, выражаясь по-новому — русскоязычные люди. Неужели забыли его? Десять лет прошло, как он замолчал — уже десять лет — всего десять лет. Как ни считай — много. А мы, его современники, все еще безутешны.

Мы познакомились с ним осенью 1956 года. Это была тяжкая осень: венгерские события и израильская агрессия против миролюбивых египетских арабов. И все — как на зло — словно приурочено было к тридцатидевятилетию великой октябрьской революции. Преданная власти часть интеллигенции (в первую очередь партийная) возмущалась венграми, которые не имели права, и все нам испортят. Еще Швейк не любил мадьяров, потому что они кровожадные. Беспартийные тоже опасались, что навредят нам эти мадьяры, но оправдывали их любовь к свободе. Об израильтянах еще не спорили — одни боялись, другие приглядывались, третьи, рассуждавшие политически, любили арабов.

А в самом начале осени, еще до всех событий, Вера Федоровна Панова затеяла альманах. С новыми именами! Наш друг, критик Павел Громов, пришел к нам в гости и, чтобы развлечь его, я дала ему мой первый рассказ «Тонечка», написанный — или, вернее, записанный — в лагере. Он прочел и спокойно сказал: — Прелестно. Отдам Пановой в альманах.

Вот уж чего я не ожидала. Ошеломленная, я воспарила духом и села писать второй рассказ. К тому времени, как мне позвонили из альманаха — нет ли у меня еще чего-нибудь — у меня уже была готова «Кузькина мать». Альманах был рассыпан довольно скоро: были в нем, кроме моего первого опуса, «Сказки» Дара, которые давно уже считались непроходимыми, было еще что-то, а главное — тут как раз подоспели венгерские события. Созвали писательское собрание. Поэт Александр Прокофьев, тогда секретарь Союза, объяснял писателям, почему альманах рассыпан и оглушил зал:

— Вы знаете, что составители включили туда? Они включили туда рассказ — о чем бы вы думали? — о советских лагерях. — Зал был потрясен.

Так и не была моя «Тонечка» в этот раз напечатана. Да я и сама к ней охладела: главным для меня стала «Кузькина мать». Я давала ее читать знакомым и писателям в том числе. Но была у меня высокая мечта: показать Некрасову. А как? Мой муж придумал, как. В Пушкинском доме, куда его на гребне оттепели взяли на работу, появилась новая сотрудница, бывшая киевлянка, Тэта Голованова — старинная приятельница Некрасова. И она передала ему мой рассказ. На следующий день я услышала по телефону: «Позвольте мне поблагодарить вас!...» Голос был такой — ну, именно такой, которого ожидаешь от такого автора. Я пригласила его к нам — вместе с благодетельницей Тэтой. Свекровь велела спросить, что он пьет. Тэта сказала: водочку. Но много не надо. Поллитра достаточно.

Я, даже после лагеря, считала, что — с избытком. Когда бутылка опустела, Некрасов объяснил, что из каждой пустой бутылки можно выдавить еще четырнадц-

ать капель. И выдавил, к нашему ликованию. Мы все в него влюбились, конечно — и я, и мой муж, и моя свекровь... О чем мы говорили? Больше всего о фильме «Солдаты», который именно в то время снимался в Ленинграде. Снимал режиссер Александр Иванов — хороший режиссер. В сущности. Съёмки уже закончились, но с фильмом все время что-то происходило: то сам Жуков его запрещал, то кто-то помельче, но достаточно авторитетный. Чего-то оказывалось слишком много, чего-то слишком мало. Особенно рассердил Жукова уходящий в отступление танк, обвешанный пищевыми припасами. По его мнению это было «не главное». С моей же точки зрения, главное было то, что из-за этих съёмок Некрасов оказался в Ленинграде, а иначе, где бы я его увидела?

Он полюбил съёмки, актеров, особенно тех двоих, кто играл Валегу и Фарбера. Фамилии этих актеров — Соловьев и Смоктуновский — нам ничего не говорили, но мы поверили Некрасову, что актеры просто замечательные. Особенно, когда он рассказал, как они слушали мою «Кузькину мать».

— Я им читал. Слушали — не шелохнутся. Дошел до конца, глянул, — а они...

И показал: плачут.

Он ведь и сам перед войной был актером. Соловьева я так никогда и не увидела. А со Смоктуновским встретились мы довольно скоро. Это было в ту зиму, когда о нем уже говорил весь Ленинград: Товстоногов поставил в Большом Драматическом спектакль «Идиот». Князя Мышкина — никто из ленинградцев этого не забыл — сыграл Смоктуновский. Это было что-то вроде землетрясения. Его тогда приглашали везде и всюду. Угощали, пили за его здоровье... И он не спился! Он объяснял вежливо, что сегодня пил вино, и поэтому уже не может пить водку. Я с ним познакомилась на пиру у Гали Леонтьевой — прелестной женщины, замечательного искусствоведа, автора нескольких книг. К сожалению, и ее уже нет на свете, как нет Смоктуновского, нет Некрасова. А на этом вечере они сидели рядом, за очень

богато уставленным столом. И Некрасов, подтрунивая над героем дня, изобразил потрясенность:

— Это Смоктуновский сидит со мной рядом? Такой простой и доступный?

— Ничего, — успокоил его Смоктуновский. — Привыкай, привыкай!

Много тогда было застолий — и в коммуналках, и в новехоньких отдельных кооперативных квартирах. Но вернемся к нам, на Петроградскую сторону, где мы впервые принимали Некрасова.

Нас было пятеро за столом — пятой была моя свекровь, Генриэтта Яковлевна Векслер, которая произвела на нашего гостя наибольшее впечатление. Он на следующий день говорил Тате Головановой:

— Сидит, седая, красивая, в черном платье и только слушает. Не то, что наши мамы.

Он нежно любил свою мать и жил с ней одной жизнью, и очень хорошо относился к Татиной матери. Но обе они несмотря на преклонный возраст — или благодаря ему — всегда имели что сказать по всякому обсуждавшемуся вопросу. Помню, несколько лет спустя, в Малеевке я рассказала Некрасовым, что собираюсь в Киев, Зинаида Николаевна, мать Некрасова, предупредила:

— Вы, главное, помните, Рунечка, что в Киеве есть один стукач. Его фамилия Хижняк.

Я обещала помнить. Попробуй, забудь, если во всем городе есть только один стукач. А еще я обещала себе в будущем, когда достигну преклонного возраста, вести себя как моя свекровь, очаровавшая Некрасова. Но не научилась: все еще стремлюсь высказаться по всем вопросам.

Вспомнилось забавное: в тот вечер наша двенадцатилетняя дочка — большая любительница художественной литературы — сидела и читала в соседней комнате. Бабушка пришла за ней:

— Ниночка, иди к нам, там пришел Некрасов!

Ниночка ахнула: — Некрасов?! Щас! И опять погрузилась в свою книгу. Это была «Сага о Форсайтах», она

читала ее в первый раз. Так наш праздник и прошел без нее.

Меня больше всего тогда поразило в Некрасове, что он не нарушил моего о нем представления. И голос, и внешность, и — не подберу другого слова — учтивость. Конечно, он позвонил на другой день и поблагодарил за прекрасный вечер и сказал, что искал мою «Тонечку» в разных журналах, но не обнаружил, что меня не удивило, — она была напечатана только через семь лет, в первой моей книжке. Все лагерные подробности были из нее выщипаны, как перышки. А потом он свел нас на «Солдат» — они проявили нешуточную воинскую доблесть и все-таки пробились на экран. Правда — и не задержались особенно. Когда проза так хороша, экранизация по сравнению с ней обычно проигрывает. Не сохраняет интонацию — не в силах сохранить.

А вот другая его картина, сделанная на основе повести «В родном городе», осталась у меня, да и не только у меня — в памяти. В немалой степени, конечно, из-за киевского актера Олега Борисова, до той поры нам неведомого. Кажется, сам Некрасов и привлек его. Он всех нас поразило. Некрасов пригласил на просмотр (дело было в Ленинграде) нас с мужем и Тэту с четырехлетней дочкой. Потом спросил девочку:

— Кто тебе больше всех понравился?

Она ответила, не задумываясь:

— ДядяКоля!

Так звали героя, которого играл Олег Борисов.

Борисов стал через некоторое время актером Товстоноговского БДТ. Так что еще одним великим актером Ленинград — тогда еще Ленинград! — был обязан киевлянину Виктору Некрасову.

В последующие годы мы с Некрасовым виделись нечасто. Иногда переписывались. Иногда я посылала какой-нибудь новый рассказ. Однажды он ответил:

— Печатайте. Пора выходить из подполья.

Я послушно вышла. Это был детский рассказ «Помидора» — он был напечатан в журнале «Костер».

В 57 году на деньги, заработанные моим мужем за

комментарий к тому «Лескова», мы поехали в Ялту. Через Киев. И конечно же побывали у Виктора Платоновича в гостях. Он жил на Крещатике, на пересозданном Крещатике, поразившем меня своим щегольским видом. Такое новое все, нарядное. Некрасов спросил:

— Что скажете? Как вам тут нравится? — Интонация была ироническая, я ее услышала, но не сумела покривить душой:

— Очень! Очень!

Из чего он понял, что я начисто лишена вкуса. Но, как учтивый человек, ничем не показал этого, даже плечами не пожал.

Через несколько лет я напечатала в «Огоньке» более или менее взрослый рассказа «Скорпионовы ягоды». Что-то в нем задевало — «Огонек» пересылал мне читательские письма, меня поздравляли. На гребне этой славы я и прибыла в Малеевку, где оказался Некрасов с мамой. Ждала я и от него поздравления. Но не получила. Не по вкусу ему прились мои ягоды. Может, потому, что явились они в огоньковской обложке?

В шестьдесят шестом по первой книжке меня приняли в Союз писателей, и, не буду врать, я чувствовала себя совершенно счастливой. Хотя «Кузькина мать», которая так полюбилась Виктору Платоновичу и его артистам, была из той книжки выброшена. Непреклонная диссидентка Рая Орлова осуждала — а я все равно была счастлива. Сбылась мечта.

Чуть больше десяти лет проходила я счастливая, и горько плакала на улице Воинова, уходя навсегда из Шереметевского дома. Кто-то из членов Союза попался мне навстречу — не помню фамилии. То-то, наверное, удивился! Да и уезжали мы — не в Париж, не в Америку, а в мертвую зону, где никакой русской литературы не было. Так представлялся мне тогда Израиль. Слава Богу, я ошиблась.

А Шереметевский дом сгорел. Он горел дважды. Я не знаю, как, почему, — но если это был поджог, то я одесски пожелаю поджигателю, чтоб у него руки отсохли. И убирать эту фразу не буду, хоть она выпадает из стиля.

В 1956 году приезжал Альберто Моравиа — наверное, читатель его помнит. Я показывала ему Петербург Достоевского — сложилась у меня такая специальность благодаря знанию иностранных языков и нашему верному другу Георгию Фридлендеру. Моравиа очень хотел увидеться с Виктором Платоновичем, но почему-то не вышло. Думаю, в хрущевско-брежневскую эпоху Некрасов, хоть и русский, хоть и партийный, хоть и лауреат, — был — как бы это поточнее сказать? — не был — ощущался — вот, как очень не свой. За границу, правда, стали пускать, хотя вначале предлагали вместо него Анатолия Владимировича Софронова. Но всегда со скрипом, даже когда пускали. И иностранцев до него старались не допускать. Говорил и писал как-то слишком свободно и заступался, бывало, не за тех, и — и — и... Но главное, заступился за мертвых. За тех, кто был убит в Бабьем яре. И после этого ему пришлось уезжать. Насовсем.

Я увидела Некрасова в 78-ом году в Париже, где он к тому времени уже пустил корни. Он жил там несколько лет, работал в парижском отделении «Свободы», работал в журнале Максимова «Континент». Там, в «Континенте», я его и встретила, когда забирала «Кузькину мать». Максимов почти сразу ее отверг, а Наташа Горбаневская даже говорить о ней не могла без смеха.

Знал ли об этом Некрасов? Я никогда его не спрашивала. Теперь думаю, может быть, для того времени вещь была слишком мягкой.

Тут можно было бы поговорить о литературной злости, которой мне не хватает. В жизни есть, а в литературе нету, и взять негде. Потому что мне и в чужой литературе она не по душе. И у Некрасова ее не было. Была ирония, была усмешка — а злости не было.

Когда-то, еще в семидесятые годы, Андрей Донатович Синявский сказал, что все эмигранты сообща пишут одну жалобную книгу. Замечательно сказал, как всегда!

Конечно же, было на что пожаловаться международной общественности. И поначалу ей это даже было интересно. Да и советская власть то и дело подкидывала хворосту в этот незатухающий костер.

Некрасов не жаловался — он рассказывал. Иногда объяснял. Иногда как бы недоумевал, посмеиваясь. Смеясь расставался со своим прошлым? Не расставался он с ним — у писателя прошлое всегда живет вместе с настоящим.

В Париже мы виделись с ним в каждый наш приезд. Сживали в кафе — было у него «свое» кафе, как у каждого порядочного парижанина; гуляли по улицам.

— Ну, или вам нравится Париж? — осведомлялся он, вворачивая дорогую мне одесскую интонацию.

Были как-то у него дома, ходили в кино, смотрели фильм «Чучело», кажется, уже после того, как была написана «Маленькая печальная повесть».

Однажды он пришел к нам в гостиницу необычно взволнованный: только закончил «Аквариум» Суворова и принес рукопись нам. Тогда еще никто не знал этого имени. А свои книжки — все, что у него там выходило — он нам дарил. И мы снова и снова наслаждались дорогим для нас общением. И теперь, не раз и не два, когда на сердце становится неуютно, мы, памятуя Пушкина, перечитываем, правда, не «Женитьбу Фигаро», а «Записки зеваки», и «Саперлипопетт», и рассказы его, и путевые очерки. Потому что Виктор Некрасов был — и навсегда остался — не пророком, не трибуном, не обличителем, а редкой птицей в нынешней литературе — собеседником.

Так я и написала в той статье, которую не успела ему показать.



Сильвия ПЛАТ

«...ТРАГЕДИЯ? ВЕДЬ ЭТО Я»

Страницы из дневников

Перевод с английского и публикация Лии Левиной-Бродской

Сильвия Плат (1932-1963) — крупнейшая американская поэтесса 20-го века. Поэзия и проза Сильвии Плат включены в программы курсов университетов и колледжей Америки и Англии. Публикация дневников Сильвии Плат в 1982-м году, через 19 лет после ее смерти, стала литературным событием по обе стороны океана. Дневники Сильвии Плат, перефразируя «Портрет художника в юности» Джеймса Джойса, называли «Портретом поэтессы в юности».

Сильвия Плат родилась в 1932-м году и провела детство в Уинтропе, маленьком городке на берегу океана, рядом с Бостоном. В 1951-м году была принята в один из лучших женских колледжей Америки — Смит колледж, в Массачусетсе. Затем в 1955-м году, на стипендию Фулбрайта, поехала в Англию и провела два года в Кембридже. Там вышла замуж за начинающего тогда поэта Теда Хьюза (в 1984 году получившего титул «Поэта-лауреата» и умершего в 1998 году). В 1957 году Сильвия Плат вернулась в Смит колледж в качестве преподавателя

литературы. После года преподавания рассталась с профессорской карьерой, чтобы целиком посвятить себя творчеству. Переехала с мужем в Англию. В феврале 1961-го года журнал «Нью-Йоркер», о прежних отказах из которого Сильвия Плат с такой горечью записывала в своем дневнике, заключил с ней контракт, по которому все написанное ею в будущем она должна сначала отсылать к ним. Такое предложение от наиболее авторитетного журнала в англоязычном мире означало признание. В 1962 году брак Сильвии Плат и Теда Хьюза, имевших к тому времени двух детей, распался.

В последние несколько месяцев жизни она писала по стихотворению в день, иногда по два. Интенсивность вдохновения Сильвии Плат в эти месяцы сравнима с рильковским, периода «Дуинезских элегий». Стихи Сильвии Плат осени 1962 и начала зимы 1963 образовали посмертный сборник «Ариэль»-лирический цикл стихов, по силе трагизма и оригинальности образов не знающих равных в англо-американской литературе 20-го века.

Стихи, открывающие сборник, — «Утренняя песнь» — самые светлые в трагическом цикле «Ариэль».

Утренняя песнь

Любовь пустила тебя в ход, словно золотые круглые часы.
Повитуха хлопнула тебе по пяточкам, и твой громкий крик
Занял свое место во вселенной.

Наши голоса эхом возвеличили твое прибытие.
Новое творение.

В природном музее твоя нагота
Бросила тень на нашу долговечность.
Мы стоим, безучастные, как стены.

Тебе я не больше мать,
Чем тучка, смахнувшая пыль с зеркала, чтобы отразить в нем
Свое постепенное убывание от руки ветра.

Всю ночь дыхание твое мотыльком
Трепещет среди плоских алых роз. Я просыпаюсь,
чтобы слушать:

В моих ушах шумит далекое море.

Вскрик, и я переваливаюсь с кровати тяжелой коровой
в цветах —

В своей викторианской рубашке.
Твой ротик открыт, чистый, как у котенка. Квадрат окна

Белеет, глотая потускневшие звезды. И
Вот ты пробуешь свою пригоршню нот;
Полнозвучные гласные рвутся вверх, как воздушные шары.

27 апреля 1953 года.

Слушай и молчи, о ты, сомневающаяся. В определенный вечер в определенный 1953 год создалась определенная комбинация крайнего нервного напряжения, физиологических побуждений и стрекотобразных мыслей, наполнивших одну смертную, не совершенную Еву яростным ощущением своей полнейшей правоты, силы и целеустремленности. Они соответствуют экстазу жаждущего в пустыне святого, ощутившего у себя на языке разбивающиеся холодные капли, посланные Богом, и внезапно пораженного зрелищем зеленых ангелов в таком изобилии, словно это ростки одуванчиков.

Причины: нечто действительно произошло. Расселл Линес из «Харпера» купил 3 стихотворения («Конец света», «Найди гнездо с птенцами», «Еве, сходящей с лестницы») за 100 долларов. Означающее что? Первое реальное профессиональное признание, о господи, и все будущие возможности. Без предубеждений открыть всему свой интеллект и свой словарь, вырваться в более широкие, более благородные сферы понимания. Произошли разные события, как цепь вспышек фейерверка, но ведь каждый ослепительно вспыхнувший факт должен содержать в себе реальную причину и следствие.

Сегодня утром предложение редактора «Смит Ревю» — самая желанная для меня работа в колледже; восставшее душевное равновесие; надежда на Летнюю школу в Гарварде — как праздничные столы под деревьями. Нью-Йорк и Рей (его занятия неврологией и блистательный ум) — в этот уик-энд. Нью-Хейвен и Майк (солнце, пляж, сильная хорошая любовь) — в следующий.

Этим вечером — весна, разнообразие, изобилие, пучки свежих зеленых листочков, предлагающие себя мягкой луне, покрытой пушистыми облаками. И, Боже, слушанье Одена, читавшего в гостиной у Дру, и Винд, разящий стрелами вопросов с искрящимся остроумием. Мой Платон! Бескрылая я! И Дру (необычайная, изысканно хрупкая, умная Элизабет), сказавшая: «Вот теперь стало действительно непонятно».

Оден, откидывавший назад свою большую голову, ухмылявшийся кривящимися широкими, уродливыми губами, его рыжеватые волосы, его грубый твидовый коричневый пиджак, его жесткий, как рогожа, голос, острые, блистательные сентенции — капризный, злой мальчишеский гений, и странно несоответствующие белые, безволосые ноги и руки с короткими, обрубленными, пухлыми пальцами и ковровые тапочки, пиво, которое он пьет, сигареты «Находка», которые он курит в черном мундштуке, жестикулируя с белой неначатой сигаретой и спичками в руках и говоря веским, язвительным тоном, что Калибан — это природное, звериное начало, Ариэль — творческое, художественное, и обо всех темных лирических переплетениях их любви и расхождений, искусства и жизни, зеркала и моря. О, боже, боже, высота этого человека! А на следующей неделе я подойду к нему, дрожа от дерзости, с пачкой своих стихов. О, боже, если это и есть жизнь, полууслышанная, едва увиденная, с запахом пива и сэндвичей с сыром, с божественными глазами высокомыслящих людей, не дай мне никогда ослепнуть или быть оторванной от агонии учения, от мучительной боли пытаться понять.

Завтра опять погонимся за хитрым часовым механизмом-хамелеоном, который выглядит, будто он сказочный принц или принцесса, но оборачивается бородавчатой жабой или тараканом с клешнями, стоит только коснуться его человеческой руке. Где, где найти страстно желаемое мной качество, которое развивалось бы, будучи прекрасным и свежим в течение пятидесяти лет, — мыслимо ли это? Вот Рей обладает умом в слабом теле: худой, низенький, и думаешь о туфлях без каблуков, всю жизнь мечтавшая ощущать себя большой, раздавшейся, лежащей на спине, как мать-земля, атакованной жужжащим влетающим насекомым, откладывающим тысячи маленьких белых яиц в песчаном карьере, а меж тем думаешь о Флориде, о солнце, об условностях общества, к которому он принадлежит, о своих ярких платьях, севших, выгоревших, проплывающих в памяти, и он, скорее

всего, увлекается нежными, как бабочки, женщинами из породы насекомых, но ведь были же его умелые движения рук, и головы, и языка, и неожиданное понимание, что искренняя любовь может игнорировать недостатки и несогласия в присутствии блеска ума. Одно время я думала, что могла бы жить с ним тоже. Господи, как я мечусь между уверенностью и сомнениями. Разочарования в прежних убеждениях только отбрасывают тень на нынешнюю уверенность и ехидно предвещают, что и эта уверенность тоже уйдет в небытие — и вот сегодняшним вечером созерцание поэта, желание чего? Победить? Говорить? Это впервые после... «Не убивай меня после акта любви...» — отдается в моих ушах. Каждый из этих мальчиков мне нравился только за что-то одно, три года назад это было бы прекрасно, но сейчас ни одного я не знаю настолько хорошо, чтобы ответить на предложение: «Прекрасно, вот свидетельство, гарантирующее, что студентка с отличным (может быть) дипломом из Смит колледжа, потенциально — средняя поэтесса и писательница, одно время — дилетантка-актриса, относительно хорошего здоровья и достаточной привлекательности, живая, думающая, высокая, чувствующая, сильная, колоритная особа белой расы женского пола 21-го года вручает тебе 50 лет, на протяжении которых она будет любить твои недостатки, уважать твои звериные инстинкты, подчиняться твоим капризам, не обращать внимания на твоих любовниц, нянчить твое потомство, клеивать цветастыми обоями твой дом, обожать тебя и молиться на тебя, зачинать детей, не противиться новым средствам, заставляющим забывать родовые муки, и оставаться верной тебе до тех пор, пока вы оба не одряхлеете и не последует неотвратимая смерть». Я должна быть абсолютно уверена, что замужество — не легкомысленная игра и не эфемерное бегство. Из этих трех молодых людей ни одного я не знаю настолько хорошо, чтобы делать прогнозы на всю жизнь, даже в самых смутных общих очертаниях. Я должна жить с человеком, постоянно общаясь в течение какого-то времени... Единственного молодого человека, которого я действительно знаю, я

знаю настолько хорошо, что не могла бы ни выйти за него, ни любить его — о, любовь, растущее желание разделять все, было бы так хорошо, так лишено сложностей. Но в это самое трудное время спешки, сменяющихся настроений, психологии почти невозможно «знать» кого-то, как невозможно «знать» себя. Вдруг обнаруживаешь всех других в счастливом браке, и делается очень одиноко и горько ежедневно по утрам одной есть свое безвкусное крутое яйцо и окрашивать красной помадой губы, чтобы ими так сладко улыбаться миру.

Слишком полагаешься на единичные знаки, воображая, что они означают что-то большее. Ходит в балет — следовательно, восприимчив и артистичен. Цитирует стихи — следовательно, должен быть близким по духу. Читает Джойса — следовательно, должен быть гением.

Надо смотреть правде в лицо: мне угрожает мое собственное требование абсолюта, поиски полубога среди людей, а поскольку вокруг таких немного, я часто бессознательно сотворяю его сама. И потом ретируюсь и нахожу наслаждение в поэзии и прозе, где награда оказывается ощутимой и признанной. Действительно, я не думаю глубоко, по-настоящему глубоко. Я хочу романтического, несуществующего героя.

14 мая 1953 года.

Сегодня ночью после своей билетерской работы на спектакле «Кольцо вокруг луны»* я пошла домой одна. Дождь только что кончился; поднявшись до середины ступенек, я подумала, что, войдя, обязательно кого-нибудь встречу, и я повернулась, спустилась со ступенек опять и пошла по аллее, по мокрой дорожке с оставшимися в выбоинах тротуара лужами; воздух был теплый и сладостный от запахов кизила и разных цветений; свет был необычный и мягкий, и мокрые улицы отражали этот свет. Хорошо было гулять никому неизвестной, разговаривать с самой собой, спрашивать себя, куда я иду, кто я, понимая, что у меня нет ответов, что я могу назвать свое имя, но не свою веру, свое расписа-

* Пьеса Ж. Аня.

ние на следующей неделе, но не основание для него, свои планы на лето, но не цель своей жизни, как бы она представлялась мне.

Я счастливая: я в Смит колледже, потому что хотела этого и работала для этого. В июне я буду приглашенным редактором в «Мадемуазель», потому что хотела этого и работала для этого. Меня публикуют в «Харпере», потому что я хотела этого и работала для этого. Хорошо, что своей работой я могу перевести желание в реальность.

Но сейчас, хотя в душе я прагматик макиавеллевского толка, я обнаружила всех трех мужчин в своей жизни, отдалившимися от меня, потому что я сначала действовала и потом анатомировала содеянное. Я не думала ясно: «Я хочу это; чтобы получить это, я должна сделать то-то. Поэтому я буду делать то-то. И тогда получу, что хочу». Глупая, ты никогда никого не завоеешь жалостью. Ты должна создать для себя разумную мечту, магию трезвого, взрослого человека: плениться чарами, рожденными от разочарований.

Счастлив ли где-нибудь кто-нибудь? Нет, если только он не живет в мечтах или в фантазии, созданной им самим или кем-то еще. Какое-то время меня баюкала слепая надежда, у своих налитых шампанским грудой сосками из зернистой икры. Я думала, что она реально существует, и что эта реальность прекрасна. На самом же деле везде намешано безобразного, как разбросанной по всей твоей жизни кучи грязи. Правда заключается в том, что ни в чем нет гарантии, ничего не изобретено, что могло бы остановить изменения к худшему, крысиную конкуренцию, смертельный страх перед колесницей с крыльями, гудками и моторами, дьяволом в часовом механизме. Любовь — это отчаянная выдумка заменить своих двух родителей, оказавшихся не всемогущими во всем правыми богами, а скорее, парой бескрылых, бредущих по грязи загородных пешеходов, которые, как бы усиленно ни пытались, так и не смогли понять, как или почему ты дожила до своего 21-го дня рождения. Любовь может стать чем-то другим, если

самой творчески сделать ее чем-то другим. Но ведь по большей части ты не очень-то умеешь создавать реальное. «Красота содержится в глазах смотрящего». Какая пошлая сентенция. Почему же красота исчезает и деформируется в моих глазах, стоит мне взглянуть дважды?

Я хочу любить кого-нибудь, потому что я сама хочу быть любимой. В заячем страхе я способна броситься под колеса машины, испугавшись света ее фар, и под колесами, в темноте слепой смерти, мне ничто уже не будет угрожать. Я очень уставшая, очень банальная, очень запутавшаяся. В эту ночь я не знаю, кто я. Мне хотелось идти, пока не упаду, не довершив круга возвращения домой. В эти два года я жила в разных комнатах над, под или дальше по коридору от девочек, которые тяжело думают, одинаково чувствуют, хотят быть приятными в обществе, и я не старалась привлечь их к себе, потому что не хотела, не могла жертвовать своим временем. Все вокруг знают меня, и чем больше я пытаюсь запомнить, кто они, тем скорее я забываю их имена — я хочу быть одной, и все же мокрый глаз обезьянки и ее разумная гримаса повергают меня в слезы братской любви. Я и работаю, и думаю одна. Я живу среди людей и в то же время играю. Мне нравится и то и другое. Если бы я знала сейчас, чего я хочу, я бы, увидев, распознала, что это тот самый, кого я жду.

Я хочу писать, потому что ощущаю в себе импульс и силу перевести жизнь в слова. Меня не может удовлетворить только одна колоссальная работа просто жить. О нет, я должна привести жизнь в порядок в сонетах и сестинах, отразив словами мою горящую полным накалом в 60 вольт голову. Любовь — иллюзия, но я с радостью поддамся ей, если поверю в нее. Сейчас все мне кажется или далеким, печальным и холодным, как кусок сланца на дне каньона, — или теплым, близким и легким, как розовые цветы кизила. Боже, дай мне думать ясно и ярко, дай мне жить, любить и сказать об этом содержащими силу фразами, дай мне когда-нибудь увидеть, кто я, и почему, не задаваясь вопросами,

как задаюсь сейчас, я согласилась на 4 года кормежки, жилья, экзаменов, курсовых работ. Я — уставшая, банальная и говорю теперь не только односложно, но и повторяюсь. Завтра еще один день навстречу смерти (которая никогда не случится со мной, потому что я — это я, и значит, неуязвима). Над апельсиновым соком и кофе светится различимо даже эмбрион мысли о самоубийстве.

Кембриджские записи

1956 год, 19 февраля, в воскресенье ночью.

Тому, кого это касается: время от времени наступает момент, когда нейтральные и имперсональные силы вдруг сходятся в оглушающем приговоре. Нет никакой причины для внезапно возникающего пароксизма ужаса, ощущения проклятости, за исключением того, что это состояние отражает мои внутренние сомнения, мой внутренний страх. Вчера, оставив свой велосипед в ремонтной мастерской (чувствуя себя потерянной, пешей, бессильной), я мирно шла по мосту Милл Лейн, улыбаясь улыбкой, под благожелательностью скрывавшей отчаянный страх от чужих взглядов, и вдруг оказалась окруженной маленькими мальчишками, игравшими на дамбе в снежки. Они стали швырять ими в меня, честно, открыто пытаясь попасть. Все летели мимо, и с настороженностью, дающей с опытом, я наблюдала за грязными снежками, летевшими в меня сзади и спереди, дрожа от неизвестности, продолжая идти медленно, целенаправленно, стараясь подготовить себя к удару, до того как он произойдет. Но ни один не попал, и я продолжала идти с примирительной, но абсолютно лживой улыбкой

Сегодня, после того как я закончила первый черновик слабых, болезненных стихов, мой тезаурус*, с которым предпочла бы остаться на необитаемом острове скорее, чем с Библией, как обычно люблю хвастаться, лежал открытым на странице с номерами 545: обман;

* Словарь синонимов и антонимов.

546: неправда; 547: жертва обмана; 548: обманщик. Умный критик и писатель, представитель благородных, творчески противоположных сил, воскликнул бы с убийственной меткостью: «Фальшивка, фальшивка». То же самое я слышу внутри себя непрерывно в течение шести месяцев этого темного, адского года.

Вчера вечером: когда я вошла в «Эммануэл»* (ах, да), там в темной комнате, полной народу, гипнотизировали некоего Морриса. В комнате горели свечи, для придания богеменной обстановки вставленные в пустые винные бутылки. Некрасивый, толстый, но с виду сильный парень властно, тоном приказа говорил: «Когда ты попытаешься пройти в дверь, там будет стоять стеклянная преграда. Ты не сможешь пройти, там будет стекло. Когда я скажу «граммофон», ты опять уснешь». Затем он вывел Морриса из гипнотического сна, и Моррис попытался пройти в дверь, но остановился. Он не смог пройти, на пути было стекло. Толстый парень сказал: «Грамофон», и двое нервно смеющихся парней поймали падающего Морриса. Несгибаемого, как стальная палка; он, казалось, понимал, насколько он несгибаем, и негнушимся повалился на пол.

А я говорила и говорила с Уином; розоволицый, голубоглазый, светловолосый, самонадеянный, в начале романа с девушкой, встреченной им во время лыжного похода, у которой есть жених, но она собирается ехать домой порвать с ним, и вернувшись, поселиться, возможно, с Уином и потом с ним путешествовать. И я узнала, что я не ошибалась относительно Л., и что мы обе любим Н., и я рассказывала об Р. Такие игры. Я говорила о Р., как если бы он умер. С ледяным спокойствием. И высокий, красивый Джон положил свою горячую руку мне на плечо, а я спрашивала его нарочно о гипнотизме, в то время как заинтересованное, блестящее, краснощекое, детское лицо Криса, обрамленное кудрявыми волосами, плавало где-то с краю, и из неуместной доброты я отказалась пойти с Джоном в холл, откуда просачивалась танцевальная музыка, и продол-

* Кафе в Кембридже.

жала пить, невинно разговаривая с Уином, и хвалить исполнявшего роль хозяина Рейфа: «Ты чудесный хозяин», — каждый раз, когда он подходил с сияющим лицом, держа поднос, переполненный фруктами и разноцветными коктейлями.

Потом под конец беседы Крис нагнулся обнять маленькую Сэлли Боулс, одетую во все черное, в узеньких брючках и обтягивающем свитере, с коротко постриженными светлыми волосами а'la Жанна д'Арк, державшую длинный мундштук (одетую точно так же, как и ее очень маленький парень Роджер, похожий на бледного, миниатюрного балетного танцовщика, тоже во всем черном. У Рождера только что вышло ревю о Йейтсе в журнале «Хайям», в честь Омара). Затем Крис посадил себе на колени девушку в красном платье, и через некоторое время они пошли танцевать. Тем временем я и Уин очень серьезно разговаривали, и меня поразила устрашающая легкость этого: я могу все отбросить и играть для Джона, который сам сейчас играет для ближайших и доступнейших. Но у каждого одинаковое улыбающееся испуганное лицо, с выражением, говорящим: «Я значительная личность. Если ты узнаешь меня ближе, ты увидишь, насколько я значительная личность. Посмотри мне в глаза. Целуйся со мной, и ты увидишь, как я значителен».

Я тоже хочу быть значительной личностью. Будучи другой. непохожей на этих девочек, которые все одинаковы. Собравшись уходить, я пошла за своим пальто с Уином; он принес мой шарф, пока я ждала у лестницы, и здесь же был Крис, с пылавшими щеками, с драматическим лицом, бездыханный и с видом раскаявшегося. Он хочет, чтобы его бранили и наказывали. Это слишком легко. Мы все хотим этого.

Я немного опьянела и чувствовала себя от всего отдаленной, и очень было приятно, что тебя провожают домой через заснеженные поля. Было очень холодно, и весь путь домой я думала: «Ричард, в этот момент ты жив. Ты жив сейчас. Ты — часть меня, и я действую, потому что ты жив. А ты тем временем, возможно,

спишь, изнуренный и счастливый, в объятиях какой-нибудь роскошной шлюхи или, может быть, даже, той швейцарской девочки, которая хочет выйти за тебя замуж. Я зову тебя. Я хочу писать тебе о своей любви, этой абсурдной верности, которая держит мне невинной, настолько невинной, что все, кого я когда-то касалась и кому что-либо говорила, сделались только репетицией для тебя и хранятся в памяти только с этой целью...»

И затем спрашиваю себя с горечью: «Люблю ли я Ричарда? Или я пользуюсь им как предлогом для благородной, одинокой, безлюбой позиции, под вывеской извращенной верности? Пользуюсь им таким образом, хотела ли бы я, чтобы он явился сейчас на сцену, худой, нервный, маленький, сумрачный, болезненный? Или мне лучше одной развивать свой ум и душу и лелеять в себе проявившиеся возможности, будучи свободной от суетности супружеской жизни в реальном мире? Трусиха.

А когда неожиданно я вошла во время завтрака в столовую, три лучшие студентки обернулись со странными взглядами и продолжали говорить, также как при появлении миссис Милн они, вуалируя предмет своей беседы, делают вид, что просто продолжают разговаривать. «Так странно, просто уставилась на огонь». И они осуждают тебя, за то, что ты безумна. Просто так. Потому что страх поселился во мне и уже очень давно. Страх, что все контуры, и формы, и цвета реального мира, опять построенного мной с таким трудом, с такой истинной любовью, в момент сомнений может сдвинуться и «погаснуть», как луна в стихах Блейка.

Мне нужен кто-то старший, мудрый, кому можно плакаться. Я обращаюсь к Богу, но небо пусто, и Орион проходит, но не говорит ничего. Я чувствую себя Лазарем*, эта история так привлекательна для меня. Умерев, я восстала из мертвых, пусть только чувством я готова к самоубийству, но я была так близка к смерти и затем, восстав из могилы со шрамами и отмеченным знаком у

* Летом 1953 года Сильвия Плат пыталась покончить с собой.

меня на щеке, который (или это лишь мое воображение) становится более заметным: бледный, как пятно смерти на красной обветренной коже, темно-коричневый — на фоне моей зимней смертельной бледности на последних фотографиях. И я отождествляю с собой все мной прочитанное, все мной написанное. Я — Нина из «Странной интерлюдии»*, я хочу иметь мужа, возлюбленного, отца, сына, всех сразу. И я слишком отчаянно завишу от принятия к публикации в «Нью-Йоркере» моих стихов, моих маленьких, легких стихов, таких аккуратных, таких ничтожных...

Теперь я буду разговаривать каждую ночь. Сама с собой. С луной. Я буду гулять, как гуляла этой ночью, завидуя собственному одиночеству, под светом синесеребряной холодной луны, сверкающей на движущемся свежем снегу мириадами искр. Я говорила сама с собой и смотрела на благословенно нейтральные темные деревья. Насколько же легче, чем с людьми, с которыми нужно выглядеть счастливой, неуязвимой, умной. Без маски, я гуляла, разговаривая с луной, с нейтральными, имперсональными силами, которые не слышат, а лишь принимают твое существование. И не побивают тебя. Я пошла к моему любимому бронзовому мальчику, отчасти потому, что о нем никто не заботится, и стала сбрасывать снег с его нежного улыбающегося лица. Он стоял там, окруженный кустами, в лунном свете, темный, с побеленными снегом руками и ногами, держа своего волнообразного дельфина, все еще улыбаясь, балансируя на одной толстенькой, с ямочками ступне.

И он делается ребенком из «Когда мы мертвые просыпаемся»**. А Ричард не даст мне ребенка. Но только его ребенка я бы могла хотеть. Носить в себе, растить. Единственный, с кем я могла бы вынести ребенка. Пока. Во мне живет также страх растить в себе деформированного ребенка, кретина, развивающегося темным, уродливым в моем животе, как та порча, которая, я

* Пьеса Ю.О'Нила.

** Пьеса Г. Ибсена.

всегда боялась, вдруг вырвется из-за моих выкатившихся глаз. Я воображаю Ричарда здесь, со мной, и себя, увеличивающуюся с его ребенком. Я прошу все меньше-го и меньшего. Я увижу его и просто скажу: «Мне грустно, что ты слабый и не плаваешь, и не умеешь управлять парусной лодкой, и не ходишь на лыжах, но у тебя крепкая душа, и я буду верить в тебя и сделаю тебя непобедимым на этой земле. Да, во мне есть такая сила. Большинство женщин обладает ею, в той или иной степени. И все-таки вампир тоже живет. Древняя, примитивная ненависть. Желание кастрировать направо и налево высокомерных, становящихся такими детьми в момент страсти.

Я хочу проникнуться реальностью этого мира: держаться ужизни на якоре стиркой и синькой, ежедневным хлебом с яичницей и мужчиной, темноглазым чужаком, который питался бы моей пищей и моим телом, и моей душой, и бродил бы по миру весь день, и возвращался ночью, чтобы найти утешение со мной. И он дал бы мне ребенка, сделав меня опять членом человеческой расы, бросающей сейчас в меня снежные комья, возможно, чувствуя гниль и желая эту гниль побить...

20 февраля, понедельник.

Дорогой доктор, я чувствую себя больной. Я ощущаю сердце у себя в животе, и оно бьется учащенно и издевается надо мной. Внезапно простые ежедневные обязанности перестали мне поддаваться, подобно упрямой лошади. Становится невозможным смотреть людям в глаза: может ли опять обнаружиться порча? Кто знает? Любой маленький разговор приводит в отчаяние.

Враждебность тоже растет. Это опасный, смертельный яд, происходящий от больного сердца, больного ума тоже. Образ самой себя, который ежедневно с трудом нужно создавать в нейтральном или враждебном мире, распадается изнутри; чувствуешь себя разбитой. Стоя в очереди в холле, дожидаясь отвратительного обеда или крутого яйца под сырным соусом и карто-

фельного пюре с бледным пастернаком, я услышала, как одна девочка сказала другой: «Бетси сегодня в депрессии». Кажется почти невероятным облегчением узнать, что есть кто-то помимо тебя, кто не постоянно счастлив. Должно быть, находишься в глубоком упадке, если так далеко зашла в своих черных мыслях, думая, что любой, просто потому что это «другой» — неуязвим. Это абсолютная чушь.

Но я опять в сомнениях. Ни в чем не уверена. И все это чертовски плохо: с мужчинами (Ричарда нет, ни одного здесь нельзя полюбить), с писанием (слишком нервничаю из-за отказов, слишком отчаиваюсь и боюсь плохих стихов; но у меня действительно есть идеи для рассказов; просто надо поскорее начать), с девочками (общение ошетинилось подозрениями и холодностью; насколько преображает все моя паранойя? Проклятье в том, что они чувствуют незащищенность и слабость, как животные чувствуют кровь), с академической жизнью (увеливаю от французского и пока что чувствую себя обманщицей, должна еще загладить свою вину; чувствую свою тупость во время дискуссий; черт возьми, что такое трагедия? Ведь это я.).

Итак, без велосипеда, все еще находящегося в мастерской, проглотила кофе с молоком, бекон с капустой, смешанной с картошкой, и тост, прочла два письма от мамы, немного подбодрившие меня: она такая храбрая, на ней бабушка и дом, и она строит новую жизнь, надеется приехать в Европу. Я хочу обеспечить для нее счастливые дни здесь. И ее обнадежили относительно моего преподавания. Как только я начну работать, я не буду чувствовать себя такой больной. Морозящая инерция — мой главный враг; я действительно болею от сомнений. Мне надо преодолеть одно неумение за другим: научиться ходить на лыжах (с Гордоном и Сю в следующем году?) и, может быть, преподавать этим летом на какой-нибудь военной базе. Это принесло бы мне чертовски большую пользу. Если бы мне поехать в Африку или Стамбул, я бы могла написать путевые очерки. Достаточно романтики. Начни работать.

Слава богу, «Крисчан саенс монитор» купил очерк о Кембридже и один рисунок. И они должны ответить на мой запрос, писать ли для них еще. В любое утро отказ из «Нью-Йоркера» принять мои стихи может ударить меня в живот. Господи, это очень плохо, если жизнь зависит от таких смехотворных, как эти стихи, уток, дожидающихся редакторской картечи...

После завтрака как попало напялила одежду и рысцой побежала по снегу на лекцию Редпата в Гров Лодж. Серый день, ощутила радостный момент, когда летящий снег спутал развевающиеся волосы и чувствовала себя краснощекой и здоровой. Жалела, что не встала раньше, могла бы тогда не торопиться. Отметила черных грачей, припавших к белоснежной низине, серые небеса, черные деревья, зеленую, цвета уток, воду. Впечатлилась.

Огромное скопление легковых машин и грузовиков на углу отеля «Роял». Торопясь в Гров Лодж, обратила внимание на приятную серость камня; понравилось здание. Вошла, сняла пальто и села среди мальчиков, никто из них не разговаривал. Почувствовала тошноту от напряженного, как женщина-йог, глядения на письменный стол. Вбежал светловолосый мальчик с сообщением, что у Редпата грипп. Пришлось этой ночью бодрствовать до 2-х часов, добродетельно читая «Макбета». Это было прекрасно. Преисполнилась благоговения перед старинными выражениями: «история о шуме и бешенстве» — особенно. Странно, я чувствую поэтическое тождество с героями, совершающими самоубийства, супружеские измены, или же теми, кого убивают, и на какое-то время совершенно верю в них. То, что они говорят — Правда.

Затем я пошла в город, глядя, как обычно, на башни Королевской капеллы, чувствовала себя счастливой на Маркет Хилл, но все магазины были закрыты, исключая «Сейлса», где я купила такую же пару красных перчаток, какую потеряла. Нельзя быть в полном трауре. Можно ли любить нейтральный, предметный мир и бояться людей? В течение долгого времени — опасно, но возмож-

но. Я люблю чужих людей. Возвращаясь домой по тропинке через низину, я улыбнулась незнакомой женщине, и она сказала с удивительными пониманием: «Чудесная погода». Я почувствовала любовь к ней. Я не увидела в ее глазах отражений ни своего безумия, ни своей несостоятельности. Хотя на этот раз.

Легче всего в это трудное время любить посторонних. Потому что они ничего не требуют и не следят за тобой. Как вечно следят другие...

Охватывающий меня ужас — это внезапное свертывание предметного мира, не оставляющее ничего. Только лоскутья. Люди, говорящие: «Фальшивка». Слава богу, я устала и могу спать, а если так, все еще возможно. И я люблю поесть. И я люблю ходить, и мне нравится здешняя природа. Только продолжают стучаться в двери моего ежедневного существования эти вечные вопросы, за которые я цепляюсь, как безумная возлюбленная, вопросы, которые влекут за собой страшный мир, где все одинаково, нет различий, нет предпочтений, нет пространства, нет времени: свистящее дыхание вечно-сти, не Бога, а отвергающего мир дьявола. Так что обратимся к нескольким соображениям об О'Ниле, закалим себя против обвинений относительно французского, «Нью-Йоркерского» отказа и враждебности, или хуже того — полнейшего безразличия людей, с которыми делишь здесь хлеб.

Написала хорошие стихи: «Зимний пейзаж с грачами», стихи подвижны и мускулисты: душевный ландшафт. Начала другое, большое стихотворение, более абстрактное, написанное в ванне; забочусь о том, чтобы оно не сделалось слишком общим. Спокойной ночи, дорогая принцесса. Ты все еще должна полагаться только на саму себя; будь стойком, не паникуй; вырвись из этого ада к великодушной, исцеляющей весне.

Победа или проигрыш в споре, принятие к печати или отказ — еще не доказательства ценности или подлинности личности. Можно заблуждаться, делать ошибки, не обладать достаточным мастерством или даже быть невеждой — но это не показатель истинной ценности твоей

человеческой подлинности: прошлой, настоящей и будущей!

Крах! Я — провидица, только пока не совсем окончательно. Этим утром я узнала, что мое дитя «Капелла Матисса», воображаемые деньги за которое я уже мысленно тратила, и которое обсуждала со скромной самоуверенностью, отвергнуто простым карандашным росчерком на напечатанном черно-белом проклятии стандартного отказа. Я спрятала его под пачкой бумаг, как мертворожденного незаконнорожденного ребенка. Я содрогаюсь от ложного пафоса этих стихов. Особенно после чтения Пита де Ври, его недавнего искрящегося «Послеобеденного отдыха фавна». Существуют многообразнейшие виды любовной связи. Прежде всего, нельзя относиться к этому серьезно.

И все же приноравливающийся к обстоятельствам ум воображает, что стихи, отосланные на неделю раньше, должно быть, подвергаются детальному рассмотрению. Нет сомнений, что я получу их назад завтра утром. Может быть, даже с запиской.

25 февраля, суббота.

Итак, я оттерта, с вымытой головой, чувствую себя выпотрошенной и дрожащей; кризис прошел. Реорганизуем силы, выставим вперед непоколебимый отряд оптимизма и двинем. И так далее и так далее. С этой недели я начала думать о том, какой тупостью было в первом семестре объявлять мои окончательные декларации всем своим мальчикам. Это нелепо; не нужно было. Не то, что я не имею права выбирать людей, с которыми хочу проводить время, но нельзя без особых причин создавать ситуации, когда больше ничего не остается, как с очевидностью и до конца раскрывать себя.

Возможно, это произошло из-за того, что я была слишком интенсивна со всеми подряд молодыми людьми. И с ними это тоже вело к тому же самому отчаянию во мне, когда все атрибуты существования вылетают в трубу, и остаются лишь свет и тьма, ночь и день, без каких-либо физических недостатков, бородавок, узло-

ватых пальцев, прядущих саму ткань жизни. Или все, или ничего. Ни один мужчина не может быть всем, значит, дано: все они — ничто. Этого не может быть.

Да, никто из них не Ричард, это очевидно, и я постепенно начала говорить им об этом так, как если бы все они были больны смертельной болезнью, и, о, я очень огорчена. Есть определенная необходимость в практическом макиавеллевском поведении в жизни: легкость, которую нужно культивировать. Я была слишком серьезна для Питера, но так оказалось, главным образом, потому, что сам он не достаточно глубоко принимал участие в серьезности, чтобы быть в состоянии обнаружить за ней веселость. Ричард понимает такое веселье, трагическое веселье. Но Ричарда нет, и может быть даже, я должна быть довольна. Было бы труднее, если бы он захотел жениться на мне сейчас. Я думаю, я, наверное, сказала бы — нет. Почему? Потому что мы оба движемся в сторону собственного осуществления, и каким-то образом мое согласие могло бы потопить его, смять обыкновенной буржуазной жизнью, из которой пришла я, с присущими этой жизни идеалами больших, традиционно-семейственных мужчин, а с ним я никогда бы не чувствовала, что у нас дом. Может быть, когда-нибудь он захочет иметь дом, но пока он дьявольски далек от этого. Наша жизнь была слишком частной: ему, возможно, не хватало бы родственных связей и социального статуса, чужих для меня, мне бы — здоровой физической крупности. Насколько все это важно? Не знаю; мое отношение меняется, как если смотреть то в один, то в другой конец телескопа.

Ну, ладно, я устала, и сейчас уже конец дня, суббота, и у меня еще все необходимое чтение и письменные работы, которые я должна была написать два дня назад, но не написала по своей несчастью. Мерзкая простуда, отупляющая все мои чувства, закупоривающая мне нос; я не чувствую ни запаха, ни вкуса, не вижу сквозь слезящиеся глаза, даже не слышу — что почти самое худшее. И в добавление ко всей адской бессонной ночи простудных чиханий и верчений в постели ужасающие

спазмы моих месячных (проклятие, да) и мокрые, густые извержения крови.

Наступил рассвет, черно-белая серость, перешедшая в замерзший ад. Мне не удалось ни отдохнуть, ни поспать, ничего. Хуже всего мне было в пятницу. Я не могла даже читать, переполненная лекарствами, боровшимися и грохотавшими в моих венах. Повсюду мне слышались звонки, телефонные звонки не ко мне, дверные звонки с розами всем другим девочкам на свете. Полное отчаяние. Уродливый, красный нос, никаких сил. Когда я физически в наихудшем виде, крах, на меня падает небо, и мое тело предательствует.

Теперь, несмотря на продолжающийся сухой кашель, я очистилась и опять отношусь ко всему стоически, с юмором. На этой неделе отнеслась критически к своему способу поведения и имела случай убедиться, что была права. Мысленно пробежала список молодых людей, которых здесь знаю, и ужаснулась: конечно же, те, с которыми меня знакомили, не стоили знакомства (да, это правда), но как мало из тех, кого я знала, стоили! И как мало я знала. Так что я решила, что снова пришло время соглашаться ходить в гости и на чай. И Дерек пригласил меня на попойку в среду. Я замерла, как обычно, но сказала: «Может быть», — и пошла. После первоначального страха (я всегда чувствую, что, когда слишком долго бываю одна, превращаюсь в кикимору, и боюсь, что люди будут показывать на меня пальцами) все было хорошо. Горел камин, было пять гитаристов, приятные парни, хорошенькие девочки, одна норвежка, блондинка, по имени Гретта, пела по-норвежски «В горах над Колорадо», и были божественный горячий глинтвейн и пунш из джина с лимоном и мускатным орехом, спасшие меня и успокоившие дрожание в теле, начавшееся еще до простуды. И еще молодой человек по имени Хеймиш (который, возможно, окажется другим Айрой) предложил мне встретиться на следующей неделе и вскользь упомянул, что возьмет меня на вечеринку Св. Ботолфа* (сегодня вечером).

* «Ревю Св. Ботолфа» — журнал молодых кембриджских поэтов. На этом вечере Сильвия Плат впервые встретила Теда Хьюза.

Этого было достаточно. Я вела себя активно, и случилось хорошее. Я — жертва амбиций тоже. Я имею в виду, что меня заботит престиж. И мне очевидна легковесность мною написанного, бойкость, самоуверенная незначительность. Но это не я. Не вся я. И я испытываю угрызения совести, когда вижу чужие великолепные работы. Не потому, я думаю, что завидую, а из-за одной бывшей там блондинки. Страх — мой худший враг. А она чувствует страх? Принимая во внимание, что она человек, — да. Но, как у моей подруги Хантер, фигура и цвет волос прикрывают этот страх. Прячут его. Если этот страх вообще присутствует.

И я научилась кое-чему у Е. Лукаса Майерса, хотя он не знает меня и никогда не узнает, чему я у него научилась. Его поэзия замечательна, большая, его стихи благодаря технике и дисциплине делаются мастерскими, поддаваясь его воле. В них есть ослепительная радость, почти радость атлета, бегущего, наслаждающегося всеми божественными изгибами своих мускулов в действии. Лукас пишет в одиночестве и много. Он относится к этому серьезно; он не разговаривает об этом. Так и нужно. И я считаю, что не надо быть проституткой, в том смысле, как это слово дано в словаре Рожея*, — выставлять на показ слова и трясти мишурой для аудитории.

Лукас весь натянут и собран, гибок и ярк. Он будет большим поэтом, больше, чем любой из моего поколения, из тех, кого я читала.

Так что все-таки правда, я не достойна серьезных молодых людей; но я ли это? Если бы мои стихи были действительно хороши, у меня был бы шанс; но пока я не сделаю что-то сильное и вырывающееся за пределы сладостных сестин и сонетов и не откажусь от себя, отражающейся в глазах Ричарда, и неизбежно узкой постели, слишком маленькой для сокрушающего акта любви, до тех пор они могут игнорировать меня и отпустить шутки по моему адресу. Единственное средство от зависти, как мне представляется, — это постоянное,

* Автор первого английского тезауруса.

твердое выковывание собственной личности и собственных ценностей, в которые верю я; другими словами, если я считаю, что хорошо поехать во Францию, то абсурдно чувствовать боль только потому, что Кто-то Другой поехал в Италию. Здесь не должно быть сравнений.

Страх, что мои ощущения скучны, неполноценны, возможно, имеет основания, но я не тупица, хотя во многом невежда. Я сокращу здесь свою программу, потому что знаю, как и всегда знала, что для меня важнее хорошо делать небольшое количество вещей, чем большое количество — кое-как. Во мне все еще живет постоянное стремление делать все наилучшим способом. В этой ежедневной игре, в которой надо что-то выбирать и чем-то жертвовать, нужно иметь острый глаз для всего излишнего. Но суждение меняется каждый день. Иногда луна не нужна, иногда, напротив, необходима.

Прошлым вечером отупевшая от болезни, почувствовав отвращение к пище и к отдаленному жужжащему шуму разговоров и смеха, я выскочила из столовой и пошла в общежитие одна. Что может слово «синий» передать об ослепляющем великолепии пропитанного синим лунным светом белого заснеженного сверкающего поля с черными деревьями на фоне неба, каждого со своим собственным рисунком ветвей? Я ощущала себя запертой, заключенной в этом пейзаже, понимая, что он прекрасен, потрясающе красив, но также страдала, чувствуя боль от желания ответить ему и стать его частью.

Диалог между моим Сочинительством и моей Жизнью всегда в опасности соскользнуть от ответственности, уклониться от рационального, другими словами, я оправдываю беспорядочность своей жизни, говоря: «Я придам ей порядок, форму, красоту, написав о ней»; я оправдываю свое писание будущей публикацией; дайте мне жизнь (и авторитет жизни). Ты должна с чего-то начать и вполне может быть — с жизни; нужна вера в себя несмотря на свои лимиты и сильная, энергичная целеустремленность в борьбе за овладение одной ве-

щью за другой, как, например, языками; выучить французский, игнорировать итальянский (приблизительное знание трех языков дилетантство) и оживить опять свой немецкий, каждым языком овладеть твердо. Всеми овладеть твердо.

Сегодня утром ходила к психиатру, и он мне понравился: привлекательный, спокойный и понимающий, с приятным ощущением возраста и большого опыта; думалось: «Отец, почему бы нет?» Хотелось расплакаться и сказать: «Отец, отец, утешь меня». Я рассказала ему о своем состоянии и обнаружила, что жалуюсь, главным образом, на то, что не знаю здесь взрослых людей, и это ведь причина тоже! Здесь нет ни одного знакомого мне человека, которым восхищаюсь, кто был бы старше меня! В таком месте, как Кембридж, просто позор. Ведь это значит, что я не имела случая познакомиться со многим прекрасными людьми; вероятно здесь много молодых преподавателей, обладающих зрелым умом (и я всегда спрашиваю себя, а хотели бы они быть знакомы со мной?). Но в Ньюхэме* нет ни одного молодого преподавателя, который нравился бы мне как личность...

Временами я ощущаю в себе большую тупость; но если бы я действительно была тупа, разве я не была бы счастлива с кем-нибудь из знакомых мне молодых людей? Или это именно по своей глупости я не могу быть счастлива ни с одним из них? Вряд ли. Я мечтаю о ком-то, кто смел бы Ричарда; разве я не заслуживаю какой-то ослепляющей меня любви, с которой я могла бы смириться? Боже мой, я бы хотела готовить, и поддерживать дом, и вселять силы в мечты мужчины, и писать, если бы только он мог разговаривать со мной, и любил бы длительные прогулки, и работал, со страстью относясь ко своему делу. Мне невыносима мысль об увядающей и засыхающей во мне потенции любить. Но так важен выбор, это меня немного пугает. Очень пугает.

Сегодня купила ром и ходила специально за гвоздикой, лимонами и орехами, достав рецепт масляничного

* Колледж Кембриджского университета, в котором училась Сильвия Плат.

рома, который мне надо было бы иметь с самого начала моей простуды; я сделаю его теперь. Хеймиш так скучен, он пьет. Как это ужасно. Я тоже пью одна шерри и вино, потому что мне это нравится, и я получаю физическое ощущение снисходительности к тому, что делаю, и я ем соленые орешки или сыр: роскошество, блаженство с эротическим оттенком. Я думаю, что если бы я разрешила себе, то могла бы сделаться алкоголичкой.

Что страшит меня больше всего, это, я думаю, — смерть воображения. Когда небо за окном просто розовое, а крыши просто черные: фотографический ум, говорящий о мире, как это ни парадоксально, правду, но никчемную правду. Я жажду творческого духа, «формобразующей» силы, рождающей в изобилии свои собственные миры с большей изобретательностью, чем сам Бог. Если я бездействую и ничего не делаю, мир вокруг меня бессмысленно гроыхает, как в плохо натянутый барабан. Мне необходимо двигаться, работать, создавать для себя мечту, чтобы к ней стремиться; убожество жизни без мечты — слишком устрашающе для моего воображения. Такого рода безумие — худшее, с фантазиями и галлюцинациями — было бы босховским отдохновением. Я всегда прислушиваюсь к шагам на лестнице и ненавижу их, если они не ко мне. Почему, почему я не могу хоть на какое-то время быть аскетичной, вместо того чтобы всегда балансировать на грани стремления к полнейшему одиночеству для своей работы и чтения и такой же сильной, такой же сильной потребности жеста руки и слов других человеческих существ. Ну, хорошо, после того, как на этой неделе я кончу свою работу о Расине, и это чистилище — Ронсара, и еще Софокла, я начну писать: письма, и прозу, и стихи... А пока я должна быть стойком.

11-го февраля 1963-го года под давлением несчастного стечения обстоятельств и охватившего ее страха перед безумием Сильвия Плат, в возрасте 30-ти лет, покончила с собой.

ТРИ ПИСЬМА О ПРОБЛЕМАХ РОССИИ

Выглеснули с водой ребенка

Я не люблю капитализм и не хочу, чтобы мои внуки и правнуки жили при капитализме. Неважно, как вы будете его называть — рынок, конкуренция, свободная экономика — все это побрякушки слов, от которых, честно говоря, у меня уже сводит скулы.

Не стану повторять и истин, набивших оскомину, что де капитализм рождает в России Березовских, Гусинских и рядом отвратительную нищету. Еще страшнее, что он уродует психологию человека, делает из него себялюбца, ненавидящего весь мир, кроме самого себя. Все это лично для меня было бы полбеды, если бы я ощущал себя социалистом. А ведь потому и голова идет кругом, что социализм в моих глазах еще хуже, чем капитализм.

Я прилично пожил в стране Советов и хорошо знаю, с чем все это едят: план, бюрократическая экономика, «человек — это звучит гордо» и главное, чем все это кончается. Прелестями тоталитарного строя — вот чем, от которых и до нового Сталина два шага. Вот и получается: направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — сам голову сложишь.

Для чего же я пишу тогда это письмо и мараю бумагу, если нету и лучика надежды в конце туннеля?

Много бессонных ночей провел я за этими мыслями. И знаете к какому пришел заключению? Начинать надо ни с капитализма, ни с какого ни коммунизма, а с самих себя. Думаете, начнет сейчас призывать — де надобно лучше трудиться и прочая, прочая, хотя, конечно, про наших работников тоже не мешало бы пару слов сказать.

Но я-то имею в виду другое, когда говорю о самообновлении: как бы перестать нам быть максималистами. Ведь сами знаете, как у все, у нас — или рыночники или Зюганов, *tercium non datur*. Правда, социологи еще говорят: «Давайте искать третий путь». Хорошо, давайте, если эта общатина вам по вкусу. Итак, — вперед и выше! Создавать о «Третьем пути» научные фолианты, писать кандидатские и докторские, писать в газетах, вещать по радио и телевидению. Даже народные песни о «третьем пути» слагать: «Третий путь, третий путь, ты родной наш и любимый!»

Выше я сказал, что мы максималисты, но мы же еще и отчаянные болтуны и прожектеры. С хлебом-мясом перебьемся, голодать будем, — все выдюжим, только не отнимайте у нас права высказывать всяческие идеи — да на что нам вся перестройка, если не будет права на прожекты. Герои платоновского Чевенгура, которые все лежали и разглагольствовали о светлом будущем, рядом с нами просто дети малые. А что предлагаю я? Да в сущности очень малое: чтобы правительство, которое у нас всегда от дел задыхается, собрало соответствующих специалистов и поручило им одно-единственное дело: выработать предельно конкретную и экономически выверенную систему контроля над нашим... прости меня господи... разбойным капитализмом. Что это будет? Народные советы? Думские наблюдатели? Профсоюзные контролеры? Не знаю. Не забывайте, что я всего-навсего по образованию инженер. Знаю только, что задача у всех будет одна — чтобы капитал не зарывался, чтобы знал, что не люди для него, а он для людей — вот главное! И тогда не надо будет нам приходиться в ужас от бесплатных врачей, детских садов, домов отды-

ха — де караул! Противоречит рынку! Какие же мы оказались большие мастера выплескивать вместе с водой ребенка! Так вот, пусть родной наш капитал развивается полным ходом, пусть гребут миллионы, но только, чтобы не грабить и не превращать в бомжей трудовых людей, или того хуже, наш нарождающийся средний класс, пусть правительство на бровях ходит, пусть убиваются как хотят, но тут стоп — путь закрыт: по живому не резать, запрещено законом. Вот и все. И не нужны никакие умствования г-на Примакова о социально ориентированном рынке и прочая и прочая. Рынок на то и рынок, чтобы быть ориентированным на доход, а не на райские кущи за два с полтиной. Да вот, повторяю, сдерживать его надо — и чтобы там ни говорили про план или тоталитарные приемы, — государству, представляющему интересы населения, должно при всех обстоятельствах оставаться партнером капитала.

Скажут, что я пытаюсь открыть Америку, что все и без меня хорошо известно. Нет, нам не надо открывать Америку, с этим делом без нас обошлись и не плохо управились. А вот с Россией — несколько подзадержались: куда ни кинь, везде клин, вот бы и найти ей свой третий путь, который стал бы главным звеном, за которое вытащим всю цепь. Сам понимаю, что нехорошо В.И. вспоминать, — не по-рыночному! Да я готов кого угодно вспомнить, хоть Иуду Искариота, лишь бы бросили болтать и хоть в третьем тысячелетии занялись, наконец, делом.

Когда человек занят делом, причем конкретным, он чувствует стержень, на который, как говорил классик пролетарской литературы, поднимает флаг своей оригинальности. Дело, доброе дело, приносит пользу, пусть это будет и «маленькая польза». Это лучше, чем длинные рассуждения об общем благе.

Сложилось так, что наряду со своей основной работой меня всю жизнь привлекали альпинизм и горные лыжи. И вот, уже на восьмом десятке, я продолжаю работать, учить студентов сопромату, и попутно придумал с друзьями занятие: обучать детей-инвалидов с

церебральным параличом езде на горных лыжах. Наш благотворительный горнолыжный Центр существует уже девятый год. 120 детей, а вместе с родителями — 300 человек объединены вокруг Центра. Из 15 тысяч детей-инвалидов Москвы мы помогли многим. Это только частный эпизод, говорящий о необъятных возможностях нашей жизни. Надо заниматься конкретным делом, и все будет в порядке.

Борис МИНЕНКОВ,
доцент МГТУ им. Баумана,
мастер спорта СССР.
Руководитель горнолыжного Центра

Как вернуть полтора миллиарда!

Уважаемая редакция!

В истории нет другого примера такого ограбления государства собственными гражданами, какой мы видим в сегодняшней России.

Чтобы понять, какая беда обрушилась на наше хозяйство, не надо быть особым специалистом: капиталы из России бегут, инвесторы обмануты, доверие к рублю подорвано. Западные инвесторы смеются: зачем мы будем давать вам капиталы, когда наши деньги к нам же и вернуться, но в виде собственности российских расхитителей? Каков механизм обкрадывания страны, не так просто понять, и лично я долго удивлялся, как это возможно на глазах у всего честного мира вывозить миллиарды долларов? Но наши «разговорчивые» журналисты нет-нет, да и проговариваются в разоблачительном пылу. Я не финансист и тем более не банкир, но читая газеты, прихожу к выводу, что ограбление общества не такая уж непостижимая вещь. Везут на Запад то, что Западу нужно. Везут составами медь, алюминий, везут дорогостоящее оборудование. И все как будто бы в согласии с международными правовыми нормами. Налицо: договор, лицензия на

вывоз, банковские реквизиты сторон, таможенные печати. А западного бизнесмена мало волнует, на чье имя он переведет деньги за полученные ценности: он просто перечислит их на счет указанной из России компании. А существует ли она в действительности и кто ею управляет, кто подписал товарно-денежные документы, еще раз подчеркну, западных банкиров волнует мало. Вот и получается, что валюта наша скрывается в небытии, и никто ее больше не увидит. То есть я, пожалуй, не точен: не саму валюту, а купленные на нее виллы обязательно увидят, но не в России, а где-нибудь на Канарских островах. Как рассказывают люди, переехавшие на Запад, дело доходит до анекдотов: наши чудодеи от бизнеса, не имеющие права на ссуды, приносят с собой в брокерские компании чемоданы с долларами, чем приводят в шок выдавших виды западных риэлтеров. Но, как говорят, деньги не пахнут. Тем более наличные, которые тут же идут в ход. И уж, конечно, этих брокеров мало занимает тот факт, что такого чемодана с долларами хватило бы на то, чтобы обеспечить инсулином больных диабетом российских детей.

Могут сказать: да ведь эти купюры — всего лишь условные знаки... бумажки. Не надо быть финансистом, чтобы понять, что все это не так. Недополученные нами полтора миллиарда долларов — это не просто цифры на счетах, это украденные на миллионы товары, стройматериалы, это еда, жилье, лекарства, это жизненно необходимые нам вещи, это сотни самолетов, тысячи тракторов и комбайнов для сельского хозяйства.

Как вернуть украденное?

Насколько я знаю, в Швейцарии существует законодательство, согласно которому тайна вкладов оберегается неукоснительно. Более того, на проценты от этих вкладов живет страна. Так что на стороне вкладчиков стоит закон, и банки мало интересуются тем, кто именно их вкладчики: наследники Форда или учредители, скажем, такой милой компании, как московская «Чара».

Был случай, когда Израиль командировал в Швейцарию группу полицейских, чтобы уточнить имя какого-то вкладчика! Этих сыщиков не только не впустили в банк — их арестовали в аэропорту. Вот на швейцарские законы и уповают наши русские, с позволения сказать, предприниматели. Да, тайну вкладов там держат. Однако если этим банкам предъявить юридический документ, например, обвинительное заключение или приговор суда о том, что такие-то и такие-то средства, поступившие на их счета, — результат мошеннической сделки или какого-нибудь другого преступления, банки открывают и счета, и имена! Кстати, это не моя досужая фантазия. Об этом мне рассказывал один из наших банковских сотрудников после беседы с супервайзером крупного цюрихского банка.

Конечно, деньги не сразу вернутся. И процедура эта, как сказал тот же сотрудник, невероятно сложна. Но если удалось добиться, чтобы со швейцарских счетов вернули деньги наследникам евреев, ограбленных нацистами, то неужели нельзя схватить за руку тех, которые сегодня грабят Россию? Лично мне кажется, что можно! Нужна только соответствующая правовая база.

Конкретно: речь идет о том, чтобы ввести в Уголовный Кодекс Российской Федерации специальный раздел, в котором предусматривались бы финансовые преступления, по своему масштабу опасные для экономической устойчивости государства. И разработать процессуальные нормы: на каком этапе и при каких обстоятельствах можно задержать мошенника, взять подписку о невыезде и т.д. Да и процедуру вывоза денег надо оговорить в законе. Продал, например, эшелон дорогостоящего алюминия, заработал миллион долларов — изволь их перевести в Россию в течение определенного законом установленного срока. Все должно быть оговорено: и преступления, и наказания. И соответствующие санкции опять же определить в Кодексе. Самые суровые. Вплоть до высшей меры.

Впрочем, цель не в том, чтобы покарать, но и в том, чтобы предупредить преступление. Попробовать обра-

зумить людей, забывших, что такое гражданский долг. И главное: не забывать об интересах России. А если уж не образумятся, — тогда во всю силу применить закон. Родина простит того, кто найдет в себе мужество стать честным.

В. АЛЕКСАНДРОВ,
конструктор, Екатеринбург

Вот где, думаю, собака зарыта!

Уважаемая редакция!

Всякий раз, когда я оказываюсь в подмосковных поездках, — обязательно кто-нибудь из пассажиров заведет такую песню: хорошо москвичам живется, все им дают, полки магазинов ломаются, любой вопрос в два счета решишь — любое министерство и ведомство под носом. А гляньте, как строится Москва, какие сооружения, какие кварталы, памятники культуры — и впрямь ведь третий Рим!

Наверное, в этом есть большая доля правды: все лучшее, что есть в России, течет в Москву. А уж провинция? Да что там говорить о провинции! Отсюда, с чего бы ни начинался разговор, как бы ни продолжался и чем бы ни кончался, обязательно услышишь:

— Чего с нас взять? У нас-то здесь не Москва, куда нам до Москвы?

Какие только чувства не вкладываются в эти слова! Зависть. Ревность. Отчаяние. Злорадство. Ну, и, конечно, мечта, что вот придет какая-то другая жизнь, и все сказочно переменится, и отношение «провинции» к «столице» станет другое... Да, да, вдруг, в один прекрасный день, по мановению волшебной палочки!

Не сегодня все это родилось. Так было в старой России, так было при Ленине, так было и при социализме, при великом вожде и учителе... Но вот пришли другие времена. Наступили разительные перемены. Советской власти нет. Вроде бы воля наступила на

всей русской земле: работай! Меняй жизнь к лучшему!
И опять:

— Мы не Москва, кто это нам что будет менять в нашей-то Туле, Костроме или Тамбове? Да где нам взять средства, откуда силенки? Другое дело Москва. Нам бы такого мэра, как ихний Лужков.

И снова родные песни: Москве все, и деньги, и власть, Москва денно и ночью строится, все в своих руках держит.

Да, строится. Да, держит. Но не дает мне покоя вопрос: откуда в русских людях это убеждение, что без Москвы ничего нельзя сдвинуть ни в одном российском углу? И почему всякая попытка что-то сдвинуть воспринимается как вызов Москве, как попытка взбунтоваться, чуть ли не отделиться от нее («Невский край», «Уральская Республика», «Сибирь» и т.д.)?

Не связано ли это с тем укорененным российским взглядом, что дальше своего порога вообще ничего переменить нельзя? Посмотрите, где у нас кончается любое домоустройство? Не в «избе» ли? Этой переменной в «избе» все и кончается. Ну и, конечно, слышишь: а что можно поделаться — Москва далеко, мы люди маленькие — что сверху подбросят, то и возьмем, спасибо скажем, а что не подбросят, так уж, что поделаешь: на все воля Божья!

Не отсюда ли получается: в избе порядок, а за порогом свалка? Прибраться хватает сил только в своей квартире. А в подъезде уже другие разговоры — «надо б лампочку повесить, денег все не соберем»...

Про улицу и речи нет: свой кусок улицы не только никто не метет, но со спокойной душой заваливает мусором, и перелезают через кучи мусора, чуть не матерно ругая при этом начальство, которое никак не организует уборку: знамо дело, «Москва» никак не наведет порядок!

«Рыба с головы гниет!» Уж как нам по душе такое объяснение на все случаи жизни! И никак не понять простой истины, что само собой ничего не делается, что сперва отдельный человек должен отдать все государ-

ству и только потом ждать от государства защиты и прочих благ. Но было бы полбеды, если бы по таким правилам только какая-то там тьмутаракань жила. А то ведь укоренилось это в нашей жизни: ни мы, ни наша деревня ни за что не отвечает, что нам самим палец о палец нельзя ударить, что-то изменить, а за все надо спрашивать с тех, кто наверху сидит.

Давайте для примера отроем любую газету — критики хоть отбавляй. А против кого она обращена? Против «Москвы»? Против начальства! Против правительства! Что правда, то правда: не сильно везет российскому народу с правителями. Но вот тут же и вопрос: а откуда они, эти правители, берутся? Господом Богом насаждаются? Или не мы сами их выбрали?

Кто не помнит, как миллионы людей по всей стране скандировали: «Ельцин! Ельцин!» А теперь послушать: да откуда только он на нашу голову взялся? А ведь от нас и взялся!

А если вдуматься, откуда возьмется народный президент, если все кандидаты всю жизнь в номенклатурщицах провели?

Да только где нам в такие глубины лезть? К тому же, не мы дураки: Москва знает, люди, небось поумнее нас думали. Вот и получается, что каждый народ заслуживает своего правителя. Каков народ — таков и правитель!

Конечно, я не так наивна, чтобы надеяться, будто от одного моего письма что-нибудь изменится. Психология нашего народа веками складывалась, веками водилась, чтобы не каждый из нас за свою жизнь отвечал, а кто-нибудь сверху. Неважно, кто именно: царь-батюшка, Ленин, Сталин, родная партия, родное правительство, а теперь вот Дума, Президент — кто угодно — только не мы сами. Нам-то самим то ли лень, то ли недосуг, — нам от этой мороки только тяжесть на душу. Уж лучше пойти с корешами или соседом поллитру раздавить, глядишь, отоспишься, а там и само все изменится.

Нет, пока не начнем подле себя, своими силами, пускай помаленьку, но сами свою жизнь обустроить,

не видать нам никаких райских куц ни от Бога, ни от правителя, ни от Москвы, на которую — надо не надо — киваем на каждом шагу.

Вот мы часто Америку в газетах ругаем, что капитализм там, рынок, простого человека обманывают. Согласна, капитализм — не сахар. Но за что мне Америка нравится — что там человек за себя отвечать приучен. Никто ни на кого не кивает, никто ни на кого не ссылается. Там вряд ли услышишь — что за все дела президент в ответе — например, за урожаи, за процент в банке, за безработицу... Логика там другая. Во-первых, президента сами выбирали, а раз выбирали, теперь терпите, и — мало того — теперь помогайте ему вытаскивать страну. И во-вторых, каждый приучен работать во всю силу, там пословица: «что посеешь — то и пожнешь» — не для красного словца. Может ее вслух и редко произносятся, но она в самую глубь людской психологии внедрилась. Человеку много дается, но и много с него спрашивается. Впрочем, не совсем так, никто с него специально не спрашивает, он сам с себя спрашивает, ни с кого, а только с себя — вот где, думаю я, собака зарыта.

Евгения БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ,
старший преподаватель, Тула

ВЕРНИСАЖ
«ВРЕМЯ И МЫ»



Владимир БУЙНАЧЕВ

МНЕ СКУЧНО ЗНАТЬ, ЧТО ЗА ПОВОРОТОМ

Скульптура — это путешествие. Путешествие в мир пространства и формы. В мир пространства и времени — поскольку овладение пространством, приобщение к нему всегда и неразрывно связано с постоянно движущимся временем. Меня влечет пластически развитый, пространственно оформленный объем, воочию реально мною видимый иль представляемый в воображении. Он пробуждает волю к движению, провоцирует желание отправиться в путь, приглашает к путешествию, обещая открыть многие свои тайны, поведать неведомое. И я, скульптор, готовлюсь к повседневному труду своему точно так же, как путешественник, землепроходец готовится к путешествию. Одежда, обувь, защита головы от пыли, света, звуковых раздражителей — все продумано. Экипировка должна раскрепостить в движениях, стать надежной защитой и верным помощником в работе. Инструмент — тоже самое, ничего лишнего, ничего громоздкого. Он должен быть элегантным, обладать определенным изяществом. Терпеть не могу — работать кувалдой.

А дальше подхожу к объему дерева, камня, то есть того материала, из которого замыслено будущее произведение.

И... приступаю. Отправляюсь в путь. Начиная новую работу, конечную цель ее, как некую самоценную пластическую идею, постоянно держу в сознании своем и никогда не планирую маршрута, не продумываю пути воплощения. Обхожусь без эскизов, без подготовительных рисунков, реальное контролирую воображаемым, творимоеверяю замыслом. Не занимаюсь предвидением, предвосхищением, всегда соучаствую в пластическом перерождении материала и живу, как он живет, как он подсказывает, в надежде на чудесное свершение. Мне скучно знать, что я увижу за следующим поворотом, я иду навстречу чуду пластического многообразия, сам ухожу в избираемое мной пространство, отказываясь от мнимого приоритета и права подчинять, властвовать, повелевать. Смиранный и послушный, как монах, внимательный и исполнительный, как подмастерье, отринув всякое желание лидерствовать, забегать вперед, кичиться, выставляться напоказ, отдаюсь влечению ведомого — куда ведут, и направляемого по пути познания. Что удастся, то я совершаю, пришедшее, открывшееся воплощаю и никогда не чувствую себя постигшим, превозмогшим, приблизившимся к откровению природы. Вот так я путешествую в скульптуре. Любимый материал? — наверно, камень. И твердый камень-диабаз, гранит, песчаник, диорит. В них звонкость, плотность и глубинное свечение, внушающее мысль о вечном и непреходящем. Пока иду и не задумываюсь о привале, о конце пути, об остановке и свершении чего-либо напоследок. Все это, думаю, пошлетса свыше, как было послано все то, что уже есть. За время этого пути в скульптуре не мало сделано: с полсотни произведений в глиптике (резьба на драгоценных камнях), не меньше в дереве и столько же если не больше в граните. И все в авторском исполнении. В бронзе тоже работаю, но пока еще не полюбил этот материал, не сроднился с ним.

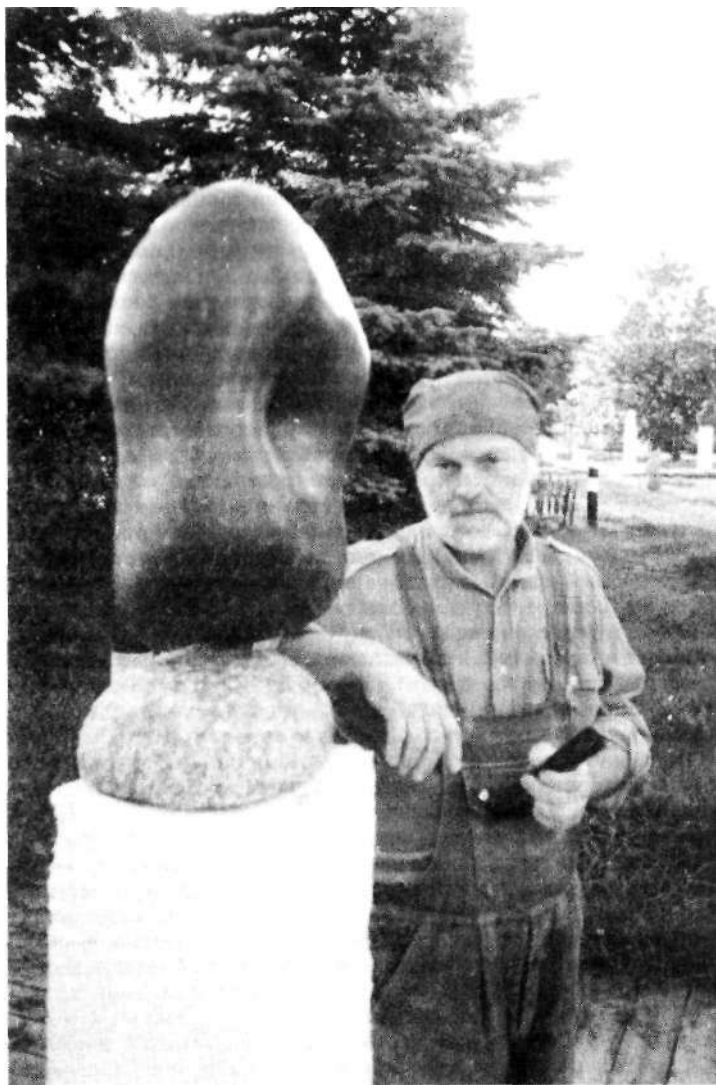
И есть еще одно мое путешествие, которое я начал с детства. Путешествие в мир слова. А если конкретнее, то в мир «Слова о полку Игореве». Это загадочная страна, неведомая земля, куда я волей провидения однажды вошел и начал путь. И что же оказалось. Этот край, пространство, территория, открытая для всех, никем не познана и не освоена поныне. А почему же? — задаюсь вопросом. А потому, что не было доверья ни к автору, ни к «Слову», ни к первоиздателю его. А кто ж не доверял? Да все не доверяли.

Я в путешествие отправился и с верой, и с доверием не только к автору, но и к издателю его. И в благодарность, видимо, за это мне многое открылось. А что же именно? А то, что несомненно и самоочевидно, что автор «Слова о полку

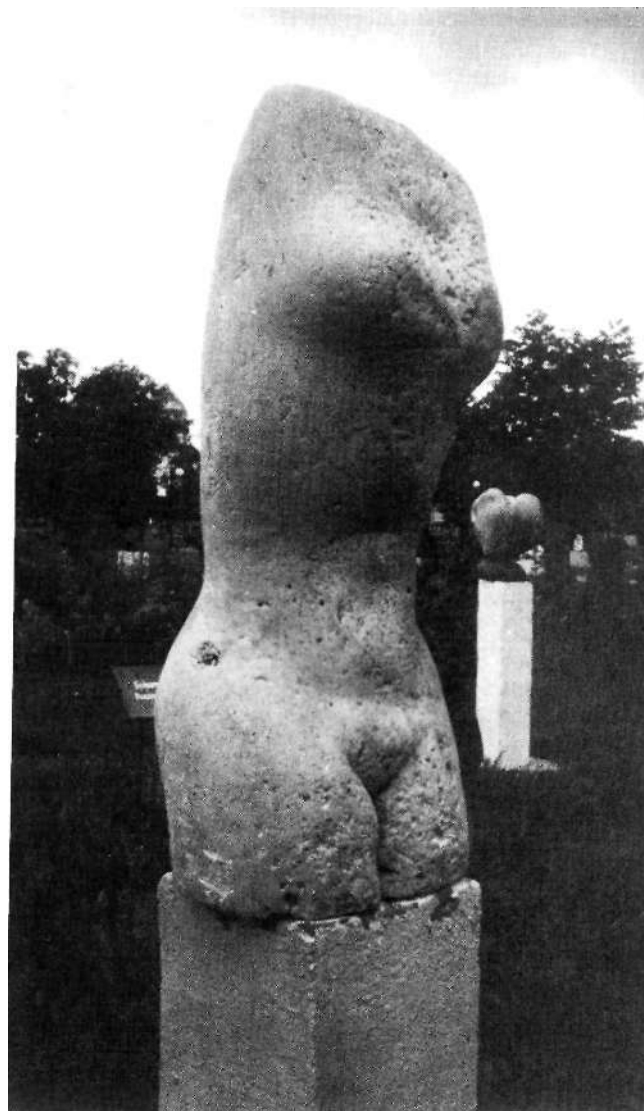
Игореве» сам Игорь — Новгород-Северский князь. Этому я посвятил книгу, выпущенную в 1998 году издательством «Книжный сад» г. Москва, которая так и называется: «Новое прочтение «Слова о полку Игореве»: автор известен». В ней не одно, а много доказательств того, что автор в «Слове» явлен и самопредставлен. Но все эти доказательства можно было признать и посчитать чисто эмоциональными. Убеденностью, но не фактом.

И вот тогда, свой продолжая путь по «Слову» дальше, я обнаруживаю, что в нем есть шифр. Зашифрованность, закодированность текста. Я бы не назвал это тайнописью, потому что все написано обычно, словами и буквами родного языка, но смысл и дополнительная информация в расположении букв и знаков. В основе же всей скрытой информации бесхитростно представленный и сообщенный визуально акростих. Читай и все поймешь, и все узнаешь. Какая простота! И гениальность в этой простоте! Передохнув, собравшись с мыслями, я продолжаю путь. И что же? Автор «Слова» действительно князь Игорь. Свое имя он зашифровал несколько раз в тексте написанного им произведения, а кроме того сообщил время и место написания этого произведения. Это я открыл, читая, изучая, путешествуя по «Слову». Но несколько страниц мной расшифрованного текста — еще не завершение, не окончание пути. Не чувствуя нужды ни в передышке, ни в привале, я продолжаю путь, который представляю бесконечно долгим и так же бесконечно радостным. Иду в не большей и в не меньшей, чем всегда надежде и уверенности в чуде. Оно откроется, произойдет, случится непременно — каким-то внутренним чутьем я чувствую и жду, шагая. Что это будет? Да как знать. Я ведь в неведомом краю, в непредсказуемом и удивительном пространстве. Это относительно и скульптуры, и «Слова о полку Игореве».

Так я живу теперь. Но и раньше не жил иначе. Рубил дерево и камень, создавая скульптуры, вырезал изображения на самцоветах, писал стихи и прозу. И всегда был похож на себя — никогда не был другим. Участвовал в десяти симпозиумах по скульптуре из дерева, известняка, гранита, которые проводились и в России и за ее пределами. Произведения, созданные мной за эти годы, находятся в музеях и частных собраниях Германии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Швеции, Японии. И у нас: в собраниях ГТГ, Русского музея, музея А. С. Пушкина в Москве...



В.П. Буйначев у новой работы



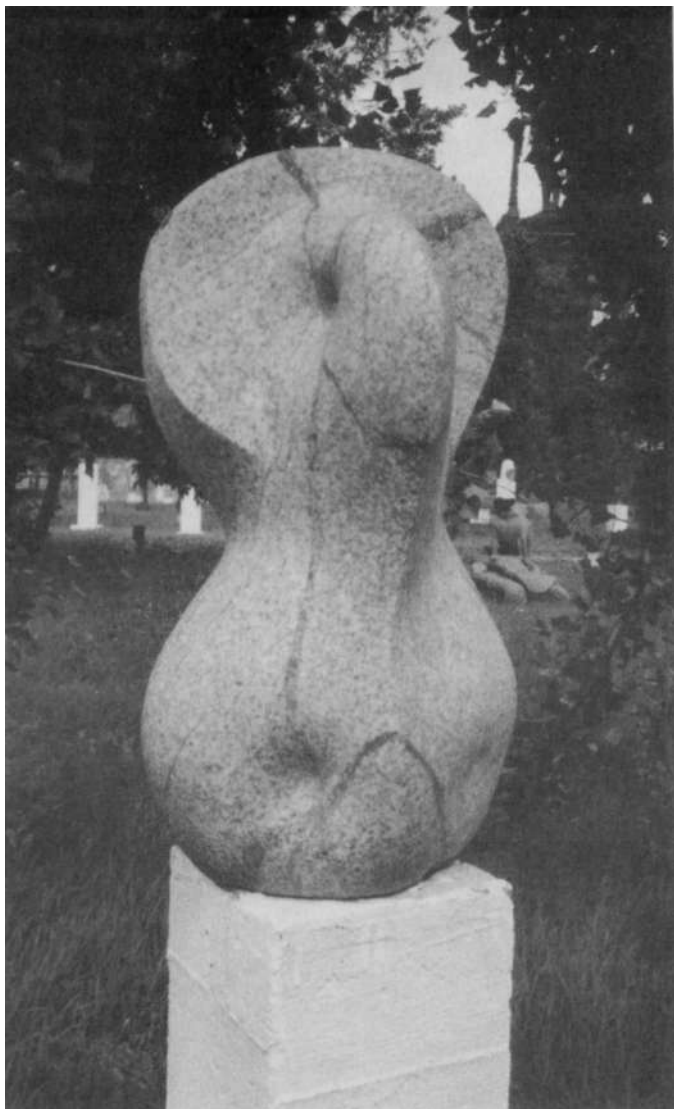
Женский торс. Белый камень



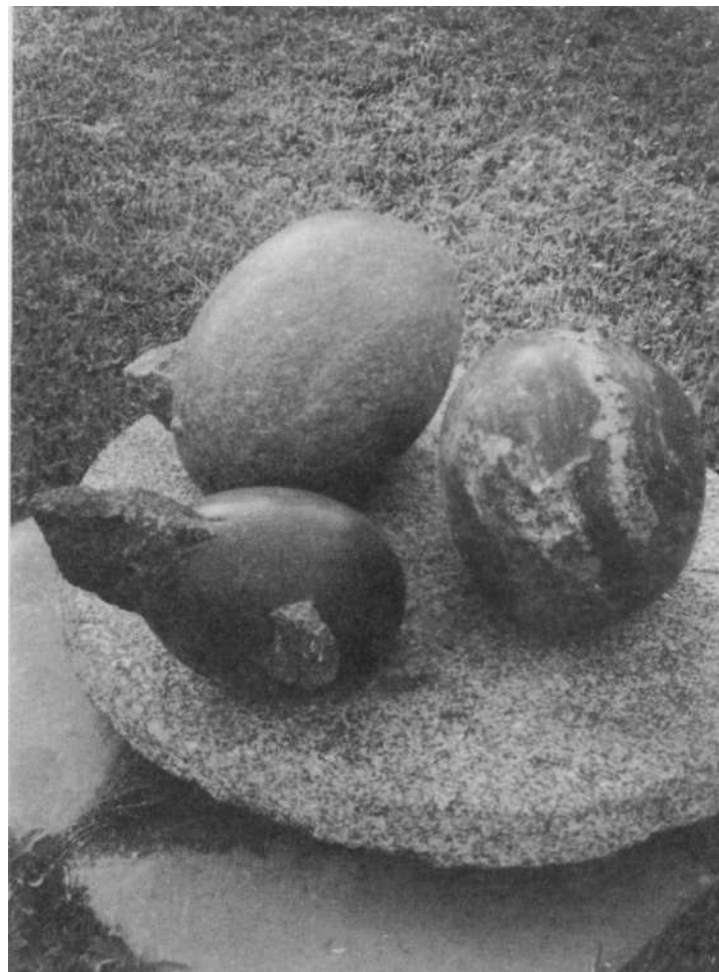
Большая птица. Памятник московскому воробью. Гранит



Русская Венера. Гранит



Бесконечность. Гранит



Роковые яйца. Гранит



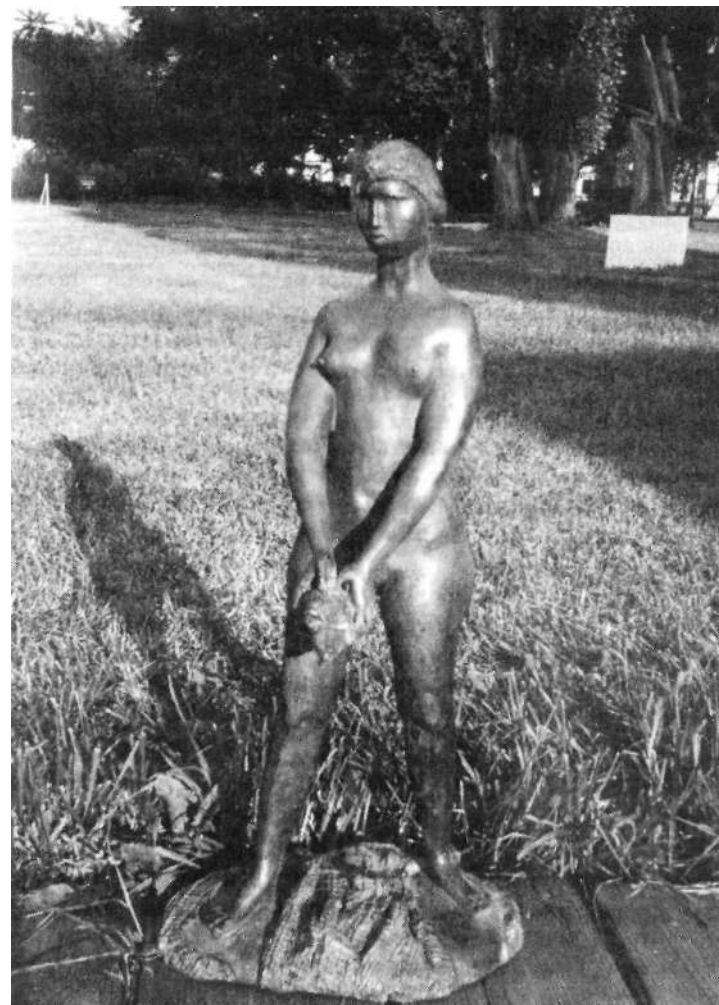
Лучница. Бронза



Князь Игорь. Гранит



Краб. Гранит (фрагмент)



Женщина, держащая рыбу. Бронза

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н. М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16.

Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Лев АННИНСКИЙ. Родился в 1934 году. Редактор московского издания журнала «Время и мы», автор пятнадцати книг («Ядро ореха», «Обрученный с идеей», «Охота на льва» и др.). Член редколлегии журналов «Дружба народов», «Родина».

Виталий РАПОПОРТ. Родился в Днепропетровске в 1937 году. В 1959 году окончил Институт стали. Кандидат экономических наук. С раннего возраста принимал посильное участие в коммунистическом строительстве, но в КПСС не состоял.

Ольга ИСАЕВА. Родилась в Казахстане в 1958 году, выросла в Орехове-Зуеве, под Москвой. В США с 1988 года. Первые публикации в 1997 году.

Виктория ФОМИНА. Родилась в столице Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчике 12 мая 1965 года. Окончила постановочный факультет Школы-студии МХАТ и Литературный институт. Работала в театрах Москвы и провинции художником-постановщиком и завлитом. Автор статей о театре и литературе, нескольких пьес. Проза публиковалась в журналах «Дружба народов», «Знамя» и др. Живет в Москве.

Татьяна МУШАТ. Родилась и выросла в Сибири. Инженер, кандидат технических наук, доцент Новосибирского Государственного технического университета. В США с 1991 года. Переводчик с английского.

Евгений БАЧУРИН. Родился в 1934 году в Ленинграде. Потом жил и учился в средней школе в городе Сочи. Закончил Московский полиграфический институт. Работал художником-иллюстратором в журналах «Юность», «Смена», «Наука и жизнь», газете «Неделя» и др. Поэт, композитор, исполнитель (гитара). Выпустил 6 пластинок:

«Шахматы на балконе» (1980), «Дерева» (1982), «Я предлагаю спать о том» (1986), «Я ваша тень» (1990), «Пьяный корабль» (1991), «В ожидании вишен» (1994). Холсты и графика Е.Бачурина выставлялись в Германии, Швейцарии, Швеции, Франции и др. Член Союза художников СССР и России, член Российского Пен-центра. Живет в Москве.

Елена КРЮКОВА, 1956 г. рождения. Музыкант: фортепьяно, орган (Московская консерватория — 1975-1980, работа в Нижегородской консерватории — 1981-1991). Четыре книги стихов. Семинар А. Жигулина в Литинституте (1983-1989). Нечто вроде credo: перефразируя Даргомыжского: чтоб слово прямо выражало правду.

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ. Родился в 1933 году в Москве. Окончил сценарный факультет ВГИКа. Публиковался в журналах: «Юность», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и др. Автор книги «Песня скорбных душой», выпущенной в 1998 году издательством «Книжный сад». Автор слов песни «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой...» Живет около станции метро «Кропоткинская».

Дмитрий БЫКОВ. Родился в Москве в 1967 г. Обозреватель еженедельника «Собеседник» и журнала «Столица». Лауреат призов Союза журналистов России, Москвы и премии журнала «Огонек». Поэт, автор двух сборников стихов: «Декларация независимости» (1992) и «Послание к юноше» (1994). Член Союза писателей. Печатался в «Литературной газете», «Искусстве кино», «Огоньке», «Экране и сцене», «Синтаксисе».

Андрей НУЙКИН. Родился в 1931 году в Новосибирске. Закончил Новосибирский пединститут. Автор более девяноста книг и более пятисот газетных и журнальных статей, секретарь Союза писателей Москвы, член Комиссии по правам человека при Президенте РФ. С 1993 по 1995 годы — депутат Государственной Думы (Комитет по образованию, культуре и науке).

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ. Родился в 1930 году в Москве. Автор книг «Час выбора», «Монолог с вариациями», «По следам Гоголя», «Поэзия проза», «Гоголь» (в серии «ЖЗЛ») и других. Живет в Москве.

Александр ГРАНТ — родился в 1944 году в Москве. Окончил журфак МГУ в 1963. Эмигрировал в США в 1987. Работает в «Новом русском слове». В Москве вышла книга «Процесс Япончика» — об организованной преступности в США.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН. Родился в 1929 году в Москве. Основатель и главный редактор журнала «Время и мы». Окончил Московский Юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом

Московского радио, фельетонистом газеты «Труд», специальным корреспондентом и заведующим отделом «Литературной газеты». В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 годы был обозревателем израильской газеты «Аль Гамишмар». В 1975 году основал журнал «Время и мы». В 1981 году вместе с редакцией переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг «Покинутая Россия» (удостоенной второй премии Иерусалимского университета), «Театр абсурда» и романа «Грехопадение Цезаря».

Руфь ЗЕРНОВА — родилась в 1919 году в Тирасполе. В 1936 году окончила десятилетку и уехала в Ленинград. Поступила в Ленинградский Институт философии и литературы. В 1938 году добровольцем участвовала в Гражданской войне в Испании и была ранена. В 1949 за антисоветскую агитацию получила 10 лет лагерей. Освобождена в 1954. Первый рассказ «Тонечка» написала в лагере. Публикуется с 1963.

Сильвия ПЛАТ — см. публикацию

Лия ЛЕВИНА-БРОДСКАЯ — переводчица. Родилась в Москве, окончила МГУ, работала в Музее изобразительных искусств и Институте истории искусства Академии Художеств. Автор книг по искусству. В ее переводе повесть Джозефа Митчелла «Секрет Джо Гильда» напечатана в журнале «Время и мы».

Владимир БУЙНАЧЕВ. Родился в 1938 году в Свердловске. В 1967 году окончил МВХПУ (бывш. Строгановское). С 1969 года член Союза художников (МОСХа). Член бюро Объединения московских скульпторов. Исследователь «Слова о полку Игореве», автор книги «Новое прочтение «Слова о полку Игореве», вышедшей в 1998 году в издательстве «Книжный сад». Сделал открытие, что «Слово» написал сам князь Игорь. Живет и работает в Москве.

SUMMARY OF THE MOSCOW EDITION OF VREMYA I MY № 142

THE ROADS OF RUSSIAN DEMOCRACY

Lev ANNINSKY «Liberte, Egalite, Fraternite»

(Editorial). Alphabetic axioms.

(Chapter «EGALITE»).

RUSSIA THROUGH THE PRISM OF LITERATURE

Vitaly RAPOPORT, «The Theater of Shadows».

Two short stories. The lives of politicians from the distant past (Chicherin and Plekhanov) are interwoven with modern reality.

Olga ISAYEVA, «Verochka, the American girl».

The life of a Russian emigre women.

Vitoria FOMINA, «The aifes Birthday»

Shot story

Tatiana MUSHAT, «The High Life Is Always Unhappy».

Psychological short stories.

Verses by **Yevgeny BACHURIN, Yelena KRYUKOVA, Alexander TIMOFEEVSKY**

STATE, SOCIETY, THE MARKET

Dmitry BYKOV, «The Converts».

Jewish oligarchs in modern Russia.

Andrei NUYKIN,

«Forward the Gaping Heights of the Middle Ages».

The sources of the tyrannies of the century that is about to end.

Igor ZOLOTUSSKY, «Yeltsin's Heart».

The President is paying for what is happening in Russia.

INTERVIEW OF VREMYA I MY

Svetlana ALLILUYEVA talks about the West, Russia and herself.

ON THE FAST AND PRESENT

Victor PERELMAN,

«The Emigre Odyssey of Alexander Galich».

An essay on the great Russian poet's life in exile.

Ruf ZERNOVA, «He was a Rare Bird in Modern Literature».

Reminiscences about Victor Nekrasov.

PUBLICATIONS AMD TRANSLATIONS

Sylvia PLATH, «For I am Tragedy».

Fragments from the diaries of the great America poet.

HYDE PARK «VREMIA I MY»

Three letters on the problems facing Russia today.

НОВАЯ КНИГА СТИХОВ

Ирины Машинской

ПОСЛЕ ЭПИГРАФА

«...Музыка «после музыки» — после звука и после тишины. Не «лучшие ноты на лучших местах», не «лучшие слова на лучших нотах» — музыка неровного дыхания, на которую и зазвучит отголоску читателя стихов, т.е. по определению не спортсмена и не любителя бега трусцой, а человека тоже с неровным дыханием...»

«... Это как подслушанные трамвайно-вагонные разговоры: без начала, без конца, а ух как интересно!..»

Наталья Горбачевская

Заказы можно направлять по адресу:
«Слово—Word» 139 E. 33 rd Street #9M
New York, NY 10016
tel. (212)684-2356
тел. в Москве 705-38-06
в С.Петербурге 235-47-98
цена \$10

Валентин Д. ЛЮБАРСКИЙ

«ИЗ АМЕРИКИ С ПОЗНАНЬЕМ И СОМНЕНЬЕМ»

Эпистолярная повесть.

Хрестоматийность названия не должна настораживать: подразумевается познание себя. Книга есть своего рода исследование вопроса о столкновении двух культур — интуитивной и аналитической. В центре повести врачебная пара из Ленинграда с сыном. В России жена (Таня) была вполне на месте со своим женственным характером. В Америке она оказывается в конфликте, в процессе разрешения которого идет на психоанализ. Впоследствии она сама становится профессиональным психоаналитиком. У мужа (Сергея) противоположное развитие — от энтузиазма к скепсису. Он, который боялся ехать, испытывает по приезду в 1979 г. в Нью-Йорк эйфорию. За этим — подавленные комплексы неудачника, получившего второй шанс. И Америка предоставляет ему немало шансов. Другой источник эйфории — оптимистическое прожектирование, свойственное неудачникам. Нарядность и незнание новой жизни дают простор и пищу его воображению. С любопытством и любознательностью начала жизни всматривается он во все заново, не исключая самого себя. Описания наблюдаемого перемежаются с размышлениями вдоль пути.

Заказы на книгу направлять:

Санкт-Петербург. 199134
 Склад-магазин Дмитрия Буланина
 Петрозаводская д.7
 Филиал Института Российской Истории.
 Факс 346-1633
 Тел.(812) 235-1586

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

117415 Moscow, Udaltzova str., 16/19
(095) 131-6245

**На первой странице обложки:
коллаж Вагрича Бахчаняна**

**На четвертой странице обложки:
Владимир Буйначев «Танец с куклой». Гранит**

Отпечатано с оригинал-макета
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
Заказ № 378

